АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1978

СОДЕРЖАНИЕ

Домашнев А. И. (Ленинград). О границах литературного и национального языка 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Филин Ф. П. (Москва). О специальных теориях в языкознании 17
Солнцев В. М. (Москва). Типология и тип языка 26
Десницкая А. В. (Ленинград). О ранних балкано-восточнославянских лексических связях 42
Мурьянов М. Ф. (Москва). Время (понятие и слово) 52
Небиеридзе Г. С. (Тбилиси). Трансформационная генеративная фонология и ее отношение к классическим фонологическим теориям 67
Аманжолов А. С. (Алма-Ата). К генезису тюркских рун 76

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Задоенко Т. П. (Москва). Акустическая разномощность гласных звуков и проблема акцентного соотношения слогов по интенсивности 88
Вейлерт А. А. (Владимир). О некоторых факторах, определяющих частоту слова в тексте 99
Вертель В. А., Вертель Е. В., Рогожникова Р. П. (Ленинград). К вопросу об автоматизации лексикографических работ 104
Кузнецова О. Д. (Ленинград). О понятии лексикализации. Лексикализация фонетических явлений в говорах 111
Глонти А. А., Ониани А. Л., Сарджвеладзе З. А. (Тбилиси). Вопросы изучения грузинской топонимии 118

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Будагов Р. А. (Москва). *Ф. де Соссюр.* Труды по языкознанию 125
Граудина Л. К. (Москва). *Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров.* Язык и культура 129
Верещагин Е. М. (Москва). «Methodiana» 131
Банару В. И., Чинчлей Г. С. (Кишинев). *А. И. Чобану.* Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке 137
Скрелина Л. М. (Ленинград). *В. Ф. Шишмарев.* Романские поселения на юге России 141
Исаев М. И. (Москва). *Л. Б. Никольский.* Синхронная социолингвистика 144
Татар Б. (Будапешт). «Частотный словарь русского языка» 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 150

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64.

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»
«Вопросы языкознания», 1978 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ДОМАШНЕВ А. И.

О ГРАНИЦАХ ЛИТЕРАТУРНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Тема, указанная в заголовке, возвращает нас к статье Ф. П. Филина, опубликованной некоторое время тому назад на страницах данного журнала [1]. Анализируя основные формы или разновидности, в которых существует современный язык, и выделяя главные свойства литературного языка и его место среди других разновидностей языка эпохи нации, Ф. П. Филин не соглашается с теми, кто отождествляет понятие литературного и национального языков. Возражая им, Ф. П. Филин подчеркивает, что национальный язык — это «метасистема всех (разрядка наша.— *Д. А.*) языковых разновидностей эпохи нации, в которой ведущее место занимает литературный язык» [2]. «Однако,— замечает в другом месте Ф. П. Филин,— литературный язык хотя и занимает господствующее положение, но продолжает оставаться в тесных (отнюдь не механических) взаимосвязях со всеми другими разновидностями языка эпохи нации, видоизменяется под влиянием диалектов, полудиалектов, внелитературного просторечия и проч. и сам воздействует на них. Весь состав современного языка — не мешок с механически ссыпанными в него языковыми единицами, а сложная единая метасистема» [3].

Заканчивая рассмотрение характера современного русского литературного языка и проблемы его соотношения с понятием национального языка, Ф. П. Филин подчеркивает в самом конце своей статьи, что литературный язык представляет собой очень сложное явление. Это совершенно справедливо и в отношении немецкого языка, о чем свидетельствуют многочисленные попытки его терминологической и сущностной интерпретации.

Вопросы стратификации современного немецкого языка, включая и проблему выявления основных форм его существования, привлекают внимание германистов на протяжении нескольких последних десятилетий. Наиболее полно впервые они были освещены в работе В. Хенцена, относящейся к 1938 г. и ставшей более известной со времени ее второго издания в 1954 г.[4]. Примерно в это же время появились фундаментальные исследования советских германистов М. М. Гухман и В. М. Жирмунского, в которых рассматриваются формы существования языка в связи с проблемой развития немецкого национального языка и положением территориальных диалектов [5].

Перед исследователем современный немецкий язык предстает как определенная совокупность различных его формаций или разновидно-

---

[1] Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6.

[2] Там же, стр. 4.

[3] Там же, стр. 3.

[4] W. Henzen, Schriftsprache und Mundarten. Ein Überblick über ihr Verhältnis und ihre Zwischenstufen im Deutschen, 1. Aufl., Zürich — Leipzig, 1938 (2. Aufl., Bern, 1954).

[5] М. М. Гухман, От языка немецкой народности к немецкому национальному языку, ч. I — М., 1955, ч. II — М., 1959; В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.— Л., 1956.

стей, которые в германистике обычно называют формами существования (Existenzformen), или формами проявления (Erscheinungsformen). Известно, что, кроме литературного языка, современная немецкая речь представлена территориальными диалектами и различными так называемыми обиходно-разговорными формами языка (Umgangssprache), которые помещаются лингвистами, когда они моделируют иерархию форм существования немецкого языка, между литературным языком и территориальными диалектами. При этом, однако, следует учитывать то принципиальное положение, что в современном мире немецкий язык обслуживает в функции национального и государственного языка четыре страны — ГДР, ФРГ, Австрию и Швейцарию, для которых характерен определенный состав форм существования немецкого языка, их социально-функциональный статус и принцип взаимодействия в условиях языкового общения. Специфика этих отношений не является чем-то раз навсегда данным и определяется постепенно меняющимся характером отдельных форм существования языка, а также характером языковых ситуаций в странах его распространения. Из сказанного следует, что в этих условиях можно получить довольно исчерпывающие данные относительно изучаемого вопроса в каждой из упомянутых стран, но это исключает возможность переноса конкретных оценок на так называемый немецкий язык вообще. Любые построения в отношении немецкого языка, отвлеченные от данного фактора, делают их схемами, не соответствующими многообразной действительности.

В лингвистике традиционным экспонентом системы немецкого языка в целях исследования и изучения является так называемый собственно немецкий (в отличие от австрийского или швейцарского) ареал распространения немецкого языка, представленный в современном мире двумя германскими государствами — ГДР и ФРГ. Основными формами, в которых он здесь представлен, В. Шмидт [6] (ГДР) и А. Бах [7] (ФРГ) называют следующие: прежде всего это — литературный язык (Hochsprache), который, будучи обобщенным типом языка («общий язык» — Gemeinsprache), сохраняет свою письменную (Schriftsprache) и устную (Hochsprache) разновидности [8]. Ему противопоставляются диалекты, которые, являясь территориально ограниченной и связанной формой существования языка, «представлены сильно расчлененной в территориальном плане совокупностью более или менее автономных языковых систем, различия между

---

[6] «Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten und Übersetzungshilfen. Verfaßt von einem Autorenkollektiv unter Leitung von W. Schmidt», Berlin, 1969, стр. 143—148.

[7] A. Bach. Geschichte der deutschen Sprache, 7-te erweiterte Aufl., Heidelberg, 1961, стр. 21—22, 345.

[8] Немецкий литературный язык известен в германистике и под другими названиями. Наибольшее признание в ГДР получил термин nationale Literatursprache (национальный литературный язык), появившийся здесь после знакомства с трудами советских германистов (В. М. Жирмунский, М. М. Гухман) (см. об этом: D. Nerius, Untersuchungen zur Herausbildung einer nationalen Norm der deutschen Literatursprache im 18. Jahrhundert, Halle (Saale), 1967, стр. 15—17). Г. Мозер (ФРГ), имея в виду унифицированный характер нормы современного литературного языка, называет его «единым языком» (Einheitssprache) (H. Moser, Annalen der deutschen Sprache, 2-te Aufl., Stuttgart, 1961, стр. 53). В последние годы, в частности в связи с исследованием в социолингвистическом плане таких аспектов литературного языка, как норма, узус, кодификация нормы и др., в немецкой лингвистике, в особенности среди западногерманских лингвистов, нередко используется название «стандартный» язык» (Standardsprache). При этом в отношении письменной формы литературного языка предлагается применять название «письменный стандарт» (der geschriebene Standard), а применительно к его устной форме — «устный (разговорный) стандарт» (der gesprochene Standard) (см. об этом: I. Radtke, Die Umgangssprache. Ein weiterhin ungeklärtes Problem der Sprachwissenschaft, «Muttersprache», 3, 1973).

которыми носят как структурный, так и функциональный характер» [9]. В связи со структурно-инвентарными различиями между немецкими диалектами уместно напомнить хорошо известные факты о том, что житель нижнесаксонской провинции и баварец не поймут друг друга, если каждый из них будет пользоваться своим родным диалектом [10]. Между этими крайне противопоставленными формами — литературным языком и диалектами — находятся различные так называемые обиходно-разговорные формы языка, известные в германистике под собирательным названием Umgangssprache. Касаясь данного термина, о котором ведутся не менее оживленные споры, чем о явлении, стоящим за ним, Э.-Г. Гейл замечал, что имеются слова, без которых мы, очевидно, не можем обойтись, поскольку они обозначают нечто актуальное и важное, но которые с трудом поддаются понятийному разграничению [11]. Этот термин известен в германистике еще с конца XVIII в. (Бюргер, Кампе), но до настоящего времени среди лингвистов нет единства мнений относительно того, какие элементы языкового сообщения при этом имеются в виду [12]. В. Хенцен связывал этот недостаток с тем, что языкознание занималось преимущественно либо литературным языком, либо диалектами, лишь вскользь признавая наличие между ними определенной «промежуточной ступени» (Zwischenstufe), между тем как из более чем 100 миллионов немцев, только около $^1/_3$ говорят на диалекте, а все остальные используют Umgangssprache [13]. На трудности охвата понятия обиходно-разговорного языка указывал также Х. Бринкман. Он напоминал, что под Umgangssprache мы понимаем язык, в котором встречаются литературный язык и диалект. Таким образом, мы интерпретируем как единое явление то, что на самом деле состоит из двух различных «течений» (Bewegungen). Х. Бринкман подчеркивал, что далеко не одно и то же, когда носитель диалекта участвует в общении на языке территориально более емкого уровня, чем диалект, или когда носитель литературного языка прибегает к речи территориально более ограниченного характера [14]. Все подобные оценки свидетельствуют о том, что образуемый между литературным языком и диалектами слой (Zwischenstufe) не является однородным и характеризуется широким спектром варьирования лингвистических признаков. На этом основании обиходно-разговорный язык рассматривается как определенная совокупность частных формаций, для которых характерна соответствующая степень локальной соотнесенности. Наиболее тесно связанная с территориальным диалектом формация Umgangssprache в немецкой специальной литературе называется местным обиходно-разговорным языком («kleinlandschaftliche Umgangssprache», В. Шмидт). Поскольку данная формация языка в основном базируется на диалектной структуре (здесь утрачены лишь наиболее резкие «первичные признаки» диалекта, но остаются местные диалектные особенности — «вторичные признаки», В. М. Жирмунский), и в ней лишь слабо заметно наличие элементов литературного языка, она получила еще и второе название — «полудиалект» («Halbmundart» — ср. А. Бах). Следующая формация обиходно-разговорного языка, развивающаяся в результате взаимодействия местных диалектов и литературного языка и ис-

---

[9] Н. Н. Семенюк, Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка, М., 1972, стр. 69.

[10] См. об этом, например: I. Radtke, U. Knoop, Angewandte Dialektologie. Bemerkungen zum Thema «Dialekt und Schule», «Muttersprache», 1976, 4, стр. 299.

[11] E.-G. Geyl, Was ist Umgangssprache?, «Muttersprache», 1975, 1, стр. 25.

[12] G. Cordes, Zur Terminologie des Begriffs «Umgangssprache», «Festgabe für Ulrich Pretzel», hrsg. von W. Simon, W. Bachofer, W. Dittmann, Berlin, 1963, стр. 338.

[13] W. Henzen, указ. соч., стр. 19.

[14] H. Brinkmann, Hochsprache und Mundart, «Wirkendes Wort», Sammelband I — Sprachwissenschaft, Düsseldorf, 1962, стр. 112.

пользующаяся в качестве средства повседневного языкового общения в пределах крупных районов, представляет собой так называемые областные обиходно-разговорные языки (großlandschaftliche Umgangssprachen, В. Шмидт). И, наконец, третий уровень обиходно-разговорного языка, для которого характерно вытеснение местных диалектов и который наиболее приближен к форме реализации литературного языка, но сохраняет черты местного произношения, а также небольшое число лексических единиц местного характера, известен под названием литературного (верхненемецкого) обиходно-разговорного языка (hochdeutsche Umgangssprache, В. Шмидт). Поскольку этот тип речи был характерен в основном для представителей господствующих («образованных») слоев общества, он получил название «обиходный язык образованных» (gebildete Umgangssprache, П. Кречмер).

Таким образом, совокупность форм, в которых существует немецкий язык в собственно немецком (ГДР, ФРГ) ареале своего распространения, может быть представлена следующим иерархическим построением:

А	литературный язык	
	письменная разновидность (1)	устная разновидность (2)

Б	обиходно-разговорный язык — Umgangssprache	(1) обиходный язык образованных (gebildete Umgangssprache) или литературный (верхненемецкий) обиходно-разговорный язык (hochdeutsche Umgangssprache)
		(2) областные обиходно-разговорные языки (großlandschaftliche Umgangssprachen)
		(3) местные обиходно-разговорные языки (kleinlandschaftliche Umgangssprachen) или полудиалекты (Halbmundarten)

В	диалекты		
	нижненемецкие (1)	средненемецкие (2)	верхне(южно-)немецкие (3)

При всех сложностях интерпретации элементов структуры современного немецкого языка наибольшие трудности возникают при оценке границ устной разновидности литературного языка — А (2). В немецкой лингвистике ее вообще довольно часто отождествляют с верхним уровнем Umgangssprache — Б (1), т. е. с обиходным языком образованных (gebildete Umgangssprache) или, иначе, с литературным (верхненемецким) обиходно-разговорным языком (hochdeutsche Umgangssprache). Так, А. Бах, подчеркивая, что литературный язык представляет собой некий «идеальный тип» (Idealtyp), который в своей совершенной форме реализуется крайне редко, заявляет, что основная часть образованных носителей языка пользуется региональным или территориальным (landschaftlich) обиходным языком образованных [15]. В другом месте своей работы А. Бах возвращается к этому вопросу в связи с оценкой понятия обиходного

[15] A. Bach, указ. соч., стр. 22.

языка образованных. Он отмечает: «В последнее время стали выступать против той особенности письменного языка, которая характеризуется все более интенсивной потерей выразительности, что особенно сказалось в лексике и синтаксисе. Сейчас отдают предпочтение „народному литературному языку" („volkstümliche Hochsprache"), свободному от указанных недостатков; это по сути дела не что иное, как языковой тип, давно уже называемый „разговорным языком образованных людей" („gebildete Umgangssprache")» [16]. В. М. Жирмунский, на наш взгляд, высказывал сходную точку зрения, хотя и подходил к этому вопросу с других позиций. Переходные между литературным языком и диалектами формации (на нашей схеме — поле «Б»), за исключением обиходного языка образованных [gebildete Umgangssprache — Б (1)], он предлагал обозначать совокупно термином полудиалект (Halbmundart), который, по его словам, хорошо передает широкий диапазон колебаний между двумя полюсами — диалектом и литературным языком — и указывает на специфическое промежуточное положение этой формы языка. «Термин „Umgangssprache" („обиходный язык"),— подчеркивал В. М. Жирмунский,— получивший в настоящее время широкое распространение в немецкой лингвистической литературе для обозначения социального диалекта среднего уровня, не имеет этого преимущества и к тому же не является однозначным, поскольку он может обозначать и разговорную („обиходную") форму литературного языка» [17]. При этом форма обиходного языка образованных (gebildete Umgangssprache) исключается из этой «промежуточной ступени» и втягивается в сферу литературного языка, образуя своеобразную составную часть его устной разновидности. В. М. Жирмунский выразил эту мысль следующими словами: «Следует добавить, что общенациональный литературный язык в устном разговорном употреблении в зависимости от конкретных условий исторического развития может быть слегка окрашен местными особенностями, как это наблюдается, например, в немецком или итальянском языках („gebildete Umgangssprache" — „обиходный язык образованных", согласно терминологии П. Кречмера)» [18]. Таким образом, в концепции В. М. Жирмунского выявляется принципиально иной подход к структурированию современного немецкого языка. С одной стороны, выдвигая понятие общенационального литературного языка, охватывающее «общенациональную норму», которая «представляется скорее идеальным предельным понятием, чем осуществленной действительностью» [19], а также «обиходный язык образованных», В. М. Жирмунский резко расширяет привычные границы литературного языка. С другой стороны, исключив «верхний» уровень Umgangssprache из состава «промежуточной ступени» между диалектами и литературным языком, он преуменьшил структурную неоднородность этого слоя, становившуюся заметной в особенности между «нижним» уровнем Umgangssprache [местным обиходно-разговорным языком — Б (3), который, как отмечалось, максимально связан с локальным диалектом] и «верхним» уровнем [обиходным языком образованных — Б (1), максимально приближенным к устной разновидности литературного языка и лишь сохраняющим местные особенности произношения и лексики]. Такая терминологическая и сущностная интерпретация структуры современного немецкого языка вызывает

[16] А. Б а х, История немецкого языка, М., 1956, стр. 237.

[17] В. М. Ж и р м у н с к и й, Марксизм и социальная лингвистика, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 23. Ср. употребление термина «Umgangssprache» со значением разговорной формы литературного языка в противоположность письменной форме (Schriftsprache) у Г. Эггерса: H. E g g e r s, Deutsche Sprache der Gegenwart im Wandel der Gesellschaft, сб. «Sprache der Gegenwart», Düsseldorf, 1969.

[18] В. М. Ж и р м у н с к и й, Марксизм и социальная лингвистика, стр. 21.

[19] Там же.

большой интерес. Однако поскольку она противостоит другим устоявшимся представлениям, отдельные исследователи проявляют в отношении ее некоторую сдержанность. Так, Р. Гроссе, используя термин В. М. Жирмунского «полудиалект» применительно к областным обиходным языкам (landschaftliche Umgangssprache), одновременно замечает, что предстоит еще оценить его «прагматическую ценность», поскольку этим термином подчеркивается недостаточная самостоятельность этой формы языка и диалектный характер ее происхождения. Принимая термин «полудиалект» с отмеченными выше оговорками, Р. Гроссе одновременно не отклоняет термин Umgangssprache и использует его для обозначения территориально-окрашенного обиходно-разговорного языка, т. е. «обиходного языка образованных» (gebildete Umgangssprache), который, однако, по его мнению, не входит в сферу литературного языка (Standardsprache) и представляет собой «субстандартные элементы с собственными системными признаками» (Substandardismen mit eigenen systemhaften Kennzeichen) [20]. Таким образом, соглашаясь относительно конкретных форм, в которых существует современный немецкий язык германских государств, различные авторы расходятся во мнении о том, в каких терминах должна быть описана его общая структура.

Структура современного немецкого языка Австрии также представляет собой определенную совокупность его различных формаций. Основу построения образуют австрийские (среднеавстрийские и южноавстрийские) диалекты, относящиеся к баварско-австрийскому наречию [21]. На крайнем юге Австрии, в провинции Форарльберг, используется алеманнское наречие (верхнеалеманнский диалект). Не имея между собой резких структурных расхождений, они испытывают на себе влияние «престижного» диалекта столицы Австрии Вены (Wiener Mundart), получившего в условиях своего становления и существования (ареал крупного города, взаимодействие с другими формами существования языка, многонациональный характер населения Вены, влияние славянских языков и др.) заметное отличие от диалектов окружения и рассматриваемого в качестве городского полудиалекта (Stadtmundart). Венский городской диалект не только оказывал влияние на другие австрийские диалекты окружения, но «в течение длительного времени являлся нормой, воздействовавшей на местные крестьянские диалекты как объединяющая сила» [22]. В свою очередь в районах вокруг других городов Австрии (Линц, Клагенфурт и т. д.) на базе их диалектов развивались городские полудиалекты (Verkehrsmundart, Verkehrssprache), испытывавшие на себе воздействие венского городского диалекта [23]. Этому влиянию подвергся и алеманнский диалект Форарльберга, в результате чего он стал отличаться от остальных алеманнских диалектов, основным ареалом распространения которых является, как известно, соседняя Швейцария (верхнеалеманнский диалект). Таким образом, венский городской диалект стал своеобразным «феноменом излучения» в австрийских национальных границах и основным стержнем австрийского интердиалекта (österreichische Verkehrssprache). Одновременно венский городской диалект оказывал влияние на характер языка в его более высоких слоях. Прежде всего это проявляется в так называемом

[20] См. об этом: R. Große, Die soziologischen Grundlagen von Nationalsprache und Literatursprache, Umgangssprache und Halbmundart, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock», Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Hf. 6—7, 1969, стр. 509—510.

[21] Ср.: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 38.

[22] В. М. Жирмунский, Проблема социальной дифференциации языков, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 31.

[23] Ср. например: B. F. Steinbruckner, Stadtsprache und Mundart, «Muttersprache», 1968, 10, стр. 306.

австрийском обиходном языке образованных, который по своей структуре и субстанции наиболее близко расположен к литературному языку (Hochsprache), но характеризуется «венской окрашенностью» [24]. Этот тип языка Э. Кранцмайер называл «литературным или обиходным языком образованных» (Hoch- oder Umgangssprache der Gebildeten), а также «австрийским литературным языком» (österreichische Hochsprache), очевидно, имея в виду национальное измерение, в противовес Bühnensprache («сценический немецкий язык», т. е.— норма литературного языка) [25].

Литературный язык Австрии, имея давнюю национальную традицию (так называемый староавстрийский литературный язык периода до конца XVIII в.— altösterreichische Hochsprache, Hofratsdeutsch, а также австрийский литературный язык с начала XIX в.— österreichische Hochsprache [26]), базируется на так называемой унифицированной форме (Einheitssprache, Г. Мозер), принятой в начале нашего века странами распространения немецкого языка. С этого времени многие элементы литературного языка перестали соответствовать его установленной норме и перешли на «вторые роли» — стали служить признаком обиходно-разговорного языка. Другие, однако, сохранились в литературном языке и относятся к его кодифицированной норме для Австрии. С течением времени эта норма, в зависимости от исторических условий, претерпевала определенные изменения, пополнялась новыми элементами за счет семантических процессов, новообразований, заимствований, а также постепенной переинтеграции элементов обиходно-разговорного языка в литературный язык. Это своеобразие литературного языка проявляется в лексико-семантической системе, грамматическом строе и произношении [27]. В своей совокупности они образуют понятие варианта нормы, а сам литературный язык Австрии рассматривается в современной лингвистике в качестве австрийского национального варианта немецкого литературного языка [28].

Таким образом, структура современного языка Австрии характеризуется наличием следующих основных форм его существования: диалекты (Bauernmundarten), полудиалекты (Stadtmundarten, Verkehrsmundarten), австрийский обиходно-разговорный язык (österreichische Umgangssprache) и литературный язык (Hochsprache) [29], имеющий, как отмечалось выше, свое национальное своеобразие, признаваемое кодифицированной нормой. Иерархическая совокупность форм существования немецкого языка Австрии может быть представлена схемой (см. стр. 10).

Из изложенного со всей очевидностью следует, что структура немецкого языка Австрии, все ее элементы, включая и высший уровень — литературный язык, имеют национально ориентированный характер.

В швейцарском ареале распространения немецкого языка мы встречаемся с особой лингвистической ситуацией. Если в собственно немецком (ГДР, ФРГ) и в австрийском ареалах между литературным языком и диа-

---

[24] Подробно об этом: А. И. Домашнев, Национально-региональная вариативность немецкого литературного языка и австрийский национальный вариант современного немецкого литературного языка. ДД, 2, Л., 1969, стр. 354—398.

[25] E. Kranzmayer, Lautwandlungen und Lautverschiebungen im gegenwärtigen Wienerschen, «Zeitschrift für Mundartforschung», 21, 1952—1953, стр. 202.

[26] Ср.: E. Kranzmayer, Hochsprache und Mundarten in den österreichischen Landschaften, «Wirkendes Wort», Sammelband I — Sprachwissenschaft, 1962, стр. 120—121.

[27] См. об этом: H. Rizzo-Bauer, Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in Österreich und in Südtirol, Mannheim, 1962; А. И. Домашнев, Очерк современного немецкого языка в Австрии, М., 1967.

[28] Впервые на это обратила внимание Э. Г. Ризель. См.: Э. Г. Ризель, К вопросу о национальном языке в Австрии, «Уч. зап. 1-го МГПИИЯ», V, Харьков, 1953.

[29] Ср.: M. Hornung, Besonderheiten der deutschen Hochsprache in Österreich, сб. «Österreich in Geschichte und Literatur», Wien, 1973, стр. 18.

литературный язык (австрийский национальный вариант немецкого литературного языка)
австрийский обиходно-разговорный язык (österreichische Umgangssprache)
полудиалекты (Stadtmundarten, Verkehrsmundarten, Verkehrssprachen)
баварско-австрийское наречие (среднеавстрийский и южноавстрийский диалекты), алеманнский (верхнеалеманнский) диалект в Форарльберге

лектами обнаруживается разнообразный спектр формаций обиходно-разговорного языка, то система немецкого языка в Швейцарии в этом отношении является уникальной. Здесь выявляется своеобразный ансамбль лишь двух языковых форм — литературного немецкого языка с присущими ему швейцарскими чертами на уровне кодифицированной нормы (Schweizerhochdeutsch) и алеманнского (верхнеалеманнского) или, иначе, швейцарского диалекта. Как известно, в швейцарском ареале распространены диалекты (базельский, бернский, цюрихский и др., всего до 20), являющиеся поддиалектами единого однородного алеманнского (верхнеалеманнского) диалекта. В силу общности и единства своей структуры этот швейцарский (верхнеалеманнский) обобщенный диалект, в котором обычно сглаживаются мелкие черты поддиалектов, выполняет функцию обиходно-разговорного языка, известного под названием Schwyzerdütsch. Таким образом, между литературным языком и диалектом здесь отсутствуют какие-либо отдельные «переходные» формации языка (полудиалект, обиходно-разговорные типы языка). Совокупность форм существования немецкого языка Швейцарии может быть представлена на схеме следующим образом:

литературный язык (швейцарский вариант немецкого литературного языка)	
верхнеалеманнский (швейцарский) диалект	Schwyzerdütsch (швейцарский диалект в функции Umgangssprache)
	базельский, бернский, цюрихский и др. поддиалекты, всего — 20

При этом следует особо подчеркнуть, что швейцарский диалект используется швейцарцами в повседневном общении без каких-либо социальных или возрастных ограничений. Он оформился в общенациональный [30] тип подлинно обиходно-разговорного языка (Verkehrssprache, Umgangssprache). Однако функциональная сфера швейцарского диалекта не ограничивается этими рамками. Весьма значительна его роль как средства публичной речи. Наряду с литературным языком он может использоваться в кантональных советах, союзах, клубах, судебных инстанциях, в церковной проповеди, функционирует как средство печати, радио, телевидения.

[30] Имеются в виду швейцарцы немецкоязычных кантонов, составляющие примерно 75% всего населения страны (см.: «Ежегодник БСЭ», 16, М., 1972, стр. 418).

В этих условиях литературный язык используется в первую очередь в качестве средства обучения, официального общения, печати, радио и телевидения и все больше оттесняется на роль письменного языка (Schriftsprache) [31].

Учитывая изложенное о формах, в которых существует современный немецкий язык в странах его основного распространения, следует вернуться к вопросу о том, как надлежит оценить их совокупность и как эти формы соотносятся с понятием национального языка. Необходимо сразу же отметить, что *употребление термина «национальный язык» в германистике* сопряжено с рядом трудностей, возникающих как в связи с недостаточной теоретической разработкой самого понятия, так и по причинам многозначности употребления, в особенности в западной литературе, слова «национальный». А. Т. Базиев и М. И. Исаев в своей книге «Язык и нация» справедливо подчеркивают, что «термином „нация" в западной литературе обычно обозначают „государство". В этом отношении термины „национальный" и „государственный", как правило, бывают равнозначными. Скажем, „национальный комитет" означает „государственный (общегосударственный) комитет". „Национальный" в этом значении противопоставляется, с одной стороны, „международному", с другой — „региональному" (внутри государства: по нашей терминологии — республиканскому, областному и др.)» [32]. С другой стороны, известно употребление термина «национальный», когда он не равняется «государственному», как это понимают многие зарубежные лингвисты, но соотносится не с «нацией», а с «национальностью» в широком понимании этого слова (ср.: национальная принадлежность, национальные особенности, национальный состав, национальное искусство и т. п.) [33]. В германистике термин «национальный язык» (Nationalsprache) нередко соотносится с кругом понятия «родной язык» (Muttersprache) и в этом случае последний оказывается более предпочтительным [34].

Заслуга в теоретическом обосновании термина «национальный язык» в советской германистике принадлежит В. М. Жирмунскому и М. М. Гухман, усилия которых в дальнейшем были поддержаны германистами как в нашей стране, так и за рубежом, в частности в ГДР. В одной из своих самых ранних работ на эту тему В. М. Жирмунский писал: «Вместе с образованием наций впервые возникает и национальный язык как „общий язык" нации, преодолевший феодальную раздробленность поместно-территориальных говоров средневековья. В этом смысле Маркс и Энгельс говорят о „концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентрацией"» [35]. Говоря о национальном языке, он противопоставляет его территориальным диалектам: «В основном, характерным признаком языкового развития капиталистического общества является его принципиальное двуязычие: единому языку господствующего класса (языку „общему", „национальному", „литературному" — по недостаточно прочно установившейся терминологии) противостоят территориально-раздробленные диалекты подчиненных общественных групп (крестьянства, городской мелкой буржуа-

---

[31] Подробно об этом: Н. Г. Помазан, Взаимодействие диалекта и литературного языка в немецкоязычной Швейцарии (на материале современной художественной литературы и прессы). КД, Л., 1975.

[32] А. Т. Базиев, М. И. Исаев, Язык и нация, М., 1973, стр. 87.

[33] В. А. Аврорин, Проблемы изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингвистики), Л., 1975, стр. 9.

[34] Ср.: L. Weisgerber, Die tragenden Pfeiler der Spracherkenntnis, «Wirkendes Wort», Sammelband I — Sprachwissenschaft, 1962, стр 11.

[35] В. Жирмунский, Национальный язык и социальные диалекты, Л., 1936, стр. 40—41.

зии, отчасти пролетариата — в особенности на заре его развития, когда он еще не утратил бытовых связей с крестьянством и мещанством)» [36]. Противопоставляя национальный язык территориальным диалектам, В. М. Жирмунский не отождествлял его и с литературным языком, как это могло бы показаться на первый взгляд. Прежде всего он подчеркивает, что национальный язык («язык господствующего класса») является «разговорным языком, т. е. средством интимного общения представителей этого класса» [37]. В другом месте работы этот разговорный язык он характеризует в качестве обиходно-разговорного языка образованных (gebildete Umgangssprache) [38]. Перечисляя основные функции национального языка, он заключает: «Наконец, он служит языком письменности и печати — художественной литературы, науки, газеты, интимной и официальной переписки и т. д.: отсюда термины „письменный язык" (Schriftsprache), „литературный язык" (Literatursprache), которые нередко употребляются в расширенном значении национального языка» [39]. Таким образом, хотя эта точка зрения В. М. Жирмунского в работе четко и не сформулирована, все же из всего хода его рассуждений мы можем сделать вывод, что для него *понятие национального языка* шире понятия литературного языка, но оно не охватывает всех форм существования языка эпохи нации. Такой подход он сохранил и в последующее время и развивал его в одной из своих последних работ на эту тему [40], несмотря на высказанную между тем косвенную критику подобной позиции [41]. Иной взгляд на понятие национального языка высказывает М. М. Гухман. В одном из своих фундаментальных исследований этой проблемы, которое относится еще к началу 50-х годов, она подчеркивает, что «современный немецкий национальный язык включает не только литературный язык, но и все многообразие немецких диалектов, причем литературный язык является той формой национального языка, которая подчиняет себе местные диалекты» [42]. В более поздних трудах М. М. Гухман детализирует это определение. Она пишет: «Национальный язык рассматривается как сложная система форм существования языка. Система эта включает не только литературный язык в его устной и письменной разновидностях, но и народно-разговорную речь, полудиалект, городское просторечье, территориальный диалект» [43]. Здесь же М. М. Гухман подчеркивает, что литературный язык занимает особое место в системе форм существования национального языка, однако это не означает тождественности данных понятий, поскольку в таком случае за пределами национального языка оказываются многообразные формы устного общения и тем самым литературный язык изолируется от разных форм устного общения, с которыми он в действительности связан. В своих последующих работах, вновь отмечая ведущую роль ли-

---

[36] Там же, стр. 6.
[37] Там же, стр. 7.
[38] Там же, стр. 261.
[39] Там же, стр. 7.
[40] В. М. Жирмунский, Марксизм и социальная лингвистика (см. в особенности стр. 14—20).
[41] «Вопросы формирования и развития национальных языков» («Труды Ин-та языкознания», X), М., 1960, стр. 5. Правда, здесь высказывается возражение против отождествления национального языка с литературным, против употребления термина «национальный язык» в качестве своеобразного синонима термина «литературный язык», и этот упрек В. М. Жирмунский мог расценивать как к нему не относящийся. Все же для него было важным обратить на это внимание (см.: В. М. Жирмунский, Марксизм и социальная лингвистика, стр. 17), чтобы аргументировать собственное отношение к понятию национального языка.
[42] М. М. Гухман, От языка немецкой народности к немецкому национальному языку, ч. I, стр. 10.
[43] «Вопросы формирования и развития национальных языков», стр. 5.

тературного языка, который в эпоху существования развитых национальных языков «постепенно вытесняет другие формы существования языка, способствует снижению их социальной значимости и становится выразителем общенациональной нормы, высшей формой существования национального языка...» [44], М. М. Гухман подчеркивает этот статус литературного языка его расширительным названием — «национальный литературный язык».

Среди германистов ГДР, которые вслед за советскими исследователями интенсивно разрабатывают проблему немецкого национального языка, нет достаточного единства взглядов. Так, В. Шмидт исходит из понятия «общий язык» (Gemeinsprache), которому в эпоху развития капитализма и возникновения национальных государств соответствует название «национальный язык» (Nationalsprache) [45]. Понятие национального языка, продолжает он, предполагает определенное единство, которого в сфере устного общения в действительности нет. Наиболее совершенная форма устной речи, стоящая близко к реализации нормы национального языка, определяется им как Hochsprache (литературный язык). В целом же устная речь модифицируется в зависимости от диалекта соответствующей территории, социального статуса, образовательного уровня и индивидуальности говорящего. Подобное качество устной речи, развивающееся на уровне между литературным языком (Hochsprache) и диалектом, находит свое выражение в термине Umgangssprache (разговорно-обиходный язык). Письменная форма реализации национального языка подчеркивается термином Schriftsprache (письменный язык). Таким образом, согласно точке зрения В. Шмидта, национальный язык охватывает как обе разновидности (устную и письменную) литературного языка, так и втягивает в свою сферу посредством устной формы литературного языка и обиходно-разговорную речь (Umgangssprache). Этой точке зрения противостоит иной подход, согласно которому национальный язык охватывает все формы существования языка [46], что, как мы видим, полностью соответствует концепции М. М. Гухман. В 1967 г. в ГДР было опубликовано исследование, посвященное проблеме становления национальной нормы немецкого литературного языка XVIII в., автор которого Д. Нериус высказался против такого понимания национального языка [47]. Ссылаясь, в частности, на взгляды венгерского германиста И. Бенкё, Д. Нериус определяет национальный язык как форму существования языка, которая развивается в результате образования национальной, единой для всей области распространения языка и всего коллектива носителей языка нормы. Наряду с национальным языком (также nationale Literatursprache) продолжают существовать «региональные формы языка», которые описываются терминами «диалект» (Mundart) и «обиходно-разговорный язык» (Umgangssprache). Таким образом, в работе Д. Нериуса понятие литературного языка эпохи нации (национальный литературный язык) и понятие национального языка отождествляются [48]. Говоря о позиции лингвистов ГДР в этом вопросе, следует в заключение остановиться на взглядах

---

[44] «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970, стр. 532; см. также стр. 530—534.

[45] W. Schmidt, Deutsche Sprachkunde, Berlin, 1959, стр. 28.

[46] S. Czichocki, I. Heydrich, H. Langner, Die Erscheinungsformen der Sprache. Kritische Einschätzung der Begriffsbestimmungen und Versuch einer terminologischen Abgrenzung, «Wissenschaftliche Zeitschrift der pädagogischen Hochschule Potsdam», Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Potsdam, 1964, стр. 123.

[47] D. Nerius, Untersuchungen zur Herausbildung einer nationalen Norm der deutschen Literatursprache im 18. Jahrhundert, Halle (Saale), 1967, стр. 20.

[48] Там же.

Р. Гроссе. Не соглашаясь с теми, кто практически сводит понятие национального языка к литературному, он обращает внимание на тот факт, что подобный подход игнорирует «существенные составные части языковой жизни нации». Вместе с тем Р. Гроссе не поддерживает взгляды, согласно которым национальный язык охватывает все формы существования данного языка. Он считает, что система национального языка включает в себя литературный язык, обиходно-разговорный язык (Umgangssprache) и полудиалект (Halbmundart). Диалекты, согласно Р. Гроссе, остаются за пределами национального языка и их участие проявляется только в той мере, что они образуют «структурную основу полудиалектов» [49]. Эту позицию Р. Гроссе развивает в своей работе, опубликованной на русском языке в журнале «Иностранные языки в школе». Он пишет: «Мы предлагаем исключить территориальные диалекты из социолингвистической архисистемы и тем самым из лингвосоциологического понимания национального языка... Территориальные диалекты играют еще существенную роль в эпоху становления нации, в процессе выработки языкового единства; однако после консолидации нации они нисходят до роли рудиментов прежних эпох и утрачивают активность в общем ансамбле форм существования языка» [50]. Таким образом, в отношении понятия национального языка применительно к немецкому выявляются четыре подхода. Противопоставленными оказываются позиции М. М. Гухман — Д. Нериус (национальный язык есть совокупность всех форм существования языка — национальный язык тождествен литературному языку). Согласно взглядам В. М. Жирмунского, литературный язык составляет сущностную характеристику национального языка, но в устном разговорном употреблении литературный язык бывает «слегка окрашен местными особенностями» и реализуется, таким образом, в виде «обиходного языка образованных» (gebildete Umgangssprache). Близкие к этому оценки высказывает, как мы могли видеть, и В. Шмидт, хотя явление Umgangssprache он интерпретирует иначе, чем В. М. Жирмунский. И, наконец, мы приводили точку зрения Р. Гроссе, который включает в систему национального языка, помимо литературного языка, все спектры обиходно-разговорного языка (Umgangssprache) и полудиалект, но оставляет за его пределами территориальные диалекты.

Оценивая все сказанное, нам представляется важным подчеркнуть следующее. Конечно, хорошо известно, что с этно-функциональной точки зрения языки делятся на племенной язык (язык племени), народный язык (язык народности) и национальный язык (язык нации). В этом смысле национальный язык характеризуется распространенностью в общенациональном масштабе как в письменности, так и в разговорной речи. Такими свойствами обладает литературный язык в его письменной и устно-разговорной разновидностях. Он выполняет основные национальные общественные функции, являясь языком общественной жизни, языком науки, техники и культуры, языком межнационального или международного общения. В этом социологическом аспекте литературный язык эпохи нации есть национальный язык. Но языковая структура нации, как мы могли убедиться, этим не исчерпывается. Литературный язык представляет собой лишь один из социально-функциональных типов языка эпохи нации, к которым относятся, как отмечалось, также обиходно-разговорные формы языка, полудиалекты и территориальные диалекты. Эти типы языка

[49] R. Große, Die soziologischen Grundlagen von Nationalsprache und Literatursprache, Umgangssprache und Halbmundart. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 18. Jahrgang. 1969. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 6—7, стр. 511.

[50] Р. Гроссе, О соотношении языка и нации, «Ин. яз. в шк.», 1970, 3, стр. 7.

(как, например, диалекты) не просто репрезентируют историческое прошлое нации, но используются с разной степенью интенсивности различными частями нации. Говоря о немецком языке, нам представляется также важным напомнить тот факт, что немецкий язык обслуживает несколько современных самостоятельных наций, для которых характерен определенный состав форм его существования. Целям наиболее точного описания такого национального негомогенного языка служит подход, при котором учитывается весь состав языка, поскольку в каждом отдельном случае, как было показано ранее, выявляется свой, национально ориентированный набор диалектов, полудиалектов и форм обиходно-разговорного языка, определенная специфика социально-функционального статуса отдельных форм существования языка и принципов их взаимодействия в конкретных условиях языкового общения их носителей. Поэтому вслед за М. М. Гухман мы считаем, что «разрывать такое сложное целое, как язык нации, по принципу „национальные формы существования языка" и „ненациональные формы существования языка" оказывается невозможным» [51]. Эти слова необходимо прежде всего отнести к предложению Р. Гроссе о том, чтобы исключить из системы национального языка территориальные диалекты. В этой связи приходится возразить Р. Гроссе по двум основным причинам. Во-первых, нам представляется, что он сильно преувеличивает или неправомерно обобщает, когда утверждает, что после консолидации нации диалекты нисходят до роли рудиментов прежних эпох и утрачивают активность в общем ансамбле форм существования языка. Действительно, в условиях социально-культурных преобразований в ГДР наблюдается расширение социальной базы литературного языка и заметное ограничение функций диалекта, однако эти оценки не соответствуют языковым реальностям ФРГ, где диалект в целом еще сохраняет свои относительно устойчивые позиции [52]. Что касается Швейцарии, то здесь местные диалекты (цюрихский, бернский, базельский и т. д.) прочно сохраняют за собой функцию средства повседневного общения без каких-либо возрастных и социальных различий, в своей обобщенной форме образуют сущность швейцарского обиходно-разговорного языка (Schwyzerdütsch) и участвуют в распределении функций, которые в других языковых ситуациях выполняет обычно литературный язык. Следовательно, исключить диалекты из лингвосоциологического понимания национального языка, как это предлагает сделать Р. Гроссе, в случае с немецкоязычной Швейцарией означает свести структуру национального языка к литературному языку, против чего он сам же возражает. Во-вторых, исключая диалекты из рассмотрения, Р. Гроссе искусственно модифицирует механизм взаимодействия всех форм существования языка в их общей структуре. Р. Гроссе прав, когда замечает, что проникновение элементов диалекта в литературный язык происходит «посредством местных обиходно-разговорных языков, т. е. полудиалектов...» [53], но он абсолютизирует значение этого канала, когда подчеркивает, что это проникновение происходит «только» таким путем и механически рассекает сложный процесс взаимодействия, при котором наблюдается не только продвижение элементов диалекта в литературный язык, но и влияние литературного языка на диалект. Таким образом, если согласиться с мнением Р. Гроссе и исключить территориальные диалекты из лингвосоциологического рассмотрения, то это

---

[51] См.: «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», стр. 532.

[52] Ср., например: K. L. Rein, M. Scheffelmann-Mayer, Funktion und Motivation des Gebrauchs von Dialekt und Hochsprache im Bairischen, «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», 1975, Hf. 3, стр. 262—263.

[53] Р. Гроссе, О соотношении языка и нации, стр. 7.

будет означать, что мы лишаем архисистему языка данной нации ее естественного основания и приглушаем роль одного из источников развития национального своеобразия данного языка. Языковая структура нации становится произвольно усеченной, поскольку в ней оказывается не представленным один из социально-функциональных типов.

Конечно, следует помнить, что любая общая схема не может охватить всех явлений и отношений и окажется вряд ли справедливой для каждого случая, поскольку реальное положение в разных национальных языках оказывается различным. Но ограничивая свое рассмотрение конкретным языком эпохи нации, нельзя не учитывать тех его актуальных форм, в которых он существует. Если название совокупности этих форм «национальным языком» все еще продолжает вызывать сомнения, то может быть следует слово «национальный» здесь соотнести не со словом «национальность», как это делает В. А. Аврорин [54], а со словом «нация», и тогда такое терминологическое оформление будет приемлемым? Во всяком случае следует ли называть реальный язык эпохи нации в его единстве и многообразии как-то иначе?

---

[54] В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 9.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ФИЛИН Ф. П.

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕОРИЯХ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Вопрос о взаимоотношениях философских концепций объяснения мира и специальных теорий отдельных научных отраслей всегда имел и будет иметь очень важное значение. Современные науки очень разветвились и продолжают разветвляться, на их стыках возникают новые дисциплины. Открываются все новые и новые свойства материи и общественных явлений. Нет предела развитию человеческих знаний о природе и обществе. Бурный рост знаний и применение их на практике обогащают философию. Весь ход исторического развития общества неопровержимо доказывает, что единственной основой всесторонне правильного понимания мира является философия марксизма-ленинизма. Оценивая состояние той или иной науки, мы всегда опираемся и будем опираться на это всеобъемлющее мировоззрение.

Сказанное, разумеется, относится и к языкознанию. Однако вопрос о соотношении философии и специальных лингвистических приемов исследования не прост [1]. Наблюдения языковых явлений и попытки их осмысления имели место еще в древней истории общества. Знания о языке постепенно возрастали. То, что соответствовало действительности, благодаря проверке практикой (изучение родных и чужих языков и иное применение в жизни лингвистических знаний) закреплялось, ложное в конечном счете отметалось. Поскольку язык — специфическое общественное явление, методы его исследования особые, более или менее соответствующие особенностям его структуры и функционированию в обществе. Структура и функционирование языка имеют бесконечное количество аспектов. В зависимости от того, какой аспект находится в поле зрения исследователя, применяются и развиваются различные приемы лингвистического анализа. Лексикограф стремится, в зависимости от типа создаваемого словаря, дать точное описание значений слов и их оттенков, определить формы и ударения, особые словосочетания (идиомы и другие), в этимологических и исторических словарях — происхождение и развитие слов, их семантики и форм и т. п. Фонолог устанавливает состав фонем, их сочетаний и функций, фонологическую структуру языка. Грамматика описывает грамматическую систему, ее формальные и семантические признаки, продуктивность и непродуктивность грамматических категорий, их нормативность и ненормативность (когда речь идет о литературном языке) и т. д. Споры и дискуссии в процессе выяснения сущности описываемых частных, конкретных явлений языка — непременное условие развития науки не только в пределах разных, но и одной философской концепции.

[1] См. об этом, в частности: Л. Ф. Ильичев, Философия и научный прогресс, М., 1977, стр. 281—296.

Однако и в подобных случаях многое зависит от того, какого мировоззрения придерживается языковед. Имея бесконечные грани, язык представляет собой единое целое, соответственно частные лингвистические дисциплины составляют общее учение о языке, неразрывно связаны с ним. Успехи частных дисциплин зависят от прогресса общего языкознания и наоборот.

Когда речь заходит об общей концепции языкознания, вступает в силу его зависимость от философии. В связи с этим мое внимание обратила на себя статья В. А. Звегинцева «Структурализм в лингвистике» [2]. Защищая структурализм от нападок критиков, В. А. Звегинцев считает, что его критики (имеются в виду некоторые советские языковеды) неправомерно подменяют структуралистическую специальную теорию языка философской концепцией структуралистов, фактически оставляя специальную теорию в стороне. Если это действительно так, то упрек в адрес критиков структурализма справедлив. Хорошо известно, особенно после выхода в свет труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», что ученые в разных областях науки добиваются значительных результатов нередко вопреки своему идеалистическому мировоззрению (когда они исследуют и открывают реально существующие явления). Я считаю, что лингвисты, которых в последние десятилетия относят (нередко произвольно) к представителям «структурализма», сделали много полезного для развития различных областей языкознания. И все же верен ли упрек В. А. Звегинцева?

Сначала посмотрим, как понимает В. А. Звегинцев лингвистический структурализм и его специальную теорию. Главным в структурализме он считает понимание языка как реляционной структуры, образующей реляционный каркас, который изучается методом абстракции и формализации, причем реляционная структура языка и сами методы его исследования являются «строгими». «Абстрактное описание языка с целью упорядочения и экспликации его реляционного каркаса — неразрывно связанная со структурной доктриной предпосылка для обращения к соответствующему формальному аппарату» (стр. 217), взятому из формальной логики. Существуют разные по степени абстракции и формализации направления структурализма. Наименее абстрактен пражский структурализм, более абстрактна американская дескриптивная лингвистика, выше в ступени абстракции датский структурализм и на самом верху находится «генеративная» теория (Н. Хомского). В. А. Звегинцев считает, что вся международная лингвистика за последние десятилетия развивалась преимущественно в рамках структурализма и нет резона «изолировать советское языкознание от интернационального процесса развития лингвистической науки» (стр. 214).

Оставим сейчас в стороне субъективную оценку положения в мировом языкознании (оно совсем не такое, как представляет его себе В. А. Звегинцев — в зарубежном языкознании многое сделано вне рамок структурализма) и полное игнорирование достижений советского языкознания, которое развивалось преимущественно не в рамках структурализма, а остановимся только на «специальной теории» структурализма, как ее сформулировал В. А. Звегинцев.

Существует ли в языке «реляционный каркас», т. е. система всеобщих и частных связей всего, что составляет язык? Существует вне всякого сомнения. Выяснение системных связей, их специфики на разных уровнях языка и между уровнями — одна из важных задач языкознания. Но

[2] В. А. Звегинцев, Структурализм в лингвистике, ИАН ОЛЯ, 1977, 3 (далее ссылки на стр. даны в тексте).

действительно ли эти системные связи являются «строгими», т. е. непротиворечивыми? Каждый языковед, исследовавший реальную материю языка, скажет, что это совсем не так. В любой системе, в любой группе связей всегда обнаруживаются противоречия (примеров можно было бы привести бесчисленное множество из каждого языка на каждом этапе его истории). Только благодаря наличию этих противоречий и стремлению к их преодолению происходит изменение языка согласно его внутренним законам развития. В свое время в славянских языках, например, из-за наличия противоречий в интонационной структуре слова перестал действовать закон открытых слогов, пали редуцированные гласные ъ и ь, что повлекло за собой серьезные последствия в системе гласных и согласных, углубившие различия между славянскими языками и диалектами. Является ли противоречивость системных связей предметом специальной теории языка? В. А. Звегинцев на этот вопрос не отвечает, он его игнорирует, как и другие структуралисты, возводящие системность в абсолют, игнорирующие субстанциональность в языке и противоречия, свойственные системе. Не случаен принципиальный антиисторизм структуралистов-абстракционистов. Для них история представляется всего лишь как ряд хронологических срезов, которые могут сопоставляться. Движущие причины исторических изменений остаются в стороне. Не случайно, что многие зарубежные лингвисты в настоящее время уделяют все больше внимания явлениям антисистемности в языке.

Подход к языку только как к системе непротиворечивых реляционных отношений приводит к произволу в построении бессчетного ряда моделей, которые возникают и быстро исчезают, не оставляя после себя заметных следов. В. А. Звегинцев уверяет нас, что упреки в адрес тех структуралистов, которые отрывают форму (отношение) от языковой субстанции, неверны. В действительности их построения «являются лишь конечными выводами рассуждения, идущего по пути абстракции фактов действительности» (стр. 216). Однако как в таком случае понимать его слова о формальной теории: «ведь ни одна формальная теория не способна дать всестороннее представление о предметах или явлениях, к которым она прилагается, и не претендует на это. Она способна выявлять только некоторые свойства предметов, и именно те, которые вытекают из самой теории» (стр. 220). «Свойства предметов, которые вытекают из самой теории». Написано так (как впрочем, вся статья), что как будто речь идет не о специальной теории языкознания, а о философии, теории познания, от которой так открещивается В. А. Звегинцев. Ни о чем специальном, свойственном только языку, в статье не сообщается. Сначала теория, а потом уже свойства предметов (вообще). А мы-то убеждены в другом: сначала независимая от нашего сознания материя, затем отражение ее в наших чувствах, обобщения, абстрагирование, которые помогают нам познавать все новые и новые свойства окружающего нас мира, в том числе языка. Касается В. А. Звегинцев и методов исследования вообще, в связи с чем приводит известное положение Ф. Энгельса: «Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, чтобы односторонне превозносить одну из них до небес за счет другой, надо стараться применять каждую на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь между собой, их взаимное дополнение друг друга» [3].

Положение Ф. Энгельса, конечно, бесспорно. Но вот что странно: В. А. Звегинцев определяет структурализм как дедуктивное направление, а противостоящий ему лагерь как направление индуктивное. Верно

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 542—543.

ли, что все неструктуральное языкознание было и есть по своему методу только индуктивное? История языкознания решительно противоречит этому. Очень многие открытия совершены путем применения дедукции, т. е. всякого рода предположений, теоретических гипотез, которые нужно было доказать. Объективно устанавливая ту или иную закономерность, мы ожидаем, что в таком-то языке определенного периода должны оказаться пока неизвестные нам явления, и находим их. Это и есть диалектическое сочетание индуктивного и дедуктивного методов. Блестящим примером применения индукции и дедукции в языкознании является труд Ф. Энгельса «Франкский диалект». Исходя из своих наблюдений над отдельными диалектными особенностями германских языков (индукция), Ф. Энгельс прогнозирует древнегерманское диалектное членение и передвижения древнегерманских племен, предполагает, что картина такого членения и передвижений должна быть такой, а не другой (дедукция), которой должна воспользоваться новая индукция на очередном этапе исследования. Предположение Ф. Энгельса вполне оправдалось германской исторической диалектологией нашего времени (оценка крупнейшего германиста XX в. Т. Фрингса).

В. А. Звегинцев понимает дедукцию по-структуралистски: сначала «чистая» теория (отношение ее к индукции остается неясным, хотя она хоть в какой-то мере должна незримо присутствовать), а потом уже проверка, действует она или нет. Это явное «превозношение до небес» дедукции, против чего так ясно выступил Ф. Энгельс, на которого В. А. Звегинцев неизвестно зачем сослался. В. А. Звегинцев употребляет термин «сила теории», «сильная теория», понимая под этим не максимальное приближение описания к исследуемому объекту, а только круг описываемых объектов. Слишком «сильная теория», как он полагает, может выйти далеко за пределы описываемых предметов, что, как он признает, «не всегда ее достоинство». Чем «сильнее» теория, тем она абстрактнее, тем больше предметов она охватывает. «Именно поэтому Н. Хомский, создавая свою генеративную теорию, особую озабоченность проявил в отношении установления ряда ограничений, которые бы удержали используемую им формальную теорию в рамках естественного языка. Другое дело — насколько это удалось ему» (стр. 221). Другое дело или не другое, а признается, что в рамках структурализма генеративная грамматика Н. Хомского является высшей степенью абстракции и формализации метода, так сказать идеальным проявлением дедукции, от которой якобы не следует изолироваться советским языковедам, а следует ее принимать.

В свое время автор настоящих строк писал, что лингвистика — это такая область знания, в которой эта дисциплина остается сама собой только в том случае, если она при любой степени абстракции «не отрывается от реальных свойств языка во всей их сложности и противоречивости» [4].

Как полагает В. А. Звегинцев, при таком понимании проблемы структура языка оказывается отброшенной, как и сам метод дедукции, а вместе с ним и все структуральное направление в лингвистике «в силу своей абстрактной природы». Как он пишет, это «фактически означает, что если делается утверждение „дважды два четыре“, то надо обязательно указать четыре ч е г о, а если такого указания нет, то подобное утверждение является недопустимой абстракцией („дедуктивно-абстрактным конструктом“)» (стр. 222).

---

[4] Ф. П. Ф и л и н, О некоторых философских вопросах языкознания, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 19.

То, что я будто бы отбрасываю понятие «структура языка» и дедуктивный метод, пусть остается на совести автора, а вот насчет «дважды два четыре чего» замечено верно. Каждая наука имеет свою специфику. Если для математики безразлично дважды два четыре ч е г о, то языкознание, всегда имеющее дело с конкретными языковыми явлениями, без этого «чего» существовать не может, какими бы абстрактными категориями оно ни оперировало. А вот по В. А. Звегинцеву может. Характерно, что для такого рода структуралистов бывает в сущности безразлично, на каком языковом материале и даже на каких языках нужно проверять заранее разработанные ими теории. Появляются теоретики-языковеды, которые пишут книги и статьи, не имея за душой ни одного конкретно-лингвистического исследования. В их работах обычно излагаются и комментируются (с некоторыми критическими замечаниями или без оных) главным образом западноевропейские и американские структурально-абстракционистские «модные» теории или же делаются попытки создавать собственные вариации этих теорий. Между тем вся история отечественного и мирового языкознания ясно свидетельствует о том, что выдающиеся теоретики-лингвисты всегда сочетали свои теоретические исследования с работами, посвященными анализу конкретных языков и конкретных языковых явлений. Для структуралистов же в том понимании, в каком их представляет в своей статье В. А. Звегинцев, в сущности безразлично, к каким языкам применять их дедуктивно построенные теории и модели. Появляется странная разновидность языковедов, о которых нельзя сказать, какой или какие языки являются их специальностью. А это чревато большими последствиями, прежде всего, утратой профессиональных знаний, без которых немыслим ни один лингвист.

В. А. Звегинцев пишет, что структуральное языкознание — не все языкознание, а лишь его часть. Это, конечно, верно. Не все проблемы ему доступны. «Совершенно очевидно, что такие проблемы, как история языка, характерные особенности литературного языка и отличие его от других форм национального языка, социальная обусловленность явлений языка, влияние на язык культурного контекста, взаимовлияние и взаимопроникновение языков и многое другое,— вполне почтенные (! — *Ф. Ф.*) и заслуживающие всяческого внимания проблемы. Не менее очевидно, что структурными методами большинство (? — *Ф. Ф.*) этих проблем невозможно решить» (стр. 223). Таким образом, В. А. Звегинцев признает, что важнейшие лингвистические проблемы, им самим здесь перечисленные, оказываются недоступными структурализму. Но (и в этом суть) разработка названных проблем, по В. А. Звегинцеву, не задается «никакой теорией — имеется в виду, конечно, с п е ц и а л ь н а я теория. Ни туманное в своих очертаниях „громадное здание сравнительно-исторического языкознания“, ни тем более сравнительно-исторический метод, ни простое (?! — *Ф. Ф.*) вполне добросовестное описание фактов, конечно же, не являются теорией. Вот и выходит, что, не получая теоретической интерпретации, все подобные задачи и проблемы при всей своей бесспорной важности и очевидной актуальности, в соответствии с логикой научного познания, строго говоря, находятся вне системы научных понятий и, следовательно, остаются разобщенными, не объединенными в единую систему взглядов и поэтому теоретически неопределенными» (там же). Итак, сделано «открытие»: все, что находится вне пределов структурализма, «в соответствии с логикой научного познания» находится вне теории, вне науки. Фактически получается, что языкознание как наука начинается только с возникновением структурализма, высшей ступенью которого является генеративная грамматика Н. Хомского. Ведь только в это время создается единственная «заданная специальная теория». Остается толь-

ко неразъясненным, как может структурализм объединяться с остальными лингвистическими направлениями: ведь теория не может составлять единое целое с нетеорией, а наука с ненаукой. В. А. Звегинцев пишет о специальной лингвистической теории, однако в чем заключается эта теория, читателю статьи остается неизвестным. А это главное. Все рассуждения автора аргументируются не специально лингвистическими доводами (в статье нет ни одного такого довода), а общеметодологическими, философскими рассуждениями, «в соответствии с логикой научного познания», разумеется, в ее структуралистской редакции. Как ни хотел В. А. Звегинцев снять, затушевать (хотя бы чисто словесно) философские основы структурализма, этого ему сделать не удалось. Наоборот, его прямолинейные рассуждения особенно выпукло обрисовали эти основы: сначала «заданная теория», потом языковые факты, абсолютизирование системных отношений и фактическое игнорирование языковой субстанции (какие бы оговорки тут ни делались), подчеркивание непротиворечивости системы и связанный с этим принципиальный антиисторизм, примат дедукции в отношении к индукции, как к чему-то несущественному, стоящему вне теории, являющемуся только «простым» описанием фактов, и т. п. Все это не специальная лингвистическая теория, а философия. Как называется философия, которую с таким рвением защищает В. А. Звегинцев? Сам В. А. Звегинцев по этому поводу выражается в «сослагательном наклонении»: поскольку Л. Витгенштейн, Б. Рассел, Р. Карнап, А. Уайтхед, которые стояли у истоков формально-логических описаний, «по своей философской ориентации причисляются (?! — *Ф. Ф.*) к лагерю неопозитивистов, постольку и лингвистический структурализм в целом есть порождение неопозитивизма. Совершенно ясно, что, имея дело со специальными научными теориями и методами, нельзя судить их по чисто внешним признакам и следует обращаться к их существу» (стр. 217). Спрашивается, с каких это пор философия и отношение к ней специальных теорий и методов для марксистов стала «чисто внешним признаком» и не относится к существу научных исследований? Существо специальной лингвистической теории структурализма В. А. Звегинцев нам так и не раскрыл и оставил только разновидность философии, которая справедливо определяется как неопозитивизм.

Из сказанного вовсе не следует, что мы должны изолироваться от реальных, а не мнимых, достижений западноевропейского и американского языкознания, представители которого придерживаются идеалистического мировоззрения, поскольку философия и специальные научные дисциплины хотя и взаимосвязаны, но не тождественны. Было бы тождество — не было бы специальных наук. Положение это ясно, и спорить тут не о чем. Дело только в том, что если философия охватывает все бытие и сознание и является единственным общим учением о мире (исключая, конечно, эклектиков, которые пытаются примирить непримиримое), то единственной специальной теории в отдельной науке (в нашем случае в языкознании) не существовало и не существует. Попытки представить одну специальную теорию как единственно правильную и всеобщую для языкознания (что делает В. А. Звегинцев) неизбежно переводят проблему из области лингвистической в область методологическую, философскую. Это вытекает из самой сущности языка — явления бесконечно многомерного. Абсолютизация какой-либо одной его стороны (например, системности) и игнорирование других его сторон (например, тех «вполне почтенных» проблем, о которых пишет В. А. Звегинцев) и возведение такой абсолютизации в единственный теоретический догмат искажают общую картину языка, делают ее однобокой, методологически неприемлемой.

Марксистско-ленинская философия дает единственно правильное всеобъемлющее понимание мира, в том числе языка. Что же касается специальных лингвистических теорий, применяемых для изучения тех или иных языковых явлений и с определенными целями, то их много и у языковедов-марксистов. Этим и объясняется наличие в советском и зарубежном марксистском языкознании различных направлений и школ. Так было, так и будет, что и предопределяет дальнейшее развитие науки о языке. Часто, очень часто нельзя противопоставлять одно направление другому. Проблемы этимологии слов и форм, имеющие свои специальные теории,— это одно, а задачи изучения специфики национальных литературных языков — это совсем другое. А в тех случаях, когда имеются расхождения в мнениях при изучении одной и той же области, побеждает в конечном счете та специальная теория, которая лучше подтверждается фактами, практикой. Специальная лингвистическая теория — это сумма теоретических предпосылок и приемов лингвистического исследования того или иного аспекта языка. Специальные лингвистические теории бывают разных типов: частные и более общие, иерархически соподчиненные и не соподчиненные и т. д. Нужно сказать, что классификация этих теорий — дело будущих исследований. Многое тут остается еще неясным. Ясно одно: когда специальные теории сводятся воедино (предмет и цель общего языкознания), тогда происходит их непосредственное соприкосновение с философией, уйти и изолироваться от которой никому не дано.

Не существует и единой и единственной специальной лингвистической теории у структуралистов. Что ни ученый (здесь не имеются в виду эпигонствующие языковеды), то своя точка зрения, свои приемы исследования, свои «модели». Мы вовсе не отгораживаемся от реальных достижений структуралистов. Выявление объективно существующих в языке количественных отношений и пронизывающих весь язык связей (что, впрочем, вовсе не является монополией структурализма), применение в необходимых случаях формального математического аппарата — дело несомненно необходимое, открывающее перспективы в решении задач «человек — машина — человек», обогащающее теорию языкознания. Правда, на этом пути стоит много непреодоленных трудностей, поскольку язык — система противоречивая, состоящая из бесконечного множества единиц субстанционального характера. В начале пятидесятых годов казалось, что машинный перевод вот-вот осуществится, но эти надежды оказались обманчивыми. Все же я лично верю, что человеческий разум решит и эту весьма важную проблему, как и другие задачи так называемого искусственного интеллекта. Только нужно заметить, что если раньше «инженерная лингвистика» (имеющая и другие синонимические обозначения) и структурализм почти отождествлялись или между ними даже ставился знак равенства, то теперь становится очевидным: «инженерная лингвистика» и структурализм как лингвистическое направление совсем не одно и то же. Более того, структуралистские схемы, претендующие на универсальность, являются помехой для решения задач прикладного машинного языкознания [5]. Во всяком случае, генеративная грамматика Н. Хомского, которую так восхваляют некоторые наши лингвисты (и которую так резко критикуют многие западноевропейские и американские языковеды), к прикладному языкознанию никакого отношения не имеет. Весьма характерно, что и на Западе интерес к всеобъемлющим «специальным теориям» типа генеративной грамматики в настоящее время резко упал, о чем

---

[5] Р. Г. Котов, Лингвистика и современное состояние машинного перевода в стране, ВЯ, 1976, 5.

свидетельствует хотя бы XII Международный конгресс лингвистов (Вена, 1977), в тематике докладов которого генеративисты и их союзники заняли, в отличие от XI конгресса (Болонья, 1972), очень скромное место. Не случайно те, кто раньше пропагандировал такие структуралистские исследования, которые претендовали на всеобщность, как имеющие огромное практическое (даже оборонное) значение, нередко стали заявлять, что они «чистые теоретики» и практикой не занимаются. Их схемы и модели в практику должен внедрять кто-то другой. Одним словом, мы не против того полезного, касающегося частных деталей языкознания, что принес с собой лингвистический структурализм как одно из направлений науки о языке. Мы отвергаем структурализм как методологию, представляющую собой разновидность философского неопозитивизма.

Итак, философские концепции и специальные лингвистические теории — не одно и то же. Однако из этого вовсе не следует, что они представляют собой автономные независимые друг от друга области. Заявления некоторых ученых, что они стоят вне философии,— намеренный обман или самообман. Специальные теории и методы исследования обусловлены специфическими особенностями изучаемого предмета, но в основе их всегда (осознанно или неосознанно) лежат общие философские принципы. Для нас это всепобеждающая марксистско-ленинская философия. Отклонения от нее или враждебность ей могут проявляться и проявляются в самых различных специальных лингвистических вопросах. Примеров тому можно было бы привести множество.

Возьмем хотя бы теорию фонемы. Когда, например, утверждается, что фонема представляет собой лишь пересечение, пучок составляющих ее признаков, а звуковая материя для нее безразлична, мы имеем дело с дематериализацией звукового языка, с представлением о нем как о «чистом мыслительном конструкте», т. е. с разновидностью релятивизма.

Конечно для решения частных задач, связанных с изучением фонемы, можно отвлекаться от ее звуковой субстанции и исследовать только ее отношение с другими фонемами. Однако такие исследования не могут претендовать на исчерпывающее учение о фонеме. То же можно сказать и о всех других явлениях языка. Можно описывать с «заданных или не заданных» теоретических позиций только отношения между явлениями языка, но обязательно имея при этом в виду, что речь идет лишь об одном из их свойств, пусть очень важном, а не о всей их сущности. Попытки дематериализовать язык, представленные как общий принцип языкознания, для нас неприемлемы. Релятивизм, возведенный в абсолют, является одной из разновидностей идеализма.

Когда провозглашается, что «механизм порождения речи» (т. е. усвоение и воспроизводство речи) — явление исключительно биологическое, природой заложенное в ребенке, то зачеркивается длительный исторический процесс образования человеческого общества из обезьяньего стада, ставший возможным благодаря труду. Конечно, язык имеет определенные биологические предпосылки, без которых немыслимо его существование, но в то же время он явление глубоко социальное. «Механизм порождения речи» ребенок приобретает в обществе, в конкретной языковой среде. Без такой среды этот «механизм» не сработает, и человеческое дитя превратится в животное. Когда формам языка принципиально, с позиций «специальной лингвистической теории», придается главенствующее значение, а семантика игнорируется (так было в некоторых структуралистических течениях сравнительно недавно) или когда в сотнях тысяч значений слов пытаются отыскать немногие «элементарные смыслы», к которым в словарях якобы можно свести все богатство лексической семантики, то это и есть «принципиальное» искажение структуры языка, приобретающее

философский характер [6]. Попытки некоторых лингвистов строить общелингвистические концепции, пригодные для любых методологий, претенциозны и бесплодны. Мировое языкознание как единое целое существует и не существует. Оно существует, поскольку имеет один объект изучения — язык, поскольку бесчисленное множество специальных лингвистических теорий исследует одни и те же объективно существующие явления языка и дает им однородные или сходные, а также и взаимоисключащие объяснения (например, разные гипотезы происхождения аканья и оканья в славянских языках). Его нет, когда речь идет о его методологических, философских основах. Нельзя объединить в единое целое (тем более непротиворечивое) материализм и идеализм, диалектику и механицизм. В этом плане существует только борьба, борьба непримиримая.

---

[6] Грубое искажение лексической семантики при попытках применить в лексикографии «теорию» «элементарных смыслов» убедительно раскрыто в кн.: Н. З. Котелова, Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании), Л., 1975. См. также: Н. З. Котелова, Искусственный семантический язык (теоретические предпосылки), ВЯ, 1974, 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

СОЛНЦЕВ В. М.

ТИПОЛОГИЯ И ТИП ЯЗЫКА *

По-видимому, можно считать, что лингвистическая типология возникла в связи с необходимостью получить ответ на простой вопрос: как охарактеризовать тот или иной язык с точки зрения его устройства и в какие группы, или классы, можно объединить различные языки по их строению.

Хотя классическая типология XIX в. и дала определенный ответ на этот вопрос в виде распределения всех языков по трем типам, о чем подробнее речь пойдет ниже, однако этот ответ по разным причинам не удовлетворил многих лингвистов. Поиски ответа на этот вопрос продолжаются до настоящего времени.

По свидетельству многих лингвистов положение в типологии не может считаться удовлетворительным. В. Скаличка пишет: «Типология является одним из самых древних и вместе с тем наименее разработанных разделов языкознания... Кроме того, не вполне ясно — даже самим типологам,— что именно является предметом типологии» [1]. Как отмечает В. Г. Гак, «типологические исследования, приобретшие большой размах в последние годы, обнаруживают крайнее разнообразие подходов, методов, целей, объектов исследования...» [2]. К этому можно добавить, что и результаты типологических исследований крайне разнообразны и во многом противоречивы.

Вместе с тем, типологические исследования, осуществлявшиеся в рамках разных лингвистических школ и направлений как за рубежом, так и в нашей стране, внесли крупный вклад в лингвистическую типологию и в общую теорию языкознания. Важным этапом в развитии типологических идей в отечественной науке были, например, работы по синтаксической типологии И. И. Мещанинова и его школы, а также типологические исследования многих советских ученых по исторической (М. М. Гухман, С. Д. Кацнельсон и др.) и синхронной типологии. Большую роль в разработке типологических идей сыграли структурно-типологические исследования в нашей стране и за рубежом, а также исследования того, что называют «универсалиями» и «фреквенталиями» (Б. А. Серебренников).

Хотя результаты типологических исследований значительны, по-видимому, оправданным является утверждение о том, что «типология нуждается в лингвистической теории, которая сформулировала бы сущностные, принципиальные черты языкового изоморфизма и алломорфизма и, тем самым, определила бы пути и направление типологических исследований» [3].

---

* Редколлегия просит читателей высказать свое мнение по вопросам типологического языкознания.

[1] В. Скаличка, О современном состоянии типологии, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 19.

[2] В. Г. Гак, К типологии типологических исследований, «Тезисы дискуссии „Типология как раздел языкознания“», М., 1976, стр. 54.

[3] Е. И. Шутова, К проблеме типологически существенных параметров сопоставления синтаксических структур, «Тезисы дискуссии „Типология как раздел языкознания“», стр. 178.

Разнообразие взглядов и мнений в сфере лингвистической типологии, а также обилие накопленного материала вселяют не пессимизм, а, наоборот, позволяют надеяться, что лингвистика идет к общей теории лингвистической типологии. Пока же целесообразно продолжить обсуждение спорных вопросов лингвистической типологии.

*

Здесь невозможно излагать даже кратко историю типологических исследований, тем более, что об этом написано немало страниц.

Ниже я попытаюсь кратко рассмотреть некоторые вопросы, связанные с понятиями «типология» и «тип языка», не вдаваясь во все аспекты типологической проблематики.

Объективные трудности для адекватной типологической оценки того или иного языка создают прежде всего сами языки в силу их непрерывного и колоссального изменения, ведущего к тому, что «ни один естественный язык не представляет собой гомогенного целого хотя бы потому, что на любом синхронном срезе он содержит элементы нарождающиеся и элементы отмирающие, которые, „вписываясь" в систему языка, придают ей в каждом отдельном случае неповторимое своеобразие» [4]. Другая трудность, с которой сталкивается лингвистическая типология, состоит в недостаточной определенности самих понятий «типология» и «тип». Вероятно, было бы преувеличением утверждать, что существует столько же толкований этих понятий, сколько имеется лингвистов, однако, несомненно, что разнобой в трактовке понятий «типология» и «тип» в языкознании очень велик. Между тем, понятия типологии, типологического сопоставления, типизации и типа используются, как известно, не только в языкознании, но в самых различных гуманитарных и естественных науках, например, в литературоведении, истории, социологии, антропологии, археологии, психологии, биологии и т. п. При этом в содержании терминов «типология» и «тип», при всем разнообразии их использования в разных науках, наблюдается нечто общее, а именно: обычно имеется в виду выявление в многообразии явлений, принадлежащих какой-либо сфере, некоторых групп, или классов, в которые определенные явления объединяются по сходству ряда своих свойств или признаков. Такие группы, или классы, выявляемые в рассматриваемом множестве явлений, обычно в общей форме сокращенно именуются типами.

Использование понятий «типология» и «тип» в разных науках в приблизительно сходном значении позволяет говорить о понятиях типологии, типизации, типа и т. п. в общем виде и рассматривать понятие лингвистической типологии и типа языка на фоне понятий типологии и типа вообще, иначе говоря, рассматривать лингвистическую типологию и тип языка как понятия частные по отношению к общему понятию типологии и понятию типа вообще.

Внедрение идей системности и понятия системы в разные науки, привело, как известно, к разработке общей теории систем и так называемого системного подхода, что в свою очередь привело к уточнению и конкретизации понятий системы и системности, используемых в частных науках. По-видимому, разработка общей теории типологии как междисциплинарной теории и ее основного понятия — типа — может оказать существенную помощь для разработки частных типологий и в том числе для разработки и теоретического обоснования лингвистической типологии.

---

[4] В. Н. Ярцева, К определению понятия «языковый тип», «Тезисы дискуссии „Типология как раздел языкознания"», стр. 184.

Разработка общей теории типологии — дело будущего. Здесь можно, однако, попытаться кратко рассмотреть некоторые общетипологические понятия и на их фоне разобрать, тоже по необходимости кратко, соответствующие лингвистические понятия.

Типология в рамках любой области знания, т. е. типология вообще, имеет дело с множеством упорядоченных объектов (предметов или явлений в широком смысле слова), обычно принадлежащих какой-либо определенной сфере действительности. Упорядоченные объекты, в соответствии с теорией систем, представляют собой системы, внутреннее устройство или организация которых определяется как структура [5]. Такие объекты обладают структурно-функциональными характеристиками.

Используя операцию сопоставления и сравнения, типология в рассматриваемом множестве объектов обнаруживает структурно или структурно-функционально сходные группы объектов. Иначе говоря, в многообразии, представленном множеством объектов, типология на основе учета структурно-функциональных признаков объектов выявляет подмножества объектов и тем самым выясняет устройство всего данного множества. Можно сказать, что типология ищет внутреннюю упорядоченность в некотором разнообразии и стремится раскрыть устройство данного разнообразия в целом.

В известной мере типология обнаруживает сходство задач с классификацией, которая также стремится выявить упорядоченность классифицируемого множества.

Нетрудно видеть, однако, что задачи классификации и типологии не совпадают полностью. Во-первых, типология включает в себя лишь определенный вид классификации, а именно классификацию по структурно-функциональным признакам. При этом основанием объединения объектов в группы, или классы, служит сходство или аналогичность структурных или структурно-функциональных признаков объектов. Классифицируя объекты, типология может отвлекаться и обычно отвлекается от их субстанциональной природы и от их происхождения. Во-вторых, задачи типологии выходят за рамки задач простой рубрикации и сортировки объектов. Типология выявляет и фиксирует отличительные и характерные структурно-функциональные черты групп объектов в составе всего рассматриваемого множества объектов. При этом типология отвлекается от учета как максимально общих свойств объектов, определяющих их принадлежность именно к данной сфере действительности, так и от индивидуальных свойств объектов, отличающих их друг от друга. Так, например, антропология, выводя антропологические типы — монголоидный, европеоидный и т. д., отвлекается от учета как общечеловеческих свойств, характерных для человека вообще, так и от индивидуальных свойств отдельных людей, принадлежащих тому или иному антропологическому типу.

Многообразие структурно-функциональных свойств и признаков объектов позволяет одни и те же объекты типологически рассматривать с разных углов зрения. В результате этого одни и те же объекты оказываются включенными в разные типологические группы. Так, представители рода человеческого, как считают психологи и антропологи, по антропологическим признакам объединяются в одни типы, а по психологическим признакам в другие — сангвиники, холерики, меланхолики и т. д. Во втором случае происходит отвлечение от признаков, релевантных в первом случае (и наоборот).

---

[5] В соответствии с общей теорией систем структура есть сетка отношений между элементами системы. Система же есть целостный упорядоченный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях.

Было бы неверным полагать, что в данных случаях имеет место произвол исследователя, а полученные группировки имеют условный характер. И та и другая типологические оценки объективны. Они характеризуют рассматриваемые объекты в разном отношении, т. е. с разных сторон. И в том и в другом случае типологическая оценка основывается на реально присущих объектам существенных свойствах и признаках, позволяющих выявлять в рассматриваемом множестве действительно существенные группы объектов, характеризующие внутреннюю упорядоченность данного множества в том или ином отношении. Другое дело, что в поле зрения исследователя могут попасть несущественные, чисто внешние свойства или признаки, которые, будучи положены в основу группировки объектов, дадут случайные объединения объектов, не вскрывающие внутреннюю упорядоченность данного множества. Такого рода группировки, объективные сами по себе, не имеют никакой эвристической ценности.

Процесс выявления отличительных черт некоторой группы объектов называется типизацией и ведет к обнаружению типов. Типизация и выявление типов есть средство познания устройства или строения, а иногда и функциональных особенностей выделяемых групп. Здесь типология уже выходит за собственно классификационные рамки.

Основным понятием типологии является понятие типа. В наиболее общем виде в онтологическом смысле тип есть совокупность структурных или структурно-функциональных черт, характерных для некоторой группы объектов и составляющих отличительную особенность данной группы от других объектов рассматриваемой сферы действительности. В обычном словоупотреблении типом часто называют, как уже было сказано, выделенную по некоторым признакам группу объектов. Однако тип не есть простой набор или сумма структурно (или структурно-функционально) сходных объектов. Как уже говорилось, типизация предполагает отвлечение как от максимально общих, так и от индивидуальных свойств объектов и фиксацию в понятии типа только отличительных и характерных для данной группы свойств и особенностей.

Типизация и выведение типа есть операция абстрагирования от максимально общего и от отдельного, индивидуального. Тип в системе научного знания есть понятие или, выражаясь словами Ф. Энгельса, «умственный предмет», в котором отражены специфические, отличительные, особенные свойства группы объектов. Типы всегда реально представлены отдельными объектами, но ни один из этих объектов сам по себе не есть тип. Он есть лишь своего рода представитель данного типа. Представитель типа не есть тип потому, что он являет собой единство общего, особенного и индивидуального, есть единичный, конкретный объект, в то время, как тип есть понятие, отражающее особенные, специфические черты группы конкретных объектов. Соотношение типа и конкретного представителя типа может быть оценено в некотором смысле как соотношение инварианта («умственного предмета» или «вещи») и варианта (отдельного конкретного предмета).

Итак, можно следующим образом резюмировать сказанное выше о типологии и типе. Типология вообще есть один из методов или способов познания действительности, отличительными чертами которого являются: а) использование операции сопоставления и сравнения, б) основанием для сопоставления в типологии являются не всякие свойства сопоставляемых объектов, но только структурные или структурно-функциональные, в) из общего набора структурно-функциональных свойств объектов учитываются только особенные свойства, характерные для некоторых групп объектов и отражающие специфику этих групп; общие и индивидуальные свойства не учитываются, г) основное понятие типологии — тип — выво-

дится путем операции абстрагирования и представляет собой в сфере научного знания понятие, отображающее особенные черты группы объектов, д) выявляя структурно-функциональные особенности группы объектов (типы), принадлежащих некоторому множеству объектов данной сферы действительности, типология позволяет выявить общие структурно-функциональные особенности всего данного множества объектов.

Типологический метод — важный способ познания действительности, используемый в разных науках, но он ограничен в своем применении. Его ограниченность определяется уже тем, что он учитывает не все, а только структурно-функциональные свойства объектов и отвлекается, например, от субстанциональных свойств, а также от генезиса развивающихся объектов. Структурно-функциональным сходством могут обладать совершенно разные по природе объекты. Фиксируя их структурно-функциональное сходство, типологический метод вынужден отвлекаться от их природы. В некоторых случаях типологическое сопоставление может выявить лишь чисто внешнее сходство разных по природе объектов. Выявление структурно-функционального сходства разных по природе объектов может быть полезным в определенных целях, но не может дать в этом случае знания о качественной определенности и природе соответствующих объектов. Наибольшую эвристическую ценность типологический метод представляет при изучении объектов, принадлежащих к какой-либо определенной сфере действительности и обладающих существенными общими свойствами, как, например, естественные языки, литературные сюжеты, психологические группы людей, разновидности материальной культуры и т. д. В этом случае благодаря общности природы типологически сопоставляемых объектов их структурно-функциональное сходство, как правило, не является чисто внешним, но отражает существенные черты этих объектов. Поэтому вряд ли в полной мере оправдано опасение Э. Бенвениста, который писал: «Если сравнить между собой два неродственных, но типологически сходных языка, то становится ясно, что аналогия в способе построения форм является лишь внешней чертой, и поэтому внутренняя структура вообще не выявляется» [6]. Нарастание явлений аналитизма и изоляции в современном английском языке вследствие разрушения старой морфологической системы, что делает английский сходным по ряду параметров с изолирующими языками Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, свидетельствует о том, что в строении английского языка происходят глубокие сдвиги. Эти сдвиги затрагивают всю систему английского языка и важнейшую характеристику этой системы — его структуру. Поэтому и указанное сходство не есть нечто совершенно внешнее.

Так же как при наличии максимально широко определения понятия системы в общей теории систем конкретные науки имеют дело с самыми различными по свойствам системами (неорганическими, органическими, неразвивающимися, развивающимися, функциональными и т. д.), так и в частных типологиях, по-видимому, должны иметься разные виды типов: типы развивающиеся, типы неразвивающиеся, типы чисто структурные, типы структурно-функциональные и т. д. Разновидности типов определяются особенностями и разновидностями типологически обследуемых объектов-систем. При рассмотрении развивающихся и изменяющихся объектов (систем) с точки зрения их принадлежности к тому или иному типу возникает проблема временных границ существования рассматриваемого объекта в виде определенной системы. Иначе говоря, возникает проблема определения наличия у этого объекта качеств именно дан-

---

[6] Э. Бенвенист, Классификация языков, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 54.

ной, а не новой системы. Эта проблема по-другому может быть сформулирована как проблема тождества изменяющегося объекта самому себе во времени. По-видимому, следует считать, что объект продолжает принадлежать к одному и тому же типу, пока по ряду своих важнейших характеристик он остается тождественным самому себе.

Выше типология была названа одним из методов познания действительности. Здесь надо, однако, сделать некоторые уточнения. Термин «типология» имеет и другое значение — типологическая теория как обобщение знаний о типах, типизации и типологическом методе. Различие типологического метода и типологической теории аналогично различию системного подхода как метода познания и теории систем как обобщения знаний о системах и методах системного исследования. Эти два разных значения термина «типология» дифференцировались постепенно в ходе развития типологических исследований. Поэтому следует помнить, что в разных случаях использования термин «типология» может означать методы познания, используемые в разных науках, а также теорию этого метода, включающую учение о типе и типизации. Типология как теория есть междисциплинарная дисциплина, обобщающая знания о типах, типическом и типизации, используемых в разных науках.

*

Теперь с учетом изложенных выше общих замечаний кратко коснемся вопроса о лингвистической типологии и ее основном понятии — типе языка.

Лингвистическая типология имеет дело со сложными объектами, принадлежащими к одной и той же сфере действительности,— человеческими языками. Как и всякая типология, лингвистическая типология есть метод познания своего объекта (человеческих языков) со структурно-функциональной точки зрения, а также теория этого метода и учение о типах и типизации. Поскольку структурно-функциональные характеристики являются важнейшими характеристиками языка, лингвистическая типология имеет важное значение для познания сущности человеческого языка, хотя и не может дать полного знания о природе языка. Как известно, лингвистическая типология (далее: просто типология) возникает как классифицирующая дисциплина, стремящаяся наиболее адекватным образом классифицировать языки в соответствии с их устройством (т. е. структурно-функциональными особенностями). На первых этапах предметом типологии была именно классификация языков. На современном этапе развития типология, выявляя в многообразии естественных языков структурно-функциональные группы — типы языков, позволяет получить сведения о строении человеческого языка вообще [7].

Поскольку в процессе классификации языков, т. е. фактически в ходе своего рода сортировки языков, типология должна была выявлять и сопоставлять общее и особенное в человеческих языках, она постепенно из чисто классифицирующей дисциплины стала методом познания общих и особенных свойств языков и тем самым свойств человеческого языка вообще, который, по словам Ж. Вандриеса, существует под всеми широтами

[7] Ср. у Н. Н. Короткова: «...обобщение данных всех основных языковых типов должно дать возможность вывести наиболее общие законы и категории языка...» (Н. Н. Коротков, Основные особенности морфологического строя китайского языка, М., 1968, стр. 9). Ср. далее: В. М. Солнцев, К вопросу о предмете и задачах типологии, «Тезисы дискуссии „Типология как предмет языкознания“», стр. 151; ср. также: И. П. Сусов, О предмете типологической лингвистики, там же, стр. 161.

и который представлен отдельными национальными языками. Проделав этот путь развития, типология тесно смыкается с онтологией языка, выясняющей природу человеческого языка, и становится разделом общего языкознания. Классификация языков по их устройству — начало лингвистической типологии — из самоцели превращается в составную часть типологии, становится средством решения новой и теперь уже главной задачи лингвистической типологии — познания свойств человеческого языка «вообще».

Соответственно меняется и предмет типологии. Им становится человеческий язык вообще. Что касается отдельных языков, то они входят в предмет типологии не как самостоятельные объекты рассмотрения, а в сопоставлении друг с другом, во-первых, как объект классификации, а, во-вторых, как источник данных о свойствах человеческого языка вообще.

Поворот типологии к изучению наиболее общих свойств человеческого языка стал особенно заметен, когда в типологических исследованиях стали выявляться и фиксироваться универсальные свойства конкретных языков. И хотя, как это будет показано ниже, при выведении типа языка необходимо отвлекаться от максимально общих свойств языков, установление универсальных свойств языков является важной предпосылкой типологического исследования и необходимым фоном выведения типов. Сведение же разных языков в ограниченное количество типов также становится средством изучения строения человеческого языка вообще.

Вместе с тем, основой типологии остается типологическая классификация, которая, по мнению некоторых лингвистов, «условна», т. е. «в зависимости от выбранного критерия или совокупности критериев она приводит к различным результатам» [8]. Условный характер классификации снижает ее эвристическую ценность. Поэтому в лингвистике предпринимались и предпринимаются настойчивые попытки избежать случайные критерии классификации и найти такие основания для классификации, которые позволили бы отразить в классификации существенные черты языков. При этом подчеркивается, что «за основу нужно брать с у щ н о с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и я з ы к а...» [9]. Следует отметить, что за последнее время все более ясной становится важность для типологической классификации учета системного характера языка [10], а также важность учета системной взаимообусловленности разноуровневых явлений [11].

*

Ясно осознаваемая новейшей лингвистикой необходимость строить типологическую классификацию на основе сущностных характеристик языка интуитивно понималась и в XIX в., когда была создана так называемая морфологическая классификация языков мира, распределяющая языки на три группы — флективные, агглютинативные и изолирующие. Собственно эта классификация и получила название типологической и, как известно, с некоторыми модификациями дожила до наших дней. Говоря об основаниях этой классификации, Дж. Гринберг пишет: «В качестве основы для классификации инстинктивно было найдено нечто,

[8] Дж. Г р и н б е р г, Квантитативный подход к морфологической типологии языков, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 62.

[9] В. Н. Я р ц е в а, Проблемы универсалий и классификация языков, сб. «Универсалии и типологические исследования», М., 1974, стр. 17.

[10] См.: В. С к а л и ч к а, О современном состоянии типологии, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 33.

[11] См.: Г. А. К л и м о в, Вопросы контенсивно-типологического описания языков, в кн.: «Принципы описания языков мира», М., 1976, стр. 125 и далее; см. также: В. Н. Я р ц е в а, К определению понятия «языковый тип», стр. 184.

имеющее кардинальное значение для всесторонней общей характеристики языка, а именно морфологическая структура слова....» [12]. И действительно, в слове — центральной единице языка — в наибольшей степени отражаются общесистемные свойства языка. В устройстве слова во многом проявляется устройство языка.

Кроме того, слово, если под этим термином понимать двустороннюю единицу языка (т. е. единицу, состоящую из звучания и значения), обладающую синтаксической самостоятельностью и отдельностью, есть обязательная единица для любого языка. В языке может не быть морфем (т. е. также двусторонних, но синтаксически несамостоятельных единиц — частей слов), но не может не быть слов. История так называемых изолирующих языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии показывает, что эти языки, имея в древности своеобразную морфологию (в виде префиксов и суффиксов), затем в разной степени ее утратили и стали по преимуществу «словесными» [13].

Древнекитайский язык в иероглифической записи предстает как язык, полностью утративший свою древнюю морфологию (о ее существовании ученые судят по результатам реконструкции звучания древнекитайского языка, скрытого под «немым» иероглифическим панцирем), т. е. как чисто словесный язык, не имеющий морфем — частей слов. Современный же китайский язык в исторически доступное (по письменным памятникам) для наблюдения время приобрел совершенно новую морфологическую систему — агглютинативную морфологию особого «изолирующего типа» (подробнее см. ниже). Разрушение старой морфологии в других языках этого ареала также ведет к появлению совершенно новых морфологических систем (ср. также разрушение старой флективной морфологии в английском языке и появление новой формо- и словообразовательной морфологии). Поэтому то, что называют морфемами в смысле синтаксически несамостоятельных единиц, суть величины, появляющиеся и исчезающие в процессе развития языка. Слово же есть величина обязательная и постоянная за все время существования языка. В процессе изменения языка меняется характер и многие свойства слова, что влечет за собой изменение типологической характеристики языка. Но сама эта единица в качестве синтаксически самостоятельной величины существует, пока существует язык.

Поэтому ориентация на слово в типологической классификации была правильной, хотя, по-видимому, учет лишь структуры слова для типологических целей недостаточен. Другое дело, что в классической морфологической классификации (да и во многих позднейших работах) со структурой слова связывали не только агглютинацию и флексию (фузию), но и изоляцию. Это было ошибкой, возникшей, по-видимому, из отождествления понятий «корневой», «аморфный» и «изолирующий». Между тем, если «корневой» или «аморфный» язык (таких языков практически нет, приблизительным примером может быть древнекитайский в иероглифической записи) по необходимости должен быть языком изолирующим, то «изолирующий» язык вовсе не обязательно должен быть «корневым» или «аморфным». Исследования по языкам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности по китайскому языку [14], показали, что слово может быть отягчено морфологически, может быть способным к морфологическому словоизменению, но при этом может не выражать в самом себе отношений к другим

[12] Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 64.

[13] Подробнее см.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, 2-е изд., М., 1977, стр. 260—267.

[14] См.: Н. В. Солнцева, В. М. Солнцев, К вопросу об агглютинации в современном китайском языке, ВЯ, 1962, 6.

словам, т. е. синтаксически быть изолированным от других слов. Китайский язык имеет агглютинативную морфологию, но является языком последовательно изолирующим. Изоляция — характеристика не структуры слова, но способа его связи с другими словами. Поэтому противопоставление изоляции и агглютинации, а в некоторых языках изоляции и флексии, неправомерно [15].

Классическая типологическая классификация (а таковой, как уже было сказано, является морфологическая классификация) привела к выработке понятия языкового типа, которым пользуются весьма широко, хотя чаще всего без специального определения.

Языковой тип не есть какой-либо конкретный язык. Языковой тип не есть и сумма или набор языков. В соответствии с понятием типа вообще можно сказать, что языковой тип есть совокупность структурно-функциональных черт или свойств, присущих группе языков, являющихся существенными характеристиками языков данной группы и отличающих данную группу от других групп языков. Короче можно сказать, что языковой тип есть то общее, что присуще группе языков, характерно для всех языков этой группы и отличает ее от других групп.

Таково объективное, онтологическое содержание понятия «тип языка». В научном знании — в лингвистике тип есть общее понятие об отличительных свойствах группы языков, есть «обобщенное представление об основных разновидностях языковой структуры» [16].

Понятие типа языка отвлекается как от максимально общих свойств человеческого языка, присущих всем языкам мира (например, таких свойств, как звуковая природа, наличие звуковых единиц — фонем, слов, предложений и т. п.), так и от индивидуальных особенностей, характеризующих тот или иной конкретный язык (например, фиксированный или подвижный характер ударения).

Тип всегда представлен соответствующей группой языков. Входящие в эту группу языки являются представителями данного типа. Совокупность свойств, образующих тип, неизмеримо беднее всей совокупности свойств, характеризующих каждый конкретный язык. Каждый конкретный язык наряду с другими свойствами несет в себе типические черты, позволяющие отнести этот язык к данному, а не к другому типу. Типические черты в своей совокупности служат эталоном или критерием, по которому можно определить место того или иного языка в типологической классификации. В языке нетипичными свойствами, в соответствии со сказанным, с одной стороны, являются свойства, присущие всем человеческим языкам без исключений, т. е. подлинно универсальные свойства, а с другой стороны — индивидуальные свойства, присущие только данному языку. Попутно замечу, что, может быть, целесообразно наряду с универсальными свойствами (универсалиями всех видов) выделять и индивидуальные свойства, присущие только одному какому-либо языку,— своего рода «индивидуалии». К их числу могут быть отнесены особые формы, некоторые просодические явления и т. д. Таким образом, в каждом языке можно обнаружить три группы свойств — универсальные, типические и индивидуальные [17].

---

[15] Интересно отметить, что даже осознавая, что «изоляция — это способ связи» (см.: Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 73), ее все же ставят в ряд с другими морфологическими характеристиками слова и противопоставляют, в частности, агглютинации (там же, стр. 90—92). Такова, видимо, сила традиции.

[16] О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 475.

[17] В этой связи представляется важным замечание Б. А. Серебренникова о необходимости разработки понятия «типического», высказанное им в выступлении на дискуссии «Типология как раздел языкознания» в Институте востоковедения АН СССР в январе 1977 г.

Здесь следует сделать следующее замечание. Если нетипический характер индивидуальных свойств достаточно очевиден, то соотношение «универсального» и «типического» не столь ясно. В последние годы одной из целей типологических исследований иногда объявляли поиски универсалий, т. е. универсальных свойств. Это создавало и создает впечатление, что «универсальное» и «типическое» органически связаны. Связь здесь, безусловно, есть. Универсальное в языке является типическим для человеческого языка вообще, является тем, что отличает любой человеческий язык от других явлений, например, систем коммуникаций животных. Однако для выявления устройства самих человеческих языков и группировки их в типы универсальные свойства могут быть лишь, как уже говорилось, необходимым фоном, устанавливающим принадлежность изучаемого объекта — языка к одной сфере действительности. Универсальные, т. е. общие свойства являются также контрастным фоном для выявления собственно типического, или особенного. При выведении же типов языков от универсальных свойств по необходимости приходится отвлекаться. Констатируя, что во всех языках имеются фонемы, слова и предложения или другие общие свойства (например, синтаксические отношения и т. п.), мы ни на шаг не продвинемся в выявлении собственно типов языков. И все же связь типологии и теории универсалий отвергать нельзя. И та и другая область лингвистики имеют общую конечную цель — познание свойств человеческого языка вообще. По-видимому, выявление и фиксация универсальных свойств являются необходимой предпосылкой для выявления собственно типических свойств групп языков и выявления языковых типов в той сфере действительности, которая называется «человеческий язык вообще».

Точка зрения на языковой тип, изложенная выше, распределяет языки по группам (типам). Существует иное представление о типе, предполагающее сосуществование в одном языке разных типов. В. Скаличка пишет: «Сумма свободно сосуществующих явлений называется типом. Подобных типов, по нашему мнению, существует пять: флективный, интрофлективный, агглютинативный, изолирующий, полисинтетический. В конкретном языке различные типы реализуются одновременно» [18].

Такой подход, если его провести последовательно, исключает возможность распределения конкретных языков по группам. Хотя черты, предполагаемые типологически существенными для языков данной группы, иногда обнаруживаются в той или иной степени и у языков, относимых к другой группе, что связано с процессами изменения и взаимовлияния языков, тем не менее все же существуют языки, которые можно назвать «флективными», «агглютинативными» и т. п., т. е. существует объективная возможность распределить языки по типам их структурных особенностей, подтвержденная практикой различных классификаций.

Что же касается языков, «совмещающих» в себе разные типологические черты, то их наличие не отрицает существования типологически относительно однородных языков, подобно тому, как, например, потомство от смешанных браков не отрицает принадлежности основных масс людей к разным этническим группам.

*

Основной практический (и в то же время теоретический) вопрос типологии — это поиск таких наборов черт и свойств, которые сводили бы на нет условность типологической классификации и обеспечивали классифи-

[18] В. Скаличка, указ. соч., стр. 34.

кацию, максимально отвечающую фундаментальному устройству человеческих языков.

Как уже говорилось, в последнее время внимание исследователей при выведении понятия типа все более сосредоточивается на системном характере языка, что несомненно справедливо. Сделаем и мы несколько шагов в этом направлении.

Система любого языка, если говорить в самом общем виде, состоит из единиц разной степени сложности и сетки отношений между единицами.

Все виды отношений, обнаруживаемых в языке и специфичных для языка, сводятся к трем основным видам — иерархические, синтагматические и парадигматические [19]. Иерархические — это отношения между единицами разных уровней или подуровней, характеризующие отношения «вхождения» единиц более низких уровней и подуровней в более высокие. Синтагматические и парадигматические — это внутриуровневые отношения, т. е. отношения единиц, принадлежащих одному уровню или подуровню. В рамках этих трех видов отношений проявляются все структурно-функциональные свойства языков. Иерархические отношения характеризуют устройство единиц разной степени сложности, поскольку единицы более высоких уровней «состоят из» единиц более низких уровней и подуровней (предложение состоит из слов, слово состоит из морфем, звуковые оболочки слов и морфем состоят из фонем). Синтагматические отношения характеризуют связи единиц одного уровня или подуровня между собой (связи морфем в слове, слов в предложении, звуков в слоге). Парадигматические — характеризуют объединения единиц в различные классы (например, группировки слов в так называемые части речи).

Наблюдения показывают, что в разных языках эти три вида отношений реализуются по-разному и имеют неодинаковый характер. При этом можно обнаружить языки, в которых характер этих отношений сходен или подобен. Так, во многих языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии обнаруживается последовательное подобие [20] в отношениях звука (фонемы) и слога, слога и морфемы, морфемы и слова, слова и предложения. Иначе говоря, в большой группе языков наблюдаются аналогичные или подобные отношения единиц разных уровней и подуровней, которые отличаются от отношений таких же единиц в языках иных групп, например индоевропейских. В языках последней группы также наблюдается подобие в отношениях соответствующих единиц.

Точно так же в разных группах языков обнаруживаются различия в характере синтагматических и парадигматических отношений. Так, в тех же языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, именуемых изолирующими, в словах в речи не выражаются их синтаксические отношения к другим словам, что влечет за собой твердый (или относительно твердый) порядок слов. В неизолирующих языках, наоборот, в самих словах выражаются синтаксические отношения друг к другу, что имплицирует свободный порядок слов. В языках разных групп единицы по-разному объединяются в классы, т. е. обнаруживается разная парадигматика. Это касается, в частности, так называемых частей речи. Например, в упомянутых изолирующих языках система частей речи иная, чем в неизолирующих индоевропейских языках: качественные прилагательные тяготеют к глаголам и образуют вместе, как иногда говорят, более широ-

---

[19] По этому поводу подробнее см.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 65 и далее.

[20] См. по этому поводу: В. М. Солнцев, Установление подобия как метод типологического исследования, в кн.: «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965.

кую категорию «предикатива»[21], в то время как в индоевропейских языках прилагательные по свойствам ближе к существительным и образуют вместе более широкую категорию имени.

Для выведения типа языка, по-видимому, целесообразно использовать сходство или подобие этих трех видов отношений в пределах некоторых групп языков, что позволяет различать разные языковые группировки по структурно-функциональным признакам.

Учет этих основных видов отношений позволяет принимать в расчет: а) устройство единиц (иерархические отношения), б) отношения между собой в речи единиц одного уровня (синтагматические отношения) и в) способы группировки единиц в разные классы (парадигматические отношения). Ориентация на эти три аспекта дает возможность учитывать не только чисто формальные свойства языков, но и такие, которые определяются значением, или содержанием, единиц и категорий языка. Ведь синтагматические и парадигматические отношения между двусторонними единицами, например морфемами и словами, регулируются вовсе не только и не столько их структурными свойствами, но прежде всего их значениями. Значениями же определяются и функции языковых единиц и категорий. Поэтому, учитывая структурно-функциональные свойства, типология, не исследуя непосредственно языковые значения, фактически опирается и на так называемый план содержания языка.

Устройство языка приспособлено для выражения определенного содержания. С этой точки зрения вряд ли целесообразно противопоставление формальной типологии и контенсивной (содержательной) типологии. Учет чисто формальных особенностей языка для познания сущности языка малополезен (хотя может быть для некоторых целей необходим), а учет содержательной стороны вне форм, категорий и вообще структуры языка практически невозможен[22]. Лингвистическая типология, опираясь на структурно-функциональные особенности языков, с неизбежностью учитывает и значения, выражаемые данными языками.

Цель настоящей работы — обсуждение некоторых общих принципов типологии, а не разработка конкретной классификации. Тем не менее в свете изложенного можно сделать одно замечание в связи с типологической классификацией.

Если брать в расчет особенности синтагматических отношений в разных языках на уровне слов, то оказывается, что все языки можно разделить на два больших типа: I тип — изолирующие языки, в которых в словах независимо от их морфологической осложненности не выражены отношения друг к другу, II тип — неизолирующие языки, в которых хотя бы некоторые категории слов своими собственными средствами выражают отношения к другим словам. Изолирующие языки, так же как и неизолирующие, могут иметь агглютинацию и даже флексию. Это деление поддерживается и однотипностью межуровневых отношений.

Постановка в один ряд флективных, агглютинативных и изолирующих языков — главная ошибка классической типологической классификации, от которой ей предстоит избавиться.

Новые данные, которые дают восточные языки, не отвергают самих понятий «флективный», «агглютинативный» и «изолирующий», но ставят их в иные отношения друг к другу.

---

[21] См.: А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, М., I, 1952.

[22] См. у Г. А. Климова: «...формально-типологическое и контенсивно-типологическое описания преследуют, по существу, неодинаковые цели и их абсолютное сопоставление затруднительно...» (Г. А. Климов, указ. соч., стр. 133).

В свою очередь каждая из намеченных групп языков (изолирующие и неизолирующие) может быть подразделена на различные подтипы. Но это уже вопрос не общих принципов, а практических исследований.

*

Теперь кратко рассмотрим вопрос о временных границах существования типа языка. Данный вопрос непосредственно связан с диахроническим аспектом типологии или с исторической типологией.

Каждый конкретный язык, как уже об этом говорилось, представляет собой непрерывно изменяющийся объект. Изменения в языке в процессе его исторического развития могут быть настолько велики, что его современное состояние оказывается совершенно отличным от его древнего состояния. В качестве примера можно указать на различия древнекитайского языка первого тысячелетия до новой эры и современного китайского национального языка, который обладает, как уже говорилось, совершенно новой морфологической системой, складывание которой происходило в исторически доступное для наблюдения время, и который в еще более отдаленные времена обладал какой-то иной морфологией, и следовательно, иной типологией.

Изменчивость языков, ведущая к изменению строения языков и тем самым к изменению самих языковых систем и фактически к переходу от одной языковой системы к другой, не позволяет включать в типологическое рассмотрение язык как исторически меняющийся объект, т. е. объект, взятый за все время его исторического существования (имеется в виду в доступное для наблюдения время). Такой исторически меняющийся объект может включать в себя языковые системы, которые отличаются друг от друга не менее, чем системы разных национальных языков.

Такое положение вещей обусловливает необходимость при типологическом исследовании держаться преимущественно синхронного взгляда на язык [23]. Синхронный взгляд на язык в данном случае подразумевает проведение «синхронного среза», в результате которого выявляется некоторое состояние языка на данный момент времени. Однако этот «синхронный срез» может быть достаточно «объемным» с точки зрения временного интервала.

Выявленное состояние языка характеризует языковую систему в соответствующий отрезок времени и может быть рассмотрено как языковая система. Поскольку язык меняется непрерывно, постольку в языковой системе происходит непрерывное медленное изменение — накопление мелких количественных и качественных изменений. Накопление таких изменений рано или поздно ведет к сдвигам в системе и по существу ведет к переходу к новой системе. Однако в течение определенного периода времени (измеряемого иногда столетиями) система остается «сама собой», т. е. в общих и существенных чертах сохраняет те же элементы (фонемы, морфемы, слова) [24] и одно и то же устройство, или структуру. Так, по-видимому, русский язык эпохи Пушкина представляет собой ту же систему, что и современный русский язык, хотя произошли определенные сдвиги в лексике и грамматике (ср. в «Маскараде» Лермонтова: «О! ты не убежишь. — Я вас не убегаю», что невозможно сейчас).

Резкие границы между системами в одном и том же языке провести трудно, а то и вообще невозможно в силу медленности накопления изме-

[23] Сказанное ни в коей мере не отрицает важности учета в типологическом исследовании исторических сдвигов в языке (см. ниже).

[24] Напомню, что, согласно Сводешу, за одно тысячелетие меняется только около 19% всех морфем данного языка.

нений. Накопление инноваций никогда не нарушает возможности беспрепятственного общения с помощью данной языковой системы следующих друг за другом поколений людей, говорящих на данном языке. Однако далеко отстоящие во времени поколения уже не могут беспрепятственно понимать тексты, написанные другими поколениями в иное историческое время. Это может свидетельствовать о существенных сдвигах в устройстве данного языка и, следовательно, о переходе языка в новое состояние и тем самым о переходе языка от одной системы к другой. Поэтому некоторым, хотя и не очень строгим критерием тождественности языковой системы самой себе может служить беспрепятственная понимаемость текстов, созданных на основе данной системы. Впрочем возможность понимания текстов, написанных на данном языке в ранние эпохи, находится в зависимости от очень многих «нелингвистических» факторов (возраста, образования и т. д. людей). Это и делает данный критерий очень «приблизительным» и зыбким.

Одним из объективных критериев определения временных границ существования данной языковой системы (т. е. определения тождественности системы самой себе во времени) является сохранение «одних и тех же» отношений между единицами разных уровней системы, т. е. сохранение одних и тех же иерархических отношений в системе или, иначе, подобие системы самой себе во времени.

Степень подобия системы самой себе со временем изменяется. Накопление инноваций размывает высокую степень подобия и ведет к затруднению беспрепятственного общения (т. е. понимания текстов некоторого периода отдаленными последующими поколениями) даже в рамках «одной и той же» по важнейшим параметрам системы. Поэтому, если беспрепятственное общение есть признак тождества системы самой себе, то затруднение общения не есть еще признак перехода к другой системе. Возникающие затруднения свидетельствуют о накоплении инноваций в системе, хотя они и могут наблюдаться в рамках одной и той же системы.

По-видимому, язык продолжает принадлежать к одному и тому же типу до тех пор, пока сохраняются «одни и те же» отношения между единицами разных уровней. С этой точки зрения, например, английский язык продолжает оставаться языком флективным, хотя в составе флективных языков он относится в результате исторических сдвигов к так называемым аналитическим языкам.

Придерживаясь, как об этом говорилось, прежде всего синхронной точки зрения на язык, типология имеет в силу сказанного и диахронический аспект, в той мере, в какой она рассматривает трансформации языковых систем (смены языковых систем в исторически разное время в «одном и том же» языке), устанавливает критерии перехода языка из одного «системного» состояния в другое, выявляет степень подобия системы самой себе во времени и т. д. Эта сторона типологии также имеет существенное значение для познания общих свойств человеческого языка.

Кроме того, возможна и типология самих языковых изменений, т. е. выявление общего и особенного в путях развития разносистемных языков. В качестве примера типологически сходных изменений можно указать на семантические сдвиги в некоторых словах русского и китайского языков: русск. *вор* (изменник) → *вор* (грабитель) и *тать* (вор, грабитель); кит. *цзэй* (изменник) → *цзэй* (вор, грабитель) и *дао* (вор, грабитель). Русск. *вор* и кит. *цзэй* одинаковым образом меняют значения, а слова *тать* и *дао* выходят из употребления.

Генетически родственные языки, как правило, обладают общими типологическими свойствами, поскольку происходят от одного языка-источ-

ника и очень долго сохраняют в себе черты этого языка-источника [25]. Исключительно устойчивой оказывается сетка иерархических отношений в родственных языковых системах. Даже различаясь как синтетические и аналитические языки (например, русский и английский), языки могут сохранять в общих чертах подобие в сетке иерархических отношений и в течение столетий принадлежать к разным подтипам в рамках одного типа. Типологически сходными могут оказаться языки, родство которых не может быть установлено. Поэтому если генетическое родство предопределяет типологическое сходство [26], то типологическое сходство само по себе не служит доказательством генетического родства, хотя у типологически сходных языков скорее можно предположить возможное наличие родства, чем у типологически вообще несходных языков.

Важно сделать еще следующее замечание. Поскольку типология, решая свои задачи, занимается прежде всего сопоставлением языков, постольку для типологии особо важно обеспечение соизмеримости языков. Сопоставлять вообще можно только соизмеримые явления. Соизмеримость описаний языков может быть достигнута за счет создания специальной системы терминологии, главным образом, путем обработки существующей.

Лингвистические термины — это мера, которой «измеряют» языки. Языки, «измеренные» разными мерами, нельзя сопоставлять. Поэтому языки необходимо описывать в единых терминах, обладающих одним и тем же содержанием [27].

*

Изложенное выше ни в коей мере не исчерпывает проблематику лингвистической типологии и ее возможные подразделения. Не развивая этого подробно, отмечу следующее.

Если лингвистическая типология в целом выступает как частная дисциплина по отношению к общей типологии как междисциплинарной теории и методу, то собственно лингвистическая типология в свою очередь может быть подразделена на общую типологию и частные типологии.

Как уже говорилось, типология может обращаться к разным свойствам изучаемых объектов. Типы, выведенные на основе общесистемных свойств, каковыми, в частности, с моей точки зрения, являются три вида упомянутых выше отношений (иерархические, синтагматические и парадигматические), представляют собой общие языковые типы. Они находятся в ведении общей (лингвистической) типологии. Такая общая типология есть типология языковых систем как целостностей. Но возможна также типология отдельных подсистем (или уровней) языка. Типы, выведенные на основе свойств отдельных уровней (подсистем), являются уже не общеязыковыми типами, а типами подсистем, или частными типами. Ими ведают частные (лингвистические) типологии. Частными типологиями, например, являются фонологическая типология, синтаксическая типология, морфологическая типология. По-видимому, можно говорить о лексической типологии, о семантической типологии, или типологии значений. Возможны и более узкие типологии, например, типология грамматических категорий, типология слога и т. д. и т. п. Количество возможных част-

---

[25] См. у В. Скалички: «...близкородственные языки по необходимости сохраняют высокую степень типологического сходства, что относится в большей степени ко всем славянским языкам» (В. Скаличка, указ. соч., стр. 22).

[26] См. у Э. Бенвениста: «Всякая генеалогическая классификация, когда она констатирует родство между какими-либо языками и устанавливает степень этого родства, определяет некоторый общий для них тип» (Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 45).

[27] По этому вопросу см.: В. М. Солнцев, О соизмеримости языков, в кн.: «Принципы описания языков мира».

ных типологий ограничивается количеством наборов лингвистически существенных свойств, т. е. свойств, характеризующих тот или иной аспект языковой системы, уровня (подсистемы) или каких-либо языковых явлений.

Все такие типологии правомерны в определенных целях. Их конечной целью является познание разных сторон человеческого языка. Типы, выявляемые в рамках частных типологий, могут быть независимыми или относительно независимыми друг от друга. Они также могут не соответствовать или не полностью соответствовать общеязыковым типам, хотя в силу взаимной обусловленности разных участков (уровней или подсистем) языковых систем частные типы (например, типы фонологических систем, типы грамматических категорий и т. п.) обычно находятся в соответствии с общеязыковыми типами. Так, в изолирующих языках Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, на основе общесистемных свойств которых, собственно, и выводится само понятие изолирующего типа, наблюдается, например, типологическая общность звуковых систем (все эти языки характеризуются ограниченным количеством слогов, фиксированного звукового состава). Этим языкам присущи также морфологическая значимость слогоделения (совпадение слогового членения с морфемным), несинтаксический характер (в понимании А. М. Пешковского) морфологических категорий, а также ряд других общих свойств.

С другой стороны, в языках, принадлежащих одному общеязыковому типу, могут обнаруживаться разные частные типы. Так, флективные языки могут в синтаксическом отношении принадлежать или эргативному, или номинативному (частному) типу. Несоответствие частных типов и общих типов не снижает эвристической ценности частных типологий. Существование любой частной типологии оправдано, если она способствует познанию таких свойств человеческих языков, которые не могут быть учтены общей лингвистической типологией.

Из частных типологий наиболее сближена с общей типологией морфологическая типология, поскольку в слове и морфеме — основных единицах морфологической подсистемы языка — в наибольшей степени отражаются общесистемные свойства данного языка. Не случайно поэтому в течение длительного времени ставили знак равенства между понятиями морфологической и типологической классификаций.

Выделяемые в лингвистической типологии общеязыковые типы и частные типы дополняют друг друга и способствуют всестороннему раскрытию структурно-функциональных свойств человеческих языков. Перекрещивание разных частных типов не должно никого смущать, подобно тому как психологов не смущает перекрещивание, например, антропологических и психологических типов людей. Необычайное многообразие свойств человеческих языков с неизбежностью вызывает к жизни, наряду с общей лингвистической типологией, различные частные типологии. Требуется только, чтобы частные типологии не строились на случайных, лингвистически несущественных или малосущественных признаках.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

О РАННИХ БАЛКАНО-ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ

Вопрос о путях проникновения балканизмов в восточнославянскую лексику прежде всего связывается с изучением карпатского ареала, в котором слова балканского происхождения в большом количестве распространились на протяжении последних пяти-шести столетий в результате переселения восточнороманских пастушеских коллективов (так называемая «валашская колонизация») [1]. Эта тема в настоящее время привлекает к себе внимание в связи с развернувшейся работой над созданием «Общекарпатского диалектологического атласа» [2].

С распространением карпатской лексики в смежные лингвистические ареалы отдельные балканизмы также проникали дальше на север, восток и северо-восток. Изучение вопроса о карпатизмах различного происхождения (в том числе и балканизмах) в украинских, белорусских и русских говорах только еще начинается и здесь возможны интересные открытия как в аспекте лингвистической географии (распространение слов как свидетельство возможных переселенческих движений, экономических и культурных связей), так и в области этимологического определения элементов диалектного словаря. В качестве примера подобного рода открытий может служить, в частности, обнаруженный в процессе работы над данной темой путь проникновения карпатского балканизма *bukata* в лексику русских говоров — через белорусские говоры, северо-западные говоры русского языка на юго-восток, в говоры Нижней Волги и Дона. Семантическое развитие этого романского слова также представляет значительный интерес [3].

---

[1] См.: А. В. Десницкая, О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением карпатского лингвистического ареала, ВЯ, 1976, 3; ее же, К интерпретации балканизмов в карпатской лексике, сб. «Общекарпатский диалектологический атлас», Кишинев, 1976.

[2] С. Б. Бернштейн, Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии, «Славянское языкознание», М., 1973; Г. П. Клепикова, Славянская пастушеская терминология, М., 1974. См. также доклады участников III Международной конференции по «Общекарпатскому диалектологическому атласу» (Кишинев, 21—23 апреля 1975), опубликованные в сб. «Общекарпатский диалектологический атлас», Кишинев, 1976. Этнографические аспекты проблемы широко освещены в специальных сборниках: «Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa», Budapest, 1961; «Viehwirtschaft und Hirtenkultur», Budapest, 1969.

[3] Речь идет о рефлексах латинского *bucca*, *-ae* f. «рот, щека», просторечного синонима к *ōs*, *ōris* n. «рот, уста». Слово это унаследовано всеми романскими языками, ср. франц. *bouche*, исп. *boca*, итал. *bocca* «рот; устье реки; отверстие». На Балканском п-ове — в албанском и восточнороманских языках — лат. *bucca* получило несколько иное семантическое развитие: алб. *bukë* «1. хлеб, 2. дневная (обед) или вечерняя (ужин) еда, 3. житье-бытье»; аром *bŭcă* «1. кусок, 2. порция пищи, принимаемая за один раз, 3. щека, 4. ягодица»; рум. *bucă* «1. щека, 2. мн. ягодицы». Самостоятельные значения получило образованное на восточнороманской почве производное рум. *bucătă*, молд. *букатэ* «1. кусок (хлеба, мамалыги, дерева и др.), 2. промежуток, расстояние, интервал времени», мн. *bucate* «1. кушанье, блюдо, 2. злаки, зерновые хлеба».

Однако, помимо балканизмов, распространившихся в восточнославянских языках из карпато-украинских говоров в относительно позднее время, представляется возможным исследовать также хронологически более ранний слой лексических элементов, проникших из балканского ареала или через его посредство.

О каких «балканизмах» здесь может идти речь? Говоря о раннем слое балканизмов в восточнославянских языках, я имею в виду те южноевропейские лексические элементы, которые проникали в язык восточнославянских племен на протяжении I тысячелетия н. э., когда область восточнославянского расселения в своей западной части непосредственно граничила с придунайскими территориями. Все культурные и языковые влияния средиземноморского юга, распространявшиеся к северу и востоку от Дуная не через посредство письменности (греческой, церковнославянской), но как результат живого общения в народной среде, шли через балканские земли, уже ранее сделавшись достоянием культуры и языка народов этих земель. Применительно к южноевропейским заимствованиям древнерусской поры обычно принято различать, на основании этимологии соответствующих лексем, их народнолатинское, греческое, южнославянское, иногда готское происхождение, чем предполагается их раздельная трактовка по слоям. Однако, если исключить из рассмотрения церковнославянскую лексику, изучение которой имеет свои специальные проблемы, представляется возможным рассматривать все эти древние заимствования как элементы общего потока лексических инноваций, распространявшихся из областей Юго-Восточной Европы в область расселения восточнославянских племен. Этимологический аспект их изучения должен быть дополнен этно- и культурно-историческими аспектами. Иначе говоря, необходимо учитывать сложный этнолингвистический и этнокультурный характер древнебалканского ареала как той промежуточной среды, в которой особым образом преломлялось любое культурное или языковое явление, продвигавшееся из Средиземноморья в более северные области Восточной Европы. Для всей территории Балканского п-ова, включая придунайские земли, I тысячелетие было временем длительного и бурного протекания этногенетических процессов. Уже в первые века, в условиях романизации, связанной с политическим господством Римской империи и в разной степени охватившей многочисленные древнебалканские племена, традиционно объединяемые под названиями фракийских, дакийских, иллирийских, происходило образование восточнороманских и албанского этносов. Кон-

---

В карпато-украинских говорах засвидетельствованы формы *бука́т*, *бука́та*, *бука́тка* в значении «кусок (*Втяла букат сира*, *Прийде нам сі без букатки хліба пропадати.*— Б, Д. Гринченко, Словарь украинского языка, I, Киев, 1907, стр. 108). Из карпатского ареала слово *букатка* проникло в белорусские говоры в значении «печеный хлеб» (*Толочане в полудзень зъели букатку хлеба.*— И. И. Носович. Словарь белорусского наречия, СПб., 1870, стр. 38). В русских говорах слово было зарегистрировано В. И. Далем. На основании новых данных, дополнивших и уточнивших его указания, семантика и ареал распространения балканизма *bukata* в русских говорах предстает в следующем виде: «*Бука́та*, *ы*, ж. Булка. Бельск. Смол., 1914. 1. *Бука́тка*, *и*, ж. 1. Каравай хлеба. *По достатку пекут букатку*. Зап. Даль. В сравн. *Девка*, *як бука́тка* — *бука́точка*. Бельск., Пореч. Смол. Сев. зап. 2. Ржаной хлеб. Пореч. Смол., 1914. 3. Кусок мяса, Сарат., Даль. *Букатка мяса*. Дон. // Доля пищи бурлака в артели. Сарат. Даль» («Словарь русских народных говоров», 3, Л., 1968, стр. 264). Производн. *Бука́тник*, *а*, м. Шутл. Начальник артели бурлаков, выдающий членам артели их долю пищи. Сарат. Даль. (Там же. Возможно, что прилагат. *букатый* в значениях 1. Обширный, просторный, Зап. 2. Толстый. Смол.— там же, также производено от основы *букат-*).

Пути движения этого интересного слова таким образом протянулись из карпатской области, через белорусские говоры и далее через северо-западные говоры русского языка, далеко на юго-восток — в области Нижней Волги и Дона. Вероятно, слово распространилось на Волге как элемент профессионального арго бурлаков.

кретные перипетии и факторы этого процесса, включая участие в нем исторически менее значимых для конечного результата этнических элементов (кельтского, готского, иранского), остаются неизвестными, однако сам факт его действия не подлежит сомнению. В середине I тысячелетия, с приходом на Балканский п-ов славян, начинается новый период в этнической истории этого региона. Особую важность приобретает сложение отношений южных славян с восточнороманскими, албанским, греческим этносами. Политическое господство Византийской империи и Болгарского царства, со своей стороны, не могло не оказать определенных влияний на сложение культурных и языковых общностей в процессе формирования балканского многочленного единства, традиции которого закладывались уже в этот бурный период этнической истории.

При таком подходе все языковые и культурные явления, распространявшиеся с юга на север через балканскую языковую и культурную среду, могут быть названы «балканизмами» — балканизмами ранней поры.

Непосредственные контакты восточнославянских племен, юго-западная часть которых населяла земли по Бугу и Днестру, с балканским ареалом осуществлялись уже в первые века н. э., в эпоху завоевания Римом придунайских областей. «С первых веков нашей эры наблюдается воздействие Рима на культуру восточных славян»,— писал Б. Д. Греков [4]. Среднее Поднепровье II—V вв. заключает в себе значительную совокупность показателей, говорящих о «распространении здесь римских изделий и о воздействии римских производственных навыков на местное ремесло» [5]. Память о «Веках Трояновых», дошедшая до нас в поэтическом тексте «Слова о полку Игореве», была, как полагает Б. А. Рыбаков, «надежной хронологической глубиной того эпического репертуара, который дожил еще до XI—XII вв.» [6]. «„Века Трояновы“ — это не время царствования одного императора..., а время существования Римской империи, совпавшее с расцветом славянской жизни в Среднем Приднепровье (Черняховская культура), сильно окрашенной культурным воздействием „Трояновой земли“. „Века Трояновы“ — это II—IV вв., те три столетия, когда славянская племенная знать продавала римлянам зерно, меряя его римскими мерами, накапливала сокровища римских монет, украшала жен римскими изделиями» [7].

Если в период IV—VI вв. юго-западное крыло восточнославянского этнического массива в днепровско-днестровском междуречье было представлено антами, то к концу I тысячелетия с севернобалканскими землями непосредственно граничат территории дулебов, а также уличей и тиверцов, живших, согласно летописным сообщениям, по Бугу и Днестру и получивших у греков название «Великая скуфь» [8]. В X в. к придунайским землям тяготели политические и экономические интересы Киевской Руси, что нашло яркое выражение в балканских походах Святослава и в его желании утвердить центр своего княжества в Переяславце на Дунае [9]. В XI—XII вв. славянское население Побужья и Поднестровья передвинулось, под давлением тюркских кочевников, «частью... на север, а большей частью на запад, в Карпатские горы» [10].

---

[4] Б. Д. Греков, Киевская Русь, М., 1949, стр. 377.
[5] Там же, стр. 373.
[6] Б. А. Рыбаков, Древняя Русь, М., 1963, стр. 16.
[7] Там же, стр. 15.
[8] «Повесть временных лет», I, М.—Л., 1950, стр. 14.
[9] «... яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, поволоки, вина и овощеве разноличныя, изъ Чехъ же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медъ и челядь» (там же, стр. 48).
[10] Л. Нидерле, Славянские древности, М., 1956, стр. 158.

Таким образом, контакты восточных славян с населением дунайских земель развивались в течение многих столетий, начиная с эпохи римского владычества. Эти контакты были долговременным источником проникновения в восточнославянскую среду балканских языковых и культурных влияний, отражение которых в языке представлено хорошо известным слоем лексических заимствований, а в области народных верований и обрядов — рядом явлений, балканские связи которых, хотя номинально и учитываются, однако нуждаются в более углубленном исследовании.

Определенный интерес представляет вопрос о том, в какой мере галицко-волынские земли, где обосновались отодвинувшиеся с юга бывшие дулебы, уличи и тиверцы, продолжали и в последующие столетия служить для Киевской Руси передаточной средой распространения балканских влияний, проникавших с юго-запада, через области Карпат.

К числу элементов южноевропейской лексики, проникших в восточнославянскую языковую среду через древнебалканский ареал, могут быть отнесены слова, источники заимствования которых определяются как народная латынь, например: русск. *комора*, *баня*, *конопля*, *черешня*, *дыня*, *мята*, *мост* «виноградное сусло», *млин* (обл.) «мельница», *скудель* (обл.) «глина, глиняный сосуд», *кошуля* (обл.) «овчинный тулуп»; греческий язык: *терем*, *коливо* «поминальная кутья»; готский язык: *вино* [11] и др. Некоторые из таких заимствований имеют, по-видимому, древнебалканское происхождение, например, *гуна*, *гуня* (обл.) «ветхая одежда, отрепья, старый меховой полушубок». Представленные в этом неполном перечне названия построек, одежды, культурных растений отражают процесс заимствования слов в связи с распространением определенных реалий, что говорит о бытовых контактах восточнославянского населения с населением южнодунайских областей.

Об этих давних и, по-видимому, довольно тесных контактах особенно ярко свидетельствуют некоторые восточнославянские термины народнообрядового характера, которые могут быть сгруппированы в особый разряд по признаку принадлежности к некогда существовавшей семиотической системе, отражавшей языческие верования Древней Руси (сюда относится и приведенный выше обрядовый термин *кóливо*). Хорошо известная латинская этимология таких слов, как *русалия*, *русалка*, *коляда*, получает достаточно убедительное культурно-историческое обоснование, если признать, что и в области дохристианских верований между восточными славянами и народами Балканского п-ова существовало определенное взаимодействие. И с этой точки зрения термины *русалия* и *коляда* оказываются для восточнославянских языков словами не столько латинского, сколько собственно балканского происхождения, так как они проникали не как элементы римской или византийской традиции, но как элементы народнообрядовых систем, существовавших в I тысячелетии н. э. в восточнобалканском ареале и имевших в качестве основы древнебалканские (фракийские, дакийские) и древнеславянские языческие верования, с народнороманскими, греческими и другими напластованиями. Против этих систем боролась, частично приспосабливаясь к ним, христианская церковь. И языковые, и этнографические данные говорят о древних и глубоко заходивших связях населения восточнославянского и севернобалканского

[11] Общепринятое мнение о заимствовании слова *вино* через готский язык не кажется мне бесспорным. Но и принимая это объяснение, можно, тем не менее, отнести *вино* к числу ранних балканизмов, так как участие готов в исторической жизни юго-восточной Европы в I тысячелетии н. э. достаточно хорошо известно и к тому же сама основа' гот. *wīna-* из лат. *vīnum* вместе с культурой виноделия (ср. *weinagards* «виноградник») могла быть усвоена готами только на юге. Второй элемент композита *-gards* также имеет балканские соответствия, ср. алб. *gardh*, рум. *gard* «изгородь».

ареалов в области языческой обрядности и, следовательно, в области народного быта вообще.

Др.-русск. *русалия* — это название языческого весеннего праздника, с которым календарно были соотнесены церковные праздники Духова дня и Троицы. Против «бесовских игрищ и песен», которыми сопровождалось на протяжении недели («русальная неделя») обрядовое действо Русалий, устойчиво сохранявшееся в народной среде, ожесточенно боролась церковь. Название *русалия* этимологически восходит к лат. *Rosālia* «праздник роз» (*dies rosae* «день розы»), который был связан с культом предков и представлял собой весенний обряд поминок. У народов Балканского п-ова, усвоивших указанное латинское название, соответствующий весенний праздник носил характер бурных народных игр, включавших театрализованное действо боя между русальскими дружинами. Сравнительный анализ балканских и русских исторических и этнографических данных был произведен А. Н. Веселовским, пришедшим к выводу, что в Русалиях «сохранились отголоски фракийско-македонского народно-классического культа» [12]. О значении обряда А. Н. Веселовский писал: «Анализ русских суеверий приводит к заключению, что весенние русалии, главным образом, поминальный обряд; русалки = manes; на древние отношения родства указывает совпадение их культа с весенним обрядом кумовства; они — покойники, „земляночки“» [13]. Широко засвидетельствованный в русской этнографической литературе обряд установления временного «кумовства» девушек с русалками (с последующим «раскумлением») и связанный с ним обряд «крестины кукушки» [14] позволяют объяснить в качестве элемента терминологической системы ритуальных действий русские термины обрядового родства *кум*, *кума*. Русск. *кум* восходит к нар. лат. *compater* «крестный отец» [15], ср. ст.-слав. *кѫмотръ* id., русск. стар. ряз. *кмотр* «кум» (Даль). Слово это пришло с юга, вместе с группой других обрядовых терминов.

Устанавливаемая на основе лингвистических и этнографических данных связь русских Русалий с соответствующими балканскими обрядами нуждается, однако, в более глубоком изучении и в более развернутой семантической интерпретации. На огромном этнографическом материале Д. К. Зеленин убедительно показал, что в основе русского обрядового действа Русалий лежит не поминовение предков, но поминовение покойников, умерших неестественной смертью и что представления о «нечистых» покойниках, «нечисти», окрашивают восточнославянский образ «русалок» [16]. Можно усматривать в этом специфическую особенность восточнославянских языческих верований. Но возможен и пересмотр с точки зрения восточнославянских фактов семантического содержания русальных обрядов, засвидетельствованных у народов Балканского п-ова. В частности, воинственный характер русальных игр на Балканах может быть интерпретирован как принадлежащий обряду изгнания злых духов (ср. русские «проводы русалок» [17]).

Характерно, что другой русский поминальный праздник — Радуница, не имеет тех значений сакральной нечистоты, которая характерна для семантики Русалий, и целиком посвящен почитанию и оплакиванию

---

[12] А. Н. Веселовский, Разыскания в области русского духовного стиха. XI—XIV, сб. ОРЯС, XLVI, 6, 1889, стр. 281.

[13] Там же, стр. 270.

[14] Д. К. Зеленин, Очерки русской мифологии, Пг., 1916, стр. 268 и сл.

[15] Вряд ли есть необходимость возводить ст.-слав. *кѫмотръ* к лат. **commāter* «крестная мать». Фонетическое развитие **mp* > *mb* > *m* прослеживается на балканской почве, ср. алб. *kumptër*, *kumtër*, также *kumbarë* из лат. *compater*, ср. рум. *cumătru*.

[16] Д. К. Зеленин, Очерки русской мифологии.

[17] Там же, стр. 237 и сл.

умерших родственников [18]. Радуницу, справляемую на второй неделе после пасхи, во многих местностях называют «родительским днем» (калуж., вят. и др., см. Картотеку «Словаря русских народных говоров»). Русское название *Радуница* является переосмысленным (путем сближения с *рад*, *радость*) производным от греч. ῥοδωνια (от ῥοδον «роза») — прозрачной кальки лат. *Rosālia* «день роз», с тем же значением «праздника поминовения мертвых». Возражение против этой этимологии М. Фасмера [19], указавшего на отсутствие значения «поминки», у греч. ῥοδωνιά «розовый куст, розовый сад», не кажется убедительным. Калькированный термин ῥοδωνια специально для обозначения «чистого», поминального дня (в отличие от отмеченного языческим веселием и церковным осуждением праздника Русалий, греч. ρουδάλια), мог быть создан в бытовой среде низшего духовенства на Балканах, распространиться в порядке живого народного общения и попасть таким путем к восточным славянам.

В славянской языческой обрядности, как известно, большое место занимали обряды, связанные с культом огня в его различных функциях. Авторы исследования о древних славянских семиотических системах отмечают, что, помимо «обряда возжигания живого огня, когда сам огонь был основным объектом ритуального почитания, огонь возжигался или так или иначе использовался еще в целом ряде обрядовых действ» [20].

Есть основания предполагать, что в обрядовой терминологии, связанной с культом огня, у восточных славян использовался древний балканизм *vatra* [21]. Однако со значениями «огонь», «очаг», слово это зарегистрировано только в карпато-украинских говорах: *Ватра* ж. «1. Очаг. Огонь. *Жива́ ва́тра*. Огонь, добытый при помощи трения друг о друга двух кусков дерева, добывается с известными обрядами *ватáгом в полони́ні* и служит для разведения огня в жилище пастухов и для совершения различных обрядовых действий над скотом, охраняющих, по мнению пастухов, этот последний. 2. Под печи, на котором печется хлеб» [22]. Неизвестно, насколько древним элементом карпато-украинской лексики является этот балканизм. Он мог быть принесен балканскими пастухами в относительно более позднее время. Во всяком случае, архаическая семантика («живой огонь») свидетельствует о существовании обрядовой функции термина *ватра* в определенной части восточнославянского ареала, в данном случае при скотоводческом типе хозяйства. Пережитки обрядового значения этого термина в связи с земледельческим культом обнаруживаются в русских говорах, а именно в семантике диалектного слова *вóтра*, *вóтря*.

Одним из древнерусских языческих обрядов, подвергавшихся резкому осуждению церкви, был обряд возжигания огня под овином и моления огню-сварожичу [23].

---

[18] D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin — Leipzig, 1927, стр. 332. Подробно о ритуале Радуницы у русских, белоруссов и украинцев см. в труде И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», III, М., 1838, стр. 47—54. «В разных краях великой, малой и белой России доныне сохраняется обычай поминать родителей на Фоминой неделе, на кладбищах, а кой где и само название» (указ. соч., стр. 50).

[19] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 431 и сл.

[20] Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, М., 1965, стр. 145 и сл.

[21] См.: А. В. Десницкая, О некоторых вопросах балканистики..., стр. 39, где дается этимология алб. тоск. *vatër*, *vatra*, гег. *votër*, *votra* «очаг», вост.-ром. *vatră* «огонь».

[22] Б. Д. Гринченко, указ. соч., стр. 129.

[23] См.: Е. В. Аничков, Язычество и древняя Русь, СПб., 1914, стр. 290; V. J. Mansikka, Die Religion der Ostslaven, I, Helsinki, 1922, стр. 177.

Приводя характерные упоминания из христианских поучений («кто под овином молится или во ржи», «огневи сворожицю молятся», «иже молятся огневи под овином», «и огневи молятся, зовуще его сварожичьмь») Е. В. Аничков заключает: «Мы имеем перед собой сельскохозяйственный культ, в котором соединяется огнепоклонство с почитанием солнца» [24]. О пережитках этого культа у белорусов свидетельствует А. Е. Богданович, сообщающий: «Хороший хозяин, насаживая в овине снопы первый раз в году, чтобы просушить их для молотьбы, бросает обыкновенно сноп ржи в овинный огонь. Это несомненно отголосок первобытных жертв огню» [25].

О том, что овинный огонь в ритуальной функции, а также сжигаемые на нем в качестве жертвы снопы колосьев обозначались в Древней Руси термином *ватра*, *вотра*, свидетельствует зарегистрированное в «Словаре» Даля значение *вотра* костром, «распоясанные снопы, которыми набивают овин, ворохом». Широко представленное во многих русских говорах для слов *вóтра*, *вóтря* значение «измельченная солома с колосом, оставшаяся после молотьбы» [26], отражает другую функцию ритуального возжигания огня — связанное с поминанием предков «жжение соломы». Д. К. Зеленин замечает: «Жжение соломы и означает, подобно воскурению фимиама, приглашение к родному очагу покойных предков, „родителей". Эта мысль ясно выражена в Стоглаве: „въ великий четвертокъ порану солому палятъ и кличутъ мертвыхъ"». Довольно ярко сквозит она и в южновеликорусском обряде „греть родителей"» [27]. Определенную связь с ритуалом когда-то, возможно, имело и слово *ватрушка* — первоначально «лепешка, испеченная на огне», «на очаге», «на поду» (см. выше значения слова *ватра* в карпато-украинских диалектах). Аналогично по образованию болг. *погáча* «хлеб, испеченный в золе, лепешка», серб.-хорв. *пòгача* «пресный хлеб», алб. *pogaçe*, рум. *pogáce* «лепешка» — из нар. лат. *focăcea* «изделие из теста», от лат. *focus* «очаг». Этот балканизм засвидетельствован и в русском языке. Так, в «Словаре церковно-славянского и русского языка» 1847 г. (III, стр. 244) *погач* — обл. «род пресного пирога», такое же значение у Даля (но слово дано со знаком вопроса).

Балканизмы представлены также в терминологии зимних праздников. Я не останавливаюсь специально на термине *коляда*, этимология которого давно известна (из лат. *calendae*). Семантика и ареал распространения соответствующего обрядового действа достаточно хорошо освещены в научной литературе. Связь восточнославянского обряда колядования с соответствующими новогодними обрядами у народов Балканского п-ова вполне очевидна. К сфере обрядовой лексики зимнего календаря в восточнославянских языках принадлежал еще один балканизм, также явно не книжного, но народного происхождения. Это др.-русск. *корочунъ* «зимний солнцеворот» (Новг. I лет. под 1143 г.), русск. обл. *корочун* «зимний солнцеворот 12 декабря; смерть», зап.-укр. *керечун*, *керечунь* «вечер; сочельник», *кречун*, *гречун* «сочельник, рождество; хлеб особого рода», белорусск. *корочун* «корчи; злой дух, сокращающий жизнь; нечаянная смерть». Ср. молд. *крэчун*, рум. *cracĭun* «рождество; обрядовый хлеб, выпекаемый к новому году»; болг. *крачун*, *крачунец* «рождественский день», серб.-хорв. имя собственное *Крачун*, словац. *kračún* «рождество».

---

[24] Е. В. Аничков, там же, стр. 290—291.

[25] А. Е. Богданович, Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, Гродна, 1895, стр. 17.

[26] «Словарь русских народных говоров», 5, Л., 1970, стр. 160. См. также *вбтрина* «измятая ржаная солома» и др. (там же, стр. 161).

[27] Д. К. Зеленин, Очерки русской мифологии, стр. 281.

Ранее я имела случай подробно остановиться на этимологии этого слова [28], которое также представляет собой один из балканизмов обрядового характера, очень рано проникший в восточнославянскую языковую среду. Сопоставление восточнороманской формы *kračun* (молд. *крэчун*. рум. *craciun*) и южнославянской *крачун* с алб. *kërcun-* (< * *karcun*) «пень, чурбан, обрубок дерева» дает возможность истолковать значения «праздник зимнего солнцестояния; сочельник, рождество» в свете данных балканской этнографии. У всех народов Балканского п-ова засвидетельствован в качестве важнейшего элемента праздника зимнего солнцеворота обряд сжигания специально доставляемого из леса обрубка древесного ствола (серб.-хорв. *бадњак*), сопровождаемый ритуальной трапезой и облеченный магической символикой, охватывающей значения возрождающегося солнца, священного огня, плодородия, а также тесно связанный с этим кругом значений культ предков. В литературе существуют очень подробные описания этого обряда [29], который засвидетельствован, помимо балканских народов, также у многих других народов Европы [30].

Древнебалканский ритуальный термин, рефлексами которого являются вышеприведенные восточнороманские, южнославянские, а также и восточнославянские лексемы, имел исходное значение «обрубок дерева, чурбан, бревно», ср. *Jule log* «рождественское полено» у англичан, как остаток аналогичного обряда. С учетом закономерностей исторической фонетики албанского языка может быть реконструирована палеобалканская основа **kars-un-*, производная от и.-е. корня *(*s*)*ker-*, *(*s*)*kor-* «резать, отрубать» [31].

К восточным славянам обрядовый термин *kračun* проник в значениях «зимнего праздника солнцестояния», «рождества». Остатком древней семантики, связанной с культом умерших предков, вероятно, является зафиксированное на восточнославянской почве (в русских и белорусских говорах) значение «смерть».

В исследовании И. М. Снегирева, собравшего в начале XIX в. богатые этнографические материалы, отмечено, что рождественские святки обозначаются у «Карпато-Россов» под именем *Керечунь-вечер* и что у «Карпато-Россов» *Карачун* «причисляется к языческим божествам» [32]. Однако наличие термина *корочунъ* «зимний солнцеворот» в Новгородской летописи под 1143 годом говорит о том, что слово это относится не к поздним карпатизмам балканского происхождения, но пришло с тем же потоком южноевропейских культурных влияний, который занес в широкую восточнославянскую языковую среду термины *Коляда*, *Русалии* и др. Естественно встает вопрос о том, можно ли предполагать существование в Древней Руси самого ритуала сжигания обрубка древесного ствола, приуроченного к празднику зимнего солнцестояния? Прямых показаний этнографического характера не обнаруживается. Однако некоторые лингвистические факты дают возможность для реконструкции подобного ритуала, что с историко-типологической точки зрения представляется вполне оправданным.

---

[28] А. В. Десницкая, О некоторых вопросах балканистики..., стр. 43—46.

[29] См.: E. Schneeweis, Serbokroatische Volkskunde, I — Volksglaube und Volksbrauch, 1961, Berlin, стр. 114 и сл.; Ю. В. Попович, Молдавские новогодние праздники, Кишинев, 1974, стр. 116 и сл.; Rz. Zojzi, Gjurmët e nji kalendari primitiv në popullin tonë, «Bul. i Inst. të Shkencavet», Tiranë, 1949, 1, стр. 99 и сл.

[30] W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, Berlin, 1875, стр. 224 и сл.; см. также: «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. XIX — начало XX вв. Зимние праздники», М., 1973.

[31] Подробнее см.: А. В. Десницкая, О некоторых вопросах балканистики..., стр. 44 и сл.

[32] И. М. Снегирев, Русские простонародные праздники и суеверные обряды, I, М., 1837, стр. 139.

Основания для размышления продолжает давать наличие в русском языке лексемы * *чур* «граница, рубеж, межа; мера», выделяемой на основе слова *чересчу́р*, а также загадочное словечко *чур* в выражениях *чур меня*, *чур*, *чур чура́*, укр. *цу́р* «сгинь, убирайся!», белорусск. *цур тобе́*. Более ста лет назад А. Н. Афанасьев высказал мысль о том, что «в народных русских преданиях и заклятиях уцелело воспоминание о древнем мифическом существе Ч у р е»[33]. «Ч у р — это одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т. е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния. Белорусы до сих пор рассказывают, что у каждого хозяина есть свой Ч у р — бог, о б е р е г а ю щ и й г р а н и ц ы е г о п о з е м е л ь н ы х в л а д е н и й... Чур, по белорусскому преданию, оберегает поля и пашни, состоящие в определенной меже. В народных заклятиях доселе призывается имя Чура... Заклятия: „чур меня", „чур наше место свято!" произносятся при рассказах о злых духах, при совершении гаданий и волшебных чар... Глагол ч у р а т ь с я в областных говорах значит не только: „клясться Чуром", но и „очерчиваться" (в переносном смысле: удаляться, отстраняться от кого-нибудь); а слово ч у р получило значение проведенной черты (межи), как это очевидно из наречия ч е р е з - ч у р и пословицы „через ч у р и конь не ступит"; в тверской губ.: ч у р а̀ — стой! не трогай! Белорусское заклятие: „чур табе на язык!" (то же, что́ выражение: „типун тебе!") и малороссийское: „ц у р тобе, пек тобе!" состоят в призвании карающей силы огня на язык насмешника, ругателя, или на голову обидчика»[34].

Семантическая реконструкция, произведенная А. Н. Афанасьевым, в основном сохраняет свое значение. Но она может быть в настоящее время заново интерпретирована в свете этнографических данных, касающихся обрядности, связанной с праздником зимнего солнцеворота. С историко-фонетической точки зрения ничто не препятствует сближению явно обрядового в прошлом термина *чур* со словами *чу́рка*, *чура́к*, *чурба́н*, широко распространенными в русских говорах[35].

Если считать значение «чурка, полено, чурбан» исходным для обрядового термина *Чур* и затем осложнившимся значениями «древнее мифологическое божество, род; название домового пената, т. е. огня на очаге; название места, освященного чуром для рода и межи; название освященного права родовой собственности»[36], мы получаем пучок культовых значений, сближающихся со значениями балканизма *kračun*, взятыми неапостериорно (название христианского праздника), но в непосредственной связи с самим обрядовым действом.

При таком подходе существенно иное направление получат и этимологические поиски. Слово *чур* может быть, так же как и слова *чурка*, *чурбан*, возведено к одному из вариантов того же и.-е. корня *(*s*)*ker*- «резать, рубить».

Этим самым дается возможность реконструировать зимний календарный обряд сжигания обрубка древесного ствола также и для восточных славян. Пришедший с юго-запада балканский обрядовый термин *kračun* мог в какой-то степени включиться в уже существовавшую терминологию данного обряда. Характерна известная близость терминов *карачун* и *чур*

[33] А. Н. А ф а н а с ь е в, Поэтические воззрения славян на природу. Том второй, М., 1868, стр. 89.

[34] Там же, стр. 90—93.

[35] Эту связь устанавливает и А. Н. Афанасьев (стр. 90), правда с неудовлетворительной этимологической интерпретацией. Также И. Желтов, считавший, однако, *чурка* и др. производными от *чур* «межевой столб» (И. Ж е л т о в, Этимологические афоризмы, «Филологические записки», 4, Воронеж, 1876, стр. 371).

[36] Н. В. Г о р я е в, Сравнительный этимологический словарь русского языка, Тифлис, 1896, стр. 417.

в составе формул: *дать Корочун* «погубить» [37] и укр. *цур тобе, пек тобе*, белорусск. *чур табе на язык* [38].

Для изучения древнерусской обрядовой терминологии, этимологические и семантические связи которой протягиваются в юго-западном направлении, существенно важным является следующее обстоятельство: термины, принесенные из южной Европы, через Балканский п-ов, выступают перед нами не как изолированные, случайно попавшие лексические элементы иноязычного происхождения, но образуют, хотя и небольшой, но внутренне связанный семантический разряд. Это делает более убедительным объяснение каждого из них как элемента существовавшей некогда древнерусской системы обрядовой лексики. В формировании этой системы определенную роль играли юго-западные (балканские) влияния, следы которых выявляет этимология, а также семантические соответствия некоторых слов с сохранившимся или утерянным обрядовым значением.

[37] И. М. Снегирев, указ. соч., I, стр. 139.
[38] А. Н. Афанасьев, указ. соч., стр. 93.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

МУРЬЯНОВ М. Ф.

ВРЕМЯ (ПОНЯТИЕ И СЛОВО)

К 600-летию Лаврентьевской летописи

После того как лионский санскритолог Поль Реньо выступил со статьей «Идея времени. Происхождение главнейших связанных с нею выражений в индоевропейских языках» [1], а глава лейпцигской школы языковедов Карл Бругман — с брошюрой «О словах для *сегодня*, *вчера* и *завтра* в индогерманских языках» [2], широкомасштабных работ на эту тему в индоевропеистике не появлялось [3], наблюдения по семантике и этимологии отдельных слов ждут обобщения. Тема эта не может разрабатываться в отрыве от истории философии, равно как и историки философии должны считаться с лингвистическими фактами, ведь иногда одно слово концентрирует в себе итоги работы мысли, равноценные целому трактату, что в свое время дало Максу Мюллеру повод сказать, что в языке заключена палеонтология философии (a petrified philosophy).

Если для Канта идея времени была неизменным умственным каркасом, не имеющим никакой эволюционной истории, то именно филологи второй половины XIX в. разрушили это представление. За этим последовала созидательная работа — симпозиум «Эранос» на швейцарском курорте Аскона (1951), где обсуждено с участием видных ученых — среди них были М. Элиаде, К. Юнг, А. Пюэш, Л. Массиньон — своеобразие понимания времени в гностицизме, христианстве, исламе, иранской, индийской, китайской культурах [4], конференция по междисциплинарным аспектам времени, проведенная Нью-Йоркской Академией наук (1966) [5] и четыре конгресса Международного общества по изучению времени (1966, 1969, 1973, 1976).

Славистическая мысль нашла выражение в лаконичных справках лингвистических словарей и в развернутой концепции академика Д. С. Лихачева, которому принадлежит «наибольший вклад в рассмотрение проблемы времени в средневековой литературе» [6]. На этом фундаменте будет строиться дальнейшая работа языковедов-славистов, прежде всего — русистов.

---

[1] P. Regnaud, L'idée de temps, origine des principales expressions qui s'y rapportent dans les langues indo-européennes, «Revue philosophique», 19, Paris, 1885, стр. 280—287.

[2] K. Brugmann, Zu den Wörtern für *heute*, *gestern*, *morgen* in den indogermanischen Sprachen, Leipzig, 1917.

[3] Ср.: A. Sommerfelt, Note on the expression of time and space in Indo-European and in languages of archaic type, «Indian Linguistics», 19, Calcutta, 1958, стр. 134—136; W. Müller, Raum und Zeit in Sprachen und Kalendern Nordamerikas und Alteuropas, «Anthropos», 57, Freiburg, 1962, стр. 568—590.

[4] «Eranos-Jahrbuch», 20 — Mensch und Zeit, Zürich, 1952.

[5] «Interdisciplinary perspectives of time», New York, 1967.

[6] А. Я. Гуревич, Представления о времени в средневековой Европе, сб. «История и психология», М., 1971, стр. 189. Высокую оценку этой концепции см. и в кн.: А. Ф. Лосев, Античная философия истории, М., 1977, стр. 38—39.

Особенности древнерусского понимания времени Д. С. Лихачев охарактеризовал следующим образом: «Наиболее древние представления о времени, засвидетельствованные русским языком, не были в той мере эгоцентричны, как эгоцентричны наши современные представления. Сейчас мы представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то рядом с собой, как бы окружающим нас. В древней же Руси время казалось существующим независимо от нас. Летописцы говорили о „передних“ князьях — о князьях далекого прошлого. Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. „Задние“ события были событиями настоящего или будущего» [7].

Из того, что «время казалось существующим независимо от нас», логически вытекает, что субъективный феномен, в силу которого «время кажется то текущим медленно, то бегущим быстро, то катящимся ровной волной, то двигающимся скачкообразно, прерывисто, не был еще открыт в средние века» [8]. А. Я. Гуревич, правда, возразил, что «применимость понятий *объективный* и *субъективный* к мировосприятию людей этой эпохи — вообще вещь сомнительная», но если и пользоваться этой терминологией, то «субъективное восприятие времени не могло быть неизвестным в средневековой литературе хотя бы уже потому, что начиная с Августина осознавалось различие между *мыслимым* временем и *переживаемым* временем»; возражение подкреплено конкретными примерами субъективного времени по романам Кретьена де Труа и из Старшей Эдды, с замечанием, что человек Древней Руси, должно быть, не отличался в этом отношении от своих западноевропейских современников [9].

Во имя максимальной научной осторожности в подходе к неразработанной проблеме такие отличия допускать можно и нужно, бремя доказывания, onus probationis, лежит на том, кто их отрицает. В противном случае вся труднейшая совокупность вопросов о национальном своеобразии каждой культуры сразу перестанет существовать, в наших руках останется избитый набор эпитетов, характеризующий каждый народ совершенно одинаково как талантливый, свободолюбивый, музыкальный, работящий и т. д. и т. п. Приобщение славянского мира к христианской религии наложило на протяжении веков свой отпечаток на язык и мышление средневековых славян, их книжная ученость и культовые отправления основывались на единой для многих народов системе ценностей. Но и в этой сфере этнические различия оставались — различить новгородскую, испанскую, немецкую фрески одной эпохи и на один и тот же сюжет не так уж трудно. В отношении понимания времени Д. С. Лихачев определил древнерусское своеобразие как отсутствие предпочтения более древнего менее древнему — например, градацию литературных ценностей лишь по тому, какое государственное и церковное положение занимал автор сочинения [10].

Есть ли в фактическом материале что-либо такое, что не укладывалось бы в теоретические положения, одобренные А. Я. Гуревичем и А. Ф. Лосевым? По данным исторической лексикографии — хотя бы «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“» *переднее* могло обозначать у русских летописцев не только прошлое, но и будущее, а *заднее* — не только будущее, но и прошлое. Сформулированная Д. С. Лихачевым однозначная ориентация является специфической особенностью не древнерусского, а древнееврейского языка, где *qādām* — «то, что впереди», и «прошлое»,

---

[7] Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л., 1971, стр. 286.
[8] Там же, стр. 278.
[9] А. Я. Гуревич, указ. соч., стр. 188.
[10] Д. С. Лихачев, Развитие русской литературы X—XVII веков, Л., 1973, стр. 7.

а *'aḥărit* — «задняя сторона», и «будущее» [11]. Более того, ось времени может быть вертикальной. В латыни *superior* — «предыдущий», букв. «верхний», а *inferior* — «позднейший», букв. «нижний» [12]. Характеризуя язык болгарских переводов X—XI вв., А. М. Селищев отмечал, что они «не стояли на той высоте, на какой находились переводы первых устроителей славянской письменности. Нередки случаи, когда переводчик, не понимая как следует греческого текста, пользовался неподходящим вариантом в значении греческого слова. Например:... наречие ἄνωθεν в значении времени („издавна", „в давнее время") передано *съ горы*» [13]. В действительности болгарский переводчик стоял на высоте своей задачи. Македонское Зографское евангелие X/XI в. в этом же смысле упоминает разбойника Варавву, *иже въ горѣ* (т. е. «прежде») *оубыства створиша* Мк 15,7. В каноне Иосифа Гимнографа (IX в.) Флору и Лавру феотокион третьей песни называет Христа λόγος ὁ ἐπέκεινα πάσης ἀρχῆς. Это переводили то как *слово потомь всѧкого начала* (Минея XI/XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 125, л. 56об), то как *слово прѣвыше вьсѧкого начала* (Минея XII в. ГИМ, Синодальное собрание, № 168, л. 108). Вертикальная ось времени подразумевается в выражениях *глѫбокѫ* и *старостию* (Супрасльская рукопись 533, 18), *оутроу глоубокоу* (Пандекты Никона Черногорца, сл. 57), *нижнимъ врѣменемъ* (Рязанская кормчая, л. 360) и в системе предложного управления: *подъ вечеръ* (Синайский евхологий 44, 22). Описывая употребление предложно-падежных форм, К. И. Ходова констатирует, что «в некоторых работах подчеркивается первичность пространственных отношений... Так, Л. П. Якубинский указывал, что в „русском языке нет ни одного временнóго предлога, который по своему происхождению не был бы пространственным". В. В. Виноградов считает, „что временные значения совмещаются с пространственными и развиваются на их основе"». В других же работах подчеркивается не примат одного из этих значений, а их неразрывность и даже эквивалентность: «Так, В. Брендаль, возражая против объявления пространственных значений предлогов исходными, опирается на данные физики, согласно которым понятие пространства не может быть отделено от понятия времени и поэтому понятие времени не является вторичным по отношению к понятию пространства» [14]. Нам думается, что это является уязвимым местом в превосходном исследовании В. Брендаля по теории предлогов [15]. Некоторые физики высказывают мнение, что Евклид напрасно заставил человечество мыслить категориями пространства, результаты были бы существеннее, если бы в основе мышления находилась категория времени [16]. Проиграли бы живопись, архитектура, выиграли бы музыка и поэзия. Дело, конечно не в личности Евклида, а во всем строе греческого мышления. Аристотель сожалел, что время имеет свойство пожирать, что все стареет под напором времени и предается забвению, но ничто не становится новым и прекрасным под действием времени, но зато такие хорошие вещи как геометрические выкладки вообще не зависят от времени («Физика» IV). Платон считал время неполноценным отражением вечности, чуть ли не злом («Тимей»). «В основном ан-

---

[11] Th. B o m a n, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, Göttingen, 1965, стр. 128—129.

[12] Ср.: R. G l a s s e r, Oben-Unten-Orientierung in der sprachlichen Veranschaulichung der historischen Vergangenheit, ZfromPh, 78, 1962, стр. 32—58.

[13] А. М. С е л и щ е в, Старославянский язык, ч. I, М., 1951, стр. 31.

[14] К. И. Х о д о в а, Падежи с предлогами в старославянском языке, М., 1971, стр. 116.

[15] V. B r ø n d a l, Théorie des prépositions, Copenhague, 1950.

[16] Дж. У и т р о у, Естественная философия времени, М., 1964.

тичность действительно лишена чувства истории»[17]. Вместилищем для всего сущего являлось в сознании древнего грека пространство.

Но это не единственный возможный способ представлять себе мир и мыслить. В древнееврейском сознании этим вместилищем являлось время, что особенно поразительно на фоне того факта, что древнееврейский язык не имеет системы глагольных времен и даже не имеет слова, в точности соответствующего нашему абстрактному понятию *время*. «Хотя пространство и время выражаются в иврите одними и теми же наречиями и предлогами, в основе обоих представлений лежит обычно действие... В этих случаях наречия и предлоги являются, собственно, отглагольными существительными»[18].

Конечно, в дальнейшем имел место синтез обоих типов мышления, заметный уже в эллинистической культуре эпохи Нового завета, но для правильного понимания генезиса форм выражения времени старославянского языка нужно исходить из этих архаических донаучных реальностей, а не опираться вслед за В. Брендалем на идеи новейшей физики, какими бы правильными они ни были. Применительно к развитию индоевропейского мышления сейчас можно гипотетически представить, что слова, первоначально выражавшие пространственные, вещеподобные отношения мира осязаемого, на некотором этапе глоттогонического процесса были приспособлены для выражения временных отношений удивительного мира, существующего внутри человеческой головы, в ее памяти и предвидении — мира неуловимого как звучащая песня: в любое реальное мгновение ее нет, но тем не менее она есть, она чарует! Это уподобление пространственного временному «создает в разуме некое смешение — вербальное, которое приводит к одушевлению и персонификации времени, к его трансформации в фиктивную сущность (entité). Является ли это прогрессом в абстрагировании? Безусловно; можно даже сказать, что это был первый шаг к мифологической иллюзии»[19]. Добавим, что религия имеет возраст не меньший, чем биологический вид homo sapiens[20]. С гипотезой Реньо фактически совпало мнение Н. Я. Марра, полагавшего, что в древнейший период *небо* и *время* обозначались одним и тем же словом[21]. Конечно, эти события дописьменного периода останутся в области догадок[22], но реконструктивные методы сравнительного языкознания все же дали возможность некоторой экстраполяции: предполагается, что в системе глагольных форм преобразование видовой организации во временную началось еще на почве общеиндоевропейского языка[23].

Постепенно развилась способность не только осмысливать настоящее, но и помнить прошлое, вызывать в воображении его картины, фиксировать то, что некогда было, путем целенаправленной умственной деятельности, которая — подобно тому как рычаг позволяет человеку поднять тяжесть, во много раз превосходящую силу его мышц,— дает возможность поднять пласты прошедшего, во много раз превосходящие емкость личного опыта

---

[17] А. Ф. Лосев, История античной эстетики. Высокая классика, М., 1974, стр. 268.

[18] Th. Boman, указ. соч., стр. 130.

[19] P. Regnaud, L'origine des idées éclairée par la science du langage, Paris, 1904, стр. 17.

[20] С. А. Токарев, Религия в истории народов мира, М., 1976, стр. 29.

[21] Н. Я. Марр, Этно- и глоттогония Восточной Европы, М.— Л., 1935, стр. 403.

[22] R. W. Brockway, Can we discuss the origin of religion?, «Studies in Religion», 4, Toronto, 1974, стр. 278—283; М. Д. Ахундов, Генезис представлений о пространстве и времени, «Философские науки», 1976, 4.

[23] П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., 1959, стр. 173. Относительно неиндоевропейского материала см.: J. Assmann, Zeit und Ewigkeit im alten Ägypten, Heidelberg, 1975.

человека и продолжительность его индивидуального существования. Развился такой вкус к этим мыслительным операциям, что для известной категории людей они стали главным занятием. Общество относилось к этим занятиям и оценке их полезности со смешанным чувством, как это видно из интереснейших сопоставлений, проведенных Р. А. Будаговым — например, мыслители древней Индии обращение к прошлому могли рассматривать как неуважение к настоящему, сходная картина наблюдалась в древней Греции, а европейскому средневековью ход событий виделся как «порча» [24].

Воображение имеет способность вызвать в себе картины не только того, что было, но и того, что будет. Последнее настолько трудно, что не уходит далее малого числа лет, но всегда ценилось значительно выше, чем знания о прошлом, и составляло важнейшую сторону религиозных переживаний. В них будущее простиралось в бесконечность, тогда как прошедшее отсчитывалось от сравнительно недавнего момента сотворения мира из ничего.

К закату античности, когда существовали водяные часы и великолепная система календарных расчетов, когда проблема времени прошла через горнило философии, выделявшийся образованностью Августин признался: «Что мы упоминаем в разговорах более знакомое и близко привычное, нежели время? И непременно понимаем это слово, когда его произносим; понимаем также, когда слышим, что его говорят другие. Итак, что же такое время? Пока меня не спрашивают, я знаю; но как только я должен объяснить спрашивающему — я не знаю» («Исповедь» XI, 14). Ответ на этот вопрос дала наука XIX в. Английская шутка гласит:

Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн — и стало все, как раньше [25].

Что такое время, сейчас мы все-таки знаем, если физики и философы не сочтут это утверждение слишком смелым [26]. Но медиевисту очень трудно, зачастую просто невозможно отрешиться в исследовательских целях от правильных научных представлений, внедренных в современность школой, всем укладом жизни и мышления, и поставить себя в положение то средневекового монаха-начетчика, то его неграмотного современника, ошеломленного величавой красотой собора, наполненного звучанием литургии — пением о вечности, то матери, поющей колыбельную — бесхитростную, но о смысле и надеждах быстротекущего бытия.

Верно ли, что субъективный аспект времени «не был еще открыт в средние века», на Руси? Обратимся к «Слову о полку Игореве». В канун боя, после зловещих предзнаменований *длъго ночь мрькнетъ*, *заря свѣтъ запала*, *мъгла поля покрыла*. Почему *длъго*, если время «казалось существующим независимо от нас»? Зачем поэту — большому художнику, скупому на слова — говорить пустое, ничего не меняющее в восприятии события, если длительность события имеет только объективный характер? По объективным данным, все связанное с майскими ночами как раз не является долгим — и наоборот, средневековым поэтам, писавшим альбы (любовные «песни зари»), даже зимние ночи казались короткими.

В «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“» можно узнать, что «автору Слова время сумерек под 48—49° северной широты казалось длин-

[24] Р. А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 25—26.

[25] Эпиграмма Джона Сквайра, пер. С. Маршака. См.: С. Маршак, Собр. соч., 4, М., 1969, стр. 94.

[26] Ср.: Ю. Б. Молчанов, Четыре концепции времени в философии и физике. АДД, М., 1977; В. С. Барашенков, Пространство и время без материи?, ВФ, 1977, 9; D. Lewis, The paradoxes of time travel, «American philosophical quarterly», 13, Pittsburg, 1976, стр. 145—152.

нее того, которое для него было, вообще говоря, привычно, и стало быть, или автор не был уроженцем местности указанных, а значит вместе с тем и более северных широт, или же он был жителем горной местности, где ночь наступает быстрее, чем на равнине» [27]. Словарная статья к *дльго* уснащена цитатами из других средневековых текстов, долженствующими раскрыть тончайшие оттенки значения объясняемого места, например: «*А Ахматъ царевичь дотоль у царя долго не бывалъ*. Крым. дела II, 502 (1518 г.)» [28].

Все это превосходно, но решение интересующего нас вопроса находится на этот раз не там, куда ведет «Словарь-справочник». Ответ дают антропогенетика и психология. 30—40 тысяч лет назад появился homo sapiens, человек разумный. «С тех пор не наблюдалось никаких элементов биологического совершенствования человека ни по его мозгу, ни по другим особенностям» [29]. Ему были знакомы такие замедлители и ускорители переживаемого времени как тоска тяжелого предчувствия, боль, голод, веселье, энтузиазм; он знал весь диапазон меняющегося с возрастом отношения ко времени, мастерски описанный философским стихотворением Пушкина «Телега жизни» — от молодого нетерпения до того старческого чувства, когда время кажется текущим уж слишком быстро. Способность психики ставить ощущение скорости движения времени в зависимость не только от ума, но и от сердца является фундаментальным свойством человека любого этноса, любой расы, любой эпохи. Не беремся нарисовать, во что превратился бы духовный мир человека, если из него условно вычесть это свойство. Во всяком случае, такой человек представил бы несомненный интерес для психопатологов, исследующих явление распада личности [30], а язык такого человека не открыл бы никакой возможности для того, чтобы в слове, первоначально означавшем *жизненную силу* (понятие, не лишенное «эгоцентризма»), развилось значение временнóе — мы имеем в виду старославянское *вѣкъ* [31].

Конечно, жанровая природа древнерусской литературы такова, что возможности проявления субъективного чувства времени в ней значительно сужены по сравнению с западными литературами, на Руси нарочито не писалось ничего такого, что можно было бы поставить рядом с изречением любимца римской театральной аудитории Публилия Сирийца (I в. до н. э.): vita misero longa, felici brevis «жизнь кажется долгой несчастному, краткой счастливому», или со средневековыми немецкими стихами:

Einen tanz si do traten
Mit hochvertigem gesange:
Daz kurtze die wîle lange [32].

Они пустились петь и танцевать,
Что помогло им нудное время скоротать.

Пляски и песни в древнерусском обществе, как достоверно известно, были, но право на занятия литературой принадлежало исключительно

---

[27] «Словарь-справочник „Слова о Полку Игореве“», 3, Л., 1969, стр. 85.
[28] Там же, 2, Л., 1967, стр. 36.
[29] Н. П. Дубинин, Популяционная концепция и типологическое мышление в проблеме человека, ВФ, 1975, 10, стр. 81.
[30] Ср.: А. А. Меграбян, Деперсонализация, Ереван, 1962; K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, Berlin, 1965.
[31] B. O. Unbegaun, Un parallèle sémantique greco-slave, «Sybaris. Festschrift Hans Krahe», Wiesbaden, 1958; Е. Гавлова, Славянские термины *возраст* и *век* на фоне семантического развития этих названий в индоевропейских языках, «Этимология 1967», М., 1968.
[32] «Trübners Deutsches Wörterbuch», 4, Berlin, 1943, стр. 369.

тому сословию, которое считало их предосудительными. Его философия времени зиждилась на хорошем знании Библии и ее каноничных толкований [33], на апокрифической литературе [34] и на литургическом опыте, имевшем на русской почве черты национального своеобразия и особенно важном в силу того обстоятельства, что на Руси теология постигалась не на факультетах, а на слух по богослужению, которое было главным времяпровождением образованных и вменялось в регулярную обязанность для прочих. Принцип *делу время, потехе час* тогда формулировался как *пѣнию* (церковному) *врѣмѧ, молитвѣ часъ* («Златая цепь» XIV в.) [35].

Начнем с библеистики. Она учила, что бог создал время и сам находится вне его, оно для него не существует в том смысле, в каком его властно отмеряет для человека физический прибор — часы. *Единъ день предъ Господемъ Ако тысѧща летъ, и тысѧща летъ Ако день единъ* (2 Петр 3,8). Вместе с тем у бога есть абсолютная память, охватывающая все события прошлого и будущего. Нечестивый может быть забыт богом — это кара. Время движется по прямой, имеющей начало, цезуру (καιρός, момент жертвенной кончины Христа) и конец; перед временем и после него — вечность. Это понималось не так, будто сейчас есть только время; нет, пребывание во времени и в вечности суть два разные способа бытия, в разных мирах, которые сосуществуют как миры видимый и невидимый, упоминаемые в затверженном наизусть Символе веры; *вѣсе бо видимоѥ скоровръменьно ѥсть. ꙗко же оучить павьлъ... а невидима вѣчьна соуть* [36] (2 Кор 4,18). Граница между этими мирами проницаема. Вечность может вторгаться во временное, а человек, посещая в пророческом видении вечность, слышит и видит *въдѹсѣ* (Апк 4,2) то, что нельзя выразить ни на каком языке. Время не входит в сферу чудотворения [37], оно движется по предвечному определению. Средневековые авторы любили повторять: *Всѣмъ врѣмѧ, и врѣмѧ всѧкои вещи подъ небесемъ. Врѣмѧ раждати, и врѣмѧ оумирати, врѣмѧ садити, и врѣмѧ исторгати сажденное* (Еккл 3,1—2). Но как каждое новозаветное событие имело ветхозаветный прообраз, так и цезура момента смерти Иисуса Христа имела прообраз в остановке солнца и луны Иисусом Навином, *и не бысть день таковыи ниже прежде, ниже послѣди* (Нав 10, 14) [38]. Августин особо отметил, что тогда при остановленном светиле движение времени все же продолжалось, sol stabat, sed tempus ibat («Исповедь» XI, 23). Время в сознании отдель-

---

[33] Ср.: J. Barr, Biblical words for time, London, 1962; G. Delling, Die Weise, von der Zeit zu reden, im Liber antiquitatum Biblicarum, «Novum Testamentum», 13, Leiden, 1971.

[34] S. Pines, Eschatology and the concept of time in the Slavonic Book of Enoch, «Types of Redemption», ed. by R. J. Z. Werblowsky and C. J. Bleeker, Leiden, 1970.

[35] Данные картотеки Словаря XI—XIV вв. в Институте русского языка АН СССР (Москва).

[36] «Изборник 1076 г.», под ред. С. И. Коткова, М., 1965, стр. 496.

[37] Первый тропарь пятой песни канона Преображению в грузинской служебной Минее начала XI в. *предъ лицемъ Твоимъ часы оуклониша ся* является результатом смешения переводчиком ὄρος «гора» и ὥρα «час», см.: К. Кекелидзе, Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение, Тифлис, 1908, стр. 391—392.

[38] Напрашивается сравнение со тщетной мольбой Агамемнона перед Зевсом:

> Дай, чтобы солнце не скрылось и мрак не спустился на землю
> Прежде, чем в прах я не свергну Приамовых пышных чертогов
>
> («Илиада», II, 413—414).

Ср. также: M. Saintyres, Le miracle de Josué arrêtant le soleil et la méthode comparative, «Actes du Congrès International d'Histoire des religions», Paris, 1925. О субъективном времени в этом событии см.: J. Sawyer, Josua X, 12—14 and the Solar eclipse of 30 september 1131 B. C., «Palestine exploration quarterly», 104, London, 1972.

ного человека, т. е. время микрокосма, имеет ту же структуру, что и время макрокосма. Это субъективное время рождается, течет по прямой линии и будет иметь конец. Где-то посредине субъективного времени тоже находится цезура, καιρός — решающий момент, когда свободная воля человека определяет свое отношение к Истине, существующей не только тогда, когда отдельный человек ее для себя открывает, а вечно.

Прямолинейность движения времени не следует понимать так, будто прямолинейно само время. Оно мыслилось как нечто объемное, или лучше сказать — всеобъемлющее. В этом можно убедиться, рассмотрев идентичные фразы в евангельском описании двух моментов, появления на свет Иоанна Предтечи и рождения того, кому он был Предтечей — Иисуса Христа. В обоих событиях Зографский кодекс X/XI в. выразился о роженицах так: *ісплъниша сѧ дьнье родити еі* (Лк 1,57 = Лк 2,6). В современном русском языке так можно было бы сказать о любой матери, но далеко не случайно из множества деторождений, упоминаемых в Библии, только эти два отмечены *полнотой времени* [39] — понятием, которое французский филолог П. Ламарш сравнивает в данном тексте с моментом перевертывания песочных часов [40]. Сравнение, на наш взгляд, не лучшее из возможных — Библия такого прибора не знает, и, к тому же, воображение с неохотой рисует себе образ часов величиной с космос, наполненных сухим песком. Средневековому книжнику скорее мыслилось сравнение с наступившей живительной полноводностью [41] или, если употребить сказанное по другому поводу выражение Клоцова сборника, с тем, *како слънце вьселенѫѭ ісплънѣетъ* — τὴν οἰκουμένην πληροῖ [42].

Впрочем настаивать на каком-либо одном образе в данном случае невозможно, трудное слово πλήρωμα очень емко и имело смыслы явные и мистериальные, над ними ломали головы множество поколений толкователей [43] — и переводчиков, перед которыми стояла задача передать неизреченное, в которое они не все были посвящены. Мы знаем и того менее — что плерома находилась на востоке [44] и вместе с тем означала всеобъемлющую сферу трансцендентного, совершенный мир духа как источник и цель потенций творения (противоположностью плеромы уже у философов до Сократа была κένωμα — опустошенность, отсутствие божественного). Окончательное *исполнение времен* сформулировано евангелистом как эсхатологическое: *исполъни сѧ врѣмѧ·і приближи сѧ цсрствие бжие··каите сѧ* (Мк I, 15 — Мариинский кодекс X/XI в.).

Как видим, понимание времени, руководствуемое Библией, не могло быть ясным и общедоступным, здесь имелись свои тонкости. На лексику времени, продукт библейского семитского мышления [45], наложилась неидентичная ей эллинская система, результат пугал своей запутанностью

---

[39] Ср. также Гал 4,4: *Егда же приде исполненьѥ лѣтоу, посла сна свокго бъ* (Чудовская рукопись XIV в.) — Г. Воскресенский, Древнеславянский Апостол, 3—5, Сергиев Посад, 1908, стр. 203.

[40] P. Lamarche, La plénitude des temps, «Vocabulaire de théologie biblique», Paris, 1970.

[41] Например, в «Изборнике 1076 г.»: «*А зъ нако оуводъ рѣка·и рѣка моѧ миръ бысть··аште оучениѥ нако прорчьство излѣю·и оставлю а въ роды вѣчьныа*».

[42] «Slovník jazyka staroslověnského», 14, Praha, 1966, стр. 801.

[43] Ср. этюд «Corps, tête et plérôme dans les Epîtres de la captivité», в кн.: P. Benoit, Exégèse et théologie, 2, Paris, 1961, стр. 107—153.

[44] E. J. Dölger, Sol salutis, Münster i. W., 1925.

[45] Начало ее изучению положила диссертация: C. von Orelli, Die hebräischen Synonyma der Zeit und Ewigkeit, genetisch und sprachvergleichend dargestellt, Leipzig, 1871. См. теперь: A. Petitjean, Les conceptions vétérotestamentaires du temps. Acquisitions, crises et programme de la recherche, «Revue d'histoire et de philosophie religieuses», 56, Strasbourg, 1976.

самих отцов церкви [46]. Затем его понадобилось переложить на философски еще не обработанный язык славян, в котором на протяжении последующего тысячелетия выжившая лексика духовной культуры, оставаясь почти той же акустически, до неузнаваемости изменилась по смыслу. Воссоздать эту семантическую эволюцию сравнительно нетрудно в отношении слов, имеющих привязку к предметам материального мира, но далеко не всегда удается в отношении невесомого, ускользающего со скоростью мысли, порой вообще не имеющего названия. В психической, в частности — художественной, жизни есть и такое, и его немало. Не следует избегать преследования ускользающего, успех возможен. Покажем это на небольшом экскурсе в мир древнерусских летописцев.

Что значило для них название «Повести *временных* лет»? Действительно ли это повесть «минувших» лет [47], Erzählung der vergangenen Jahre, как вторят нам немецкие слависты [48]? Почему-то в солидной монографии о лексике «Повести временных лет» интересующее нас ключевое слово даже не упоминается [49], академический «Словарь русского языка XI—XVII вв.», тоже воздержался от интерпретации, ограничившись указанием на то, что здесь мы имеем «название летописного свода начала XII в.» [50]. И действительно ли акцентуация прилагательного в этом названии была такой, как в нынешнем литературном произношении, с ударением на последнем слоге, когда говорящий, если он говорит не машинально, сознает две противоположности — между вре́менным (непостоянным) и временны́м (темпоральным), а также между временны́м и пространственным. Но так ли мыслил летописец, не имевший ни малейшего понятия о нынешних терминах школьной физики, против которой мы, кстати сказать, в данном случае грешим тавтологией? Не вернее ли будет предположить, что летописцу была знакома только противоположность, подсказанная Апостолом: *видима бо врѣменьна, а невидима вѣчьна* (2 Кор 4,18) [51]? Если так, то «Повесть вре́менных лет» говорит своим названием, что она — повесть лет земной преходящей жизни, лет времени [52], а не вечности. Такое название как бы напоминает о том, что кроме вре́менных лет есть более существенная вечность, во имя которой в тексте летописи тщательно фиксируются закладки, строительство и освящения храмов — этих частиц неба на земле.

Если бы летописец подразумевал то, что он излагает повесть *минувших* лет, то ничто не мешало ему так и выразиться, это слово имелось в его активном словарном запасе, ср. *минѫвъши сѫботѣ* (Остромирово Евангелие — Мк 16,1), *временомъ миноувъшемъ* (Новгородская I летопись, 1204 г.) и т. д. Но для него летопись — не священная история, изложенная Библией, а гражданская история.

Обратимся к литургическим представлениям наших предков. Богослужение, совершаемое в храме, являлось для них актом вторжения

---

[46] Ученейший Ориген ссылался на члена раввинской Академии, сказавшего ему, что Писание подобно огромному дому с множеством покоев, перед каждым из них лежит ключ — но не тот, который подходит. Все ключи перепутаны, задача состоит в том, чтобы подобрать их правильно. См.: G. Scholem, Religiöse Autorität und Mystik, «Eranos-Jahrbuch», 26, Zürich, 1958, стр. 253—254; A. Dempf, Zeitlehren altchristlicher Philosophen, «Wissenschaft und Weltbild», 29, Wien, 1976.

[47] «Повесть временных лет», ч. 2, М.— Л., 1950, стр. 203—204.

[48] G. Stökl, Das Bild des Abendlandes in den altrussischen Chroniken, Köln—Opladen, 1965, стр. 12.

[49] А. С. Львов, Лексика «Повести временных лет», М., 1975.

[50] «Словарь русского языка XI—XVII вв.», 3, М., 1976, стр. 108.

[51] Г. Воскресенский, указ. соч., стр. 48—49.

[52] Ср. структурную аналогию сочетания единицы времени с определением *временный*: *въ чѣсе врѣменьнѣ* (Мариинское Евангелие — Лк 4, 5), in momento temporis.

вечности во временное, ср. ликующую песнь в конце Евхаристии: *видѣхомъ свѣтъ истины, приѧхомъ доуха небеснаго, обрѣтохомъ вѣроу истиньноу*. Литургия совершалась миллионы раз в тысячах храмов, это — длинная цепь вторжений вечности, которым предстоит совершаться до тех пор, пока существует хоть один канонично рукоположенный архиерей, т. е. получивший благодать по *непрерывной* преемственности от Тайной вечери (старообрядцы-беспоповцы по этой причине совершают богослужения без литургии, после того как вымерли их дониконианские архиереи). Время богослужения — это сакральное время, в отличие от всего остального, профанного времени. Сакральное время циклизовано по годовому календарному кругу, со сложной системой расчетов, обусловленных тем, что часть праздников имеет постоянную календарную дату, а другая часть подвижна. Из годовой циклизации происходит круговая модель движения времени, *лѣтъ коньскы текоущь кроугъ* [53]. Внутри литургии время движется прямолинейно, с варьированием расположения и сдвига его отрезков, по ходу действия философской драмы. Русской особенностью является осужденный Стоглавым собором (1551) обычай сокращать общую длительность литургии путем одновременного, параллельного совершения тех священнодействий, которые обычно должны следовать одно за другим. Осуждение этой практики явилось последствием того, что богослужение превращалось в нечто хаотическое, но сама возможность этого так называемого многоголосья представляет интерес для теории времени.

Действительно ли в средневековом русском сознании степень древности святыни или литературного произведения [54] не имела при прочих равных условиях значения? Да, напрестольное Евангелие не считалось плохим, если оно было новым. Во время ритуала ему кадили одинаково благоговейно — и если оно было закончено вчера, и если ему было четыреста лет. Рукописи не жалели превращать в палимпсесты, осыпающиеся фрески спокойно перештукатуривали.

Рукописи, иконы, храмы ветшали, но альтернатива между превращением монастырей в мертвые музеи и поддержанием эмоциональной атмосферы живого ритуала даже не возникала для средневекового человека, выжить должен был ритуал, одеваемый в вечно новые ризы. В меру умения, знаний и эволюционирующих вкусов их воспроизводили по традиционным образцам, рукописи старательно переписывали с обветшавших, хотя при этом родной диалект переписчика мог стихийно придать тексту новую окраску. Когда в Москве было организовано книгопечатание, для текстологической подготовки печатаемых книг были собраны со всей Руси рукописи не новейшие, а самые древние; остатки этой патриаршей коллекции, хранящиеся в ЦГАДА и Гос. Историческом музее, сейчас представляют собой лучшее в мире собрание славяно-русских рукописей старшего периода. В одно и то же время имели место и новые художественные веяния в иконописи, и пиетет к старым иконам, особенно если вокруг них поддерживались легенды, будто они происходят из Корсуни времен Владимира Святославича, а то и от евангелиста Луки. Зачем создавались эти легенды, если фактор времени не имел значения? В привязанности к седой старине русский консерватизм превосходил западный, где не было явлений, которые можно было бы поставить рядом с русским институтом старцев,

---

[53] «Успенский сборник XII—XIII вв.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971, стр. 320. Ср. в праздничной Минее XII в.: *многокроужьнок врѣмя рабомъ своимъ дароуи* (И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I, СПб., 1893, стр. 320).

[54] Обычно это было одно и то же. «Нам все еще *печатный лист кажется святым*. Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., XI, Л., 1949, стр. 167).

или со старообрядчеством (любопытен и феномен сохранения до наших дней глаголицы в литургической письменности балканских славян).

Древнерусская литература имела своих предков и была по основному назначению сакральной. Возраст литературного произведения не всегда и не во всем был безразличен, иногда он мог быть одной из оценочных категорий, ставящей особенно высоко то, что написано *въ исконьныихъ книгахъ очьскыихъ*. При каких условиях — неясно, проблема ждет своих исследователей.

Размышления о времени, причем на уровне философии, зарегистрированы историей в Северном Причерноморье задолго до возникновения древнерусского государства. Автор идеи счета лет «нашей эры» — скиф Дионисий Малый; готское арианство, существовавшее на Балканах даже в IX в. [55], а в Крыму — и далее того (готские девы «Слова о полку Игореве»!), основывало свои расхождения с вселенской церковью именно на проблеме времени, сам ересиарх Арий положил начало тому, что споры велись не только в узком кругу ученых богословов, но и на площадях и в портовых трактирах; рассуждения ариан о предсуществовании Христа были положены на музыку и пелись уличными хорами, оппоненты тоже возражали хоровым пением, причем это имело такой успех, что считается началом христианской гимнодии [56]. Какова степень участия предков славян в этих состязаниях, мы не знаем, но реальное доказательство того, что славяне этим интересовались, все же имеется — редчайший иконографический тип Христа Ветхого денми, изображающий второе лицо Троицы до его Рождества, засвидетельствован в славянской живописи, в том числе нередицкой фреской (1199) [57], но отсутствует на Западе [58].

В древнерусских служебных Минеях встречаются мысли о времени, относящиеся к противоарианской теме. Таковы обращение к Богородице: *въ времѧ безвременьнааго родила ѥси* [59], или к Христу: *безлѣтьнъ свѣтъ· ·въ лѣто съ нами ѧви сѧ· прѣсоущьныи* [60]. Ирмологий как жанр древнее служебных Миней, в нем находим формулировку, впоследствии изъятую синодом из-за чрезмерной прямолинейности: *Видите видите·ꙗко азъ ѥсмь богъ вашь· иже преже вѣкъ роженыи без матере· и отъ дѣвы послѣдь без моужа въплъщь сѧ* [61].

Представляет интерес выяснение субстрата, дохристианских воззрений, которые в текстах и иконографии не зафиксированы. Для этого существует единственный путь — рассмотрение семантики выражающих идею времени

---

[55] K. Gamber, Codices liturgici latini antiquiores, 1, Freiburg, 1968, стр. 113—121. Закономерна постановка вопроса о преемственности между паннонскими арианами IV—VI вв. и докирилломефодиевскими славянскими христианами: P. Ratkoš, Kristianizácia Vel'kej Moravy pred misiou Cyrila a Metoda, «Historický časopis», XIX, 1, Bratislava, 1971.

[56] M. Simonetti, La crisi ariana nel quarto secolo, Roma, 1975.

[57] В. К. Мясоедов, Н. П. Сычев, Фрески Спаса-Нередицы, Л., 1925, стр. 23.

[58] E. Lucchesi Palli, Christus-Sondertypen, «Lexikon der christlichen Ikonographie», hg. von E. Kirschbaum, 1, Freiburg, 1968, стр. 395.

[59] И. В. Ягич, Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг., СПб., 1886, стр. 36, 302, 489. Полагаем, что И. В. Ягич ошибочно дал словоделение в феотокионе на стр. 475: *Иже ѿ оца без- [врѣме]-врѣменьно рожьша сѧ*. Взятое им в квадратные скобки не является в действительности лишним, фраза правильно выражает догматическую мысль, что Христос пришел в земную временную жизнь, но существовал и до этого, без времени. Это же выражено несколько иначе в Минее ЦГАДА № 125 XI/XII в., л. 27 об.: *По врѣмени бывъшаго·ѿ оца без врѣмене въси⟨ѧ⟩ въшаго·бомти родила еси.*

[60] Минея ЦГАДА, фонд 381, № 125, л. 67.

[61] Глас 8, песнь 2: «Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente», hrs. von E. Koschmieder, 1, München, 1952, стр. 260.

праславянских слов, которыми пользовались первые переводчики христианских текстов на славянский язык. Рассмотрение служебных слов, обозначающих местонахождение наблюдателя «спереди» или «сзади» событий, принесет для понимания существа проблемы не больше пользы, чем если бы мы пытались сделать полезные для ориентации на карте выводы из того, что в выражении «на Руси» используется предлог *на*, а в выражении «в Древней Руси» — предлог *в*, причем поменять местами эти предлоги почему-то невозможно. Серьезный подход к делу показали, например, А. С. Львов, Х. С. Станг и Е. М. Верещагин, проанализировав значения слов *годъ* — *часъ* [62].

Древнейший памятник славянской письменности — Киевские глаголические листки, считающиеся некоторыми палеославистами даже автографом Кирилла и Мефодия [63]. Особенностью их является то, что они переведены не с греческого языка, как это было почти со всеми имеющимися древнейшими славянскими рукописями, а с латыни, причем анализ переводческой техники выяснил, что латынь переводчик знал слабо: схватывая в тексте оригинала смысл ключевых слов, он находил для них славянские соответствия и из этих последних конструировал фразу, не очень вглядываясь в латинский синтаксис, с которым справиться был не в состоянии [64]. Конечно, так нельзя было бы переводить связный текст, но Киевские листки им и не являются, это так называемые формуляры месс, по несколько коротких, автономных молитв в каждом. Плохой переводчик был все же знающим литургистом, все фактически сочиненные им молитвы в этом отношении вполне грамотны и порой даже углубляют мысль оригинала. Для наших целей представляют интерес три молитвы:

№ 7 Съмѣрьно тѧ молимъ вьсемогы бже· молитвамі свѧтъихъ твоїхъ· ·ї тъи самъ бжді·ї даръ твоі въселі въ ньи· ї врѣмѧ наше въ правьдѫ поставі.

№ 10 Небесьскъиѧ твоѧ сїлъи просімъ ї молімъ·да съ въишьнімі твоімі· достоінъи сътворіші нъи: ї вѣчьнаѣ твоѣ їхъже жѧдаемъ подась намъ мїлостївьно.

№ 27 Въсѫдьнаѣ молітва нашѣ оутврьді нъи гі вѣчьнъимі твоімі: ї подазь намъ съпасение твое [65].

Академик И. В. Ягич, превосходный латинист, дал для этого текста следующий обратный перевод:

№ 7 Supplices te rogamus, omnipotens Deus, supplicationibus sanctorum tuorum et tu ipse adsis, et munus tuum colloces in nobis et tempus nostrum iuste disponas.

№ 10 Caelestes tuas virtutes, quaesumus et rogamus, ut supernis tuis dignos nos efficias atque aeterna tua, quae appetimus, tribuas nobis clementer.

---

[62] А. С. Львов, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, М., 1966, стр. 259—266; Ch. S. Stang, Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Oslo, 1972, стр. 23—24; Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян, М., 1972, стр. 32—34.

[63] H. Friedrich, Die Ankunft Konstantins und Methods in Rom, «Sodalicium Slavizantium Hamburgense in honorem Dietrich Gerhardt», Amsterdam, 1971, стр. 146, 160.

[64] M. Leumann, Die altkirchenslavischen Kiewer Blätter und ihr lateinisches Original, «Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift Albert Debrunner», Bern, 1954. Вероятно, поэтому А. Мейе придавал Киевским листкам «второстепенное значение»: А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 9.

[65] L. C. Mohlberg, Il messale glagolitico di Kiew, «Atti della Pontificia Accademia di Archeologia», Ser. III, Memorie, 2, Roma, 1928, стр. 311—315.

№ 27 Preces nostrae communionis muniant nos, domine, aeternis tuis et tribuat nobis salutare tuum [66].

На этой основе подыскались канонические тексты в реальных латинских сакраментариях:

№ 7 Supplices te rogamus omnipotens deus, ut interuenientibus sanctis tuis et tua in nobis dona multiplices et tempora nostra disponas.

№ 10 Maiestatem tuam suppliciter deprecantes, ut opem tuam petentibus dignanter impendas et desiderantibus benignus tribuas profutura.

№ 27 Cottidiani domine quaesumus munere sacramenti perpetuae nobis tribuas salutis augmentum [67].

Таким образом, в первом же славянском тексте есть и *врѣмѧ*, и *вѣчьноѣ*, необходимый для выражения этих понятий материал в праславянском языке нашелся. Но что он собой представлял до своего письменного применения, из каких семантических ассоциативных связей развился?

А. Мейе подвел итог этимологиям первого из этих слов: «*врѣмѧ* часто объясняют как восходящее к **wert-men* путь, дорога, поворот; ср. *въртѣти*, но возможны и другие объяснения» [68]. При этом соединение понятий «дороги» и «вращения» происходит через посредство понятия «колеса», ср. в Изборнике 1076 г.: *Ненавиди настоꙗштѧꙗ сеꙗ жизни·видиши бо ю акы коло валѧще сѧ*. Если так, то выясняется terminus post quem для возникновения такого хода мысли в словообразовательном процессе: середина IV тысячелетия до н. э., величайшее изобретение человечества — колесо, не имеющее себе равных по простоте, полезности и не подсказанное формами природы. Круговая модель движения времени, соответствующая характеру видимого движения небесных светил (возможно, что вертикальная ориентация в выражениях типа *нижнимъ врѣменемъ* о том и говорит, что клонящееся к закату солнце опустилось ниже) и хорошо известная из греческой философии, нашла единственное в своем роде выражение в космологических мистификациях Кирика Новгородца, писавшего в своем трактате «Учение имже ведати человеку числа всех лет» (1136) о циклическом «обновлении» неба, земли и воды, с точным указанием сроков этого обновления: небо — через 80 лет, земля — через 40 лет, море — через 60 лет, вóды (вероятно, небесные, выпадающие дождем) — через 70 лет [69].

По другой этимологии, которой — к сожалению, без аргументов — придерживается Ю. В. Откупщиков, *врѣмѧ* < *врѣти* «кипеть, бурлить» [70] (о водной стихии). Отметим, что примерно в той области Италии, откуда происходил латинский первоисточник Киевских листков, лат. *tempus* развилось в фриульское *timp* «время; шторм» [71]. Как и в «сухопутном»

[66] Там же.

[67] K. Gamber, Die Kiewer Blätter in sakramentargeschichtlicher Sicht — «Cyrillo-Methodiana», Köln—Graz, 1964, стр. 368—369. № 7 впервые встречается в древнейшем латинском сакраментарии конца VI — начала VII в., написанном в Вероне или Равенне («Sacramentarium Veronense», hg. von L. C. Mohlberg, Roma, 1956, стр. 97, № 766) и в очень немногих из позднейших рукописей; см.: P. Siffrin, Konkordanztabellen zu den römischen Sakramentarien, I. Sacramentarium Veronense, Roma, 1958, стр. 67, № 766.

[68] А. Мейе, указ. соч., М., 1951, стр. 113. Такой этимологии придерживаются также: M. Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 19. Lfg., Heidelberg, 1967, стр. 156—157; P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 3, Zagreb, 1973, стр. 626. Ср.: R. Jakobson, Tempus ← rotatio → → adulterium, «Mélanges M. Cohen», La Haye — Paris, 1970.

[69] М. Ф. Мурьянов, О космологии Кирика Новгородца, «Вопросы истории астрономии», 3, М., 1974, стр. 12—17.

[70] Ю. В. Откупщиков, Из истории индоевропейского словообразования, Л., 1967, стр. 197.

[71] W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1968, стр. 714.

варианте этимологии, здесь тоже наличествует признак вращательного движения. По реконструктивным соображениям Л. В. Куркиной, **vьrǫt-* «ключ, источник» оформилось на южнославянской территории [72]. Насколько образ водного потока органичен для славянских представлений о времени, можно видеть по тому, что если герм. *hwīla* (родственное с лат. *quies* «покой, тишина») имеет значение чисто временнóе (ср. нем. *Weile*), то на славянской почве из этого же корня развились два значения, представленные в укр. *хвилина* «минута» и *хвиля* «волна». Эта же символика выразила плерому души народного поэта в загадочном стихотворении, в пояснение которого литературоведение еще не проронило ни звука:

Источник страсти есть во мне
  Великий и чудесный;
Песок серебряный на дне,
  Поверхность — лик небесный;
Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
  И небо над водами
  Одето облаками.

(Лермонтов, «Поток»)

Выражение *вѣчьноѣ твоѣ*, с субстантивацией прилагательного и смысловым оттенком недосказанности, не получило дальнейшего применения в языке славянской литургии, словотворческий эксперимент переводчика Киевских листков не удался. В литургической латыни предложенное И. В. Ягичем соответствие *aeterna tua* тоже не отыскивается; отмечено, что в № 10 произошло недоразумение, переводчик принял *profutura* за *futura* [73] — словоделения в его оригинале, конечно, не было, но результат работы переводчика сообразовался с языковым чутьем тех, кто Киевскими листками пользовался в их прямом назначении — носители языка не справлялись, что стояло в оригинале, а понимали славянский текст сам по себе.

Мысль о человеческой причастности к вечному, выраженная в такой форме, может говорить своей недосказанностью, что лексика философски сырого языка не вполне поддавалась тому, чтобы выработать из нее строгую дефиницию. Несомненно одно: значение *вѣчьного* в IX в. было не только темпоральным, еще ряд столетий спустя в этом слове наблюдалась способность выражать значения, относящиеся к семантическому полю *жизненной силы*, как это показал Б. Унбегаун. Это не случайные совпадения в одной лексеме двух далеких друг от друга значений. Архаическое мышление оба значения считало близкими, это открытие П. Реньо подтвердил Э. Бенвенист на материале древних индоевропейских языков [74]. Еще в середине XIX в. идеолог славянофилов А. С. Хомяков находил, что время есть сила в ее развитии, пространство — сила в ее сочетаниях; приверженцы взгляда на понятие силы как базис понятия времени есть и среди здравствующих философов, причем не читавших Хомякова [75]. Здесь не место развер-

[72] Л. В. Куркина, Изоглоссные связи южнославянской лексики, «Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев», М., 1976, стр. 153.

[73] M. Leumann, указ. соч., стр. 299.

[74] E. Benveniste, Expression indo-européenne de l'«éternité», BSLP, 38, 1937. Добавим кондак Усекновения главы Иоанна Предтечи из Минеи ЦГАДА № 125, л. 103: *да плачеть хбо иродьѧ безаконьно оубиицство испрошьши не единое бо бжиѧ живааго вѣка възлуби нъ льстьнаагo врѣмене* (οὐ ζῶντα αἰῶνα ἠγάπησεν, ἀλλ' ἐπίπλαστον πρόσκαιρον).

[75] C. A. Conly, The basis of time, «Philosophy and phenomenological research», 36, 1, Buffalo, 1975, стр. 82—93.

тывать критику этого представления по существу, важно то, что оно есть, а в древнюю эпоху было влиятельным, оказывало воздействие на словотворческий процесс, на выбор слов при становлении терминов отвлеченного мышления.

После того как Коперник открыл глаза человечеству на действие главного часового механизма природы и всем стало ясно, что выражения *восход солнца*, *закат солнца* совершенно не соответствуют истинному положению вещей, ни один язык мира не предложил иных, правильных слов для обозначения этих моментов суточного цикла. Старые слова продолжают жить, это тот случай, о котором хорошо сказал Пушкин: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

НЕБИЕРИДЗЕ Г. С.

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ ФОНОЛОГИЯ И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К КЛАССИЧЕСКИМ ФОНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕОРИЯМ

На данном этапе развития генеративной фонологии остро противопоставляются друг другу трансформационная генеративная фонология (Transformational generative phonology) и естественная генеративная фонология (Natural generative phonology). Основоположниками трансформационной генеративной фонологии (ТГФ), как известно, являются М. Халле, Н. Хомский, П. Постал и др. [1]. Естественная генеративная фонология (ЕГФ) возникла сравнительно недавно в США как реакция на трансформационную генеративную фонологию с целью преодоления фундаментальных недостатков, свойственных этой последней [2].

В настоящей статье мы рассмотрим только трансформационную генеративную фонологию и ее отношение к классическим фонологическим теориям [3].

Фонологический компонент трансформационной грамматики состоит из двух частей — морфонологии (системная фонемика) и фонетики (системная фонетика). Фонологический компонент рассматривается как кибернетическое устройство, на вход которого поступают поверхностные синтаксические структуры, представленные в морфонологической записи. При помощи правил преобразования морфонологическая запись трансформируется в фонетическую запись и на выходе устройства выдается обычная словарная форма, отраженная в узкой фонетической транскрипции. Поверхностная структура, представленная в морфонологической записи, называется исходной формой (underlying form). Так, например, слова *мог ли, мог бы, жечь ли, жечь бы* в русском М. Халле представляет на трех уровнях — морфонологии, таксономической фонологии и фонетики:

I	II	III
mók l, i	mók l, i	mók l, i
mók bt	móg bt	móg bt
žéč l, i	žéč l, i	žéč l, i
žéč bt	žéč bt	žéj bt

[1] М. Халле, Фонологическая система русского языка. Лингвистико-акустическое исследование, «Новое в лингвистике», II, М., 1962; N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York, 1968; P. Postal, Aspects of phonological theory, New York, 1968.

[2] Th. Vennemann, Natural generative phonology, Missuri, 1971; J. Hooper, Aspects of natural generative phonology, Los Angeles, 1974; B. Darden, Introduction, «Natural phonology. Papers from the parasession on natural phonology», Chicago, 1974, стр. V—X.

[3] Более подробно эти вопросы рассматриваются в нашей докторской диссертации. См.: Г. С. Небиеридзе, Генеративно-фонологическая модель грузинского литературного языка и принципы ее построения, Тбилиси, 1974, стр. 118—197 (на груз. яз.).

В первой колонке слова представлены на морфонологическом уровне, во второй — на фонологическом, а в третьей — на фонетическом уровне. Чтобы получить фонетическое представление (колонка III) от морфонологического представления (колонка I), достаточно одного правила:

(1.1) Глухие шумные → звонкие шумные в контексте:
— звонкие шумные.

Это общее правило преобразует {mók bṭ} в [móg bṭ], а {žéč bṭ} в [žej̆ bṭ]. Если морфонологическое представление (колонка I) мы сначала преобразуем в фонологическое (колонка II), а затем в фонетическое (колонка III), то указанное общее правило необходимо расщепить на два специальных правила:

(1.2) Глухие шумные за исключением /c/, /č/, /x/, которые не имеют звонких коррелятов, → звонкие шумные в контексте: — звонкие шумные.

(1.3) /c/, /č/, /x/ → /j/, /j̆/, /ɣ/ в контексте: — звонкие шумные.

Однако в расщеплении правила (1.1) нет никакой необходимости, так как фонетическое представление можно непосредственно получить от морфонологического представления. Соображения элементарной простоты, по мнению М. Халле, говорят за то, что фонологическое представление является излишним и ему не должно быть места в серьезных лингвистических описаниях. Поэтому трансформационная грамматика аннулирует уровень таксономической фонологии и в качестве релевантных уровней рассматривает только морфонологический и фонетический уровни [4].

Несмотря на то, что по вопросам трансформационной генеративной фонологии имеется обширная критическая литература [5], статус фонологии в порождающей грамматике остается неопределенным. Это обстоятельство вызвано тем, что приведенный пример М. Халле никем серьезно не опровергается. Между тем этому примеру, выражающему всю квинтэссенцию трансформационной генеративной фонологии, сторонники Н. Хомского и М. Халле придают первостепенное значение.

Основной единицей морфонологии, как известно, является морфонема, а фонологии — фонема. М. Халле, игнорируя фонологию, игнорирует и понятие фонемы, заменяя ее понятием морфонемы. Морфонему, в которой идентифицированы только фонологически релевантные признаки, он называет не полностью идентифицируемой морфонемой [6]. По словам М. Халле, не полностью идентифицируемая морфонема является аналогом архифонемы Н. С. Трубецкого [7]. Так, например, сегмент [k] в слове [mók] является не полностью идентифицируемой морфонемой, т. е. архифонемой, поскольку в ней не идентифицируется признак (— звонкость). Известно, что архифонему Н. С. Трубецкой определяет как «совокупность смыслоразличительных признаков, общих для двух фонем» [8]. Так, когда в конце слова в русском языке нейтрализуется оппозиция *г* — *к*, то в позиции

---

[4] М. Халле, указ. соч., стр. 310—314.

[5] G. Hammarström, The problem of nonsense linguistics, Uppsala, 1971; Ch. F. Hockett, The state of the art, The Hague — Paris, 1968; G. Sampson, On the need for a phonological base, «Language», 46, 3, 1970; J. Vachek, On some basic principles of «classical» phonology, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», Berlin, 1964, 17, 5.

[6] М. Халле, указ. соч., стр. 325.

[7] Там же, стр. 328.

[8] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 87.

нейтрализации выступает глухой велярный смычный [k]. Однако это [k] является не архифонемой, а представителем архифонемы. Между архифонемой и представителем архифонемы в теории Н. С. Трубецкого имеется принципиальная разница, так как архифонема представляет собой фонологическое понятие, а представитель архифонемы — фонетическое понятие. Архифонема | k | в конце слова в русском языке не является глухой, поскольку в этой позиции [k] не входит в оппозицию с [g]. В противоположность этому представитель архифонемы [k] является глухим шумным, но глухость для него не является релевантным признаком из-за отсутствия в этой позиции звонкого /g/.

Итак, архифонема представляет собой фонологическое понятие, а представитель архифонемы — фонетическое понятие. М. Халле не считается с этим фундаментальным различием между архифонемой и представителем архифонемы и смешивает друг с другом архифонему и представитель архифонемы. По его мнению, [k] в слове [mók] представляет собой морфонему, т. е. архифонему |K|, в которой он идентифицирует признак (— звонкость), т. е. глухость и на этой основе формулирует правило (1.1). Возникает вопрос: если [k] в слове [mók] представляет собой архифонему |K|, то как же можно рассматривать ее как незвонкий шумный согласный? Поскольку в исходе слова в русском языке в результате нейтрализации оппозиции глухих и звонких шумных представлены только глухие шумные, постольку признак (— звонкость), свойственный сегменту [k] в слове [mók] представляет собой иррелевантный признак и поэтому указанный признак нельзя идентифицировать в архифонеме |K|. Ведь архифонема состоит только из релевантных признаков, общих для двух фонем. Несмотря на это, М. Халле признак (— звонкость) идентифицирует в архифонеме |K| и тем самым на морфонологическом уровне он фактически оперирует не архифонемами, а представителями архифонем, т. е. смешивает друг с другом фонологический и фонетический уровни, так как архифонема относится к уровню фонологии, а представитель архифонемы — к уровню фонетики.

Таким образом, сегмент [k] в слове [mók] М. Халле фактически рассматривается не как архифонема нейтрализуемой *г — к* оппозиции, а как представитель архифонемы, и поэтому колонка I, которую М. Халле рассматривает как морфонологическую репрезентацию, не что иное, как фонетическая репрезентация, и, следовательно, правило (1.1) преобразует не морфонологическую транскрипцию в фонетическую, а всего лишь одну фонетическую транскрипцию заменяет другой фонетической транскрипцией. Нам думается поэтому, что рассмотренный пример, ссылка на который является почти общим местом в литературе по трансформационной порождающей фонологии, не в состоянии опровергнуть фонологический уровень.

В свете всего вышесказанного можно заключить, что трансформационная порождающая фонология смешивает друг с другом морфонологию и фонетику, точнее она ограничивается только фонетикой, игнорируя не только фонологию, но и даже морфонологию. Поэтому фонологический компонент трансформационной грамматики, на наш взгляд, состоит не из морфонологии и фонетики, а только из фонетики.

Более того, Н. Хомский и П. Постал подвергают жестокой критике основные принципы классических фонологических теорий, разработанные в структурной лингвистике. Поскольку классические фонологические теории занимались вопросами сегментации и классификации, постольку они трактуются Н. Хомским как таксономическая фонология. Н. Хомский стремится обнаружить в таксономической фонологии фундаментальные противоречия.

Таксономическая фонология, по мнению Н. Хомского, призвана удовлетворить следующим условиям [9]: (1) линейность, (2) инвариантность, (3) взаимнооднозначность, (4) локальная определимость.

Условие линейности означает, что если фонема А предшествует фонеме В, то и аллофоны А должны предшествовать аллофонам В [10]. Условие инвариантности означает, что релевантные признаки, которые составляют данную фонему, должны быть налицо и в соответствующем фонетическом представлении [11]. Условие взаимнооднозначности требует, чтобы каждая последовательность фон была представлена одной-единственной последовательностью фонем и чтобы каждая последовательность фонем представляла одну-единственную последовательность фон [12]. Из условия взаимнооднозначности выводится условие локальной определимости, поскольку взаимнооднозначность — это такое соответствие, при котором фонологическое представление получается с привлечением «чисто фонетических» соображений или даже соображений, касающихся «соседних звуков» [13]. Несмотря на то, что эти условия общепризнаны, Н. Хомский считает их непригодными и стремится доказать это на конкретных примерах.

Чтобы доказать непригодность условия линейности, Н. Хомский рассматривает правило Н. С. Трубецкого, гласящее, что если фона А фонетически сходна с последовательностью фон ВС и А — ВС находятся в отношении свободного варьирования или дополнительной дистрибуции, а ВС является реализацией последовательности фонем PQ, то фона А является реализацией PQ [14]. Так, например, в русском языке действует следующее правило:

(I) O → Ọ в контексте — l
(II) l → Ø в контексте: гласный — носовой согласный

Поэтому /solncă/ фонетически реализуется как [sọncə]. Однако нет никакой необходимости выделять фонему /Ọ/, которая противопоставлялась бы фонеме /O/. Такой необходимости нет, потому что [Ọ] рассматривается Н. С. Трубецким как реализация последовательности фонем /ol/.

Введение этого правила Н. С. Трубецким, по мнению Н. Хомского, объясняет нарушение условия линейности. Однако это правило введено ad hoc и, кроме того, его буквальное применение может привести только к абсурду [15]. Следует тут же отметить, что указанное правило Н. С. Трубецкого не является правилом ad hoc. Оно не что иное, как третье правило Н. С. Трубецкого, основанное на принципах дополнительной дистрибуции и фонетического сходства, но апеллирующее к бифонематическим единицам. Чтобы показать абсурдность указанного правила Н. С. Трубецкого, Н. Хомский приводит такие примеры. В английском языке фоны [ny — ṇ], [yй — y], по мнению Н. Хомского, являются фонетически сходными и находятся в отношении дополнительной дистрибуции, но было бы абсурдно представить на фонологическом уровне /kitṇ/ (*kitten* «котенок») как /kitny/, а/yat/ (*yacht* «яхта») — как /yйat/.

Во многих американских диалектах [e] в *get* «получать» находится в отношении дополнительной дистрибуции с [ɛr] в *berry* «ягода», а [ɛr] является реализацией /er/. Исходя из этого, [e] можно рассматривать как

---

[9] Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 533.
[10] Там же, стр. 533.
[11] Там же, стр. 534.
[12] Там же, стр. 537.
[13] Там же, стр. 537—538.
[14] Там же, стр. 540.
[15] Там же, стр. 541.

реализацию /er/ и поэтому *get* представить на фонологическом уровне как /gert/ [16]. /kitny/, /yŭat/, /gert/ фонологические транскрипции Н. Хомскому представляются абсурдными. Однако они абсурдны потому, что Н. Хомский строго не соблюдает принцип фонетического сходства. На наш взгляд, [ṇ — ny], [y — yŭ], [e — εr] в английском не являются фонетически сходными, поскольку общие знаменатели этих пар, а именно *n*, *y*, *e* встречаются и в других парах, например (*ṇ — no*), (*y — ye*), (*e — εn*) [17]. Этого нельзя сказать относительно пары [ǫ — ol] в русском. Поскольку она представляет собой единственную пару, постольку невозможно найти такой другой пары звуков, общим знаменателем в которой было бы [ǫ]. Поэтому [ṇ], [y], [e] нельзя рассматривать в английском как реализации сочетаний /ny/, /yŭ/, /er/ и, следовательно, *kitten*, *yacht*, *get* на фонологическом уровне должны быть представлены как /kitṇ/, /yat/, /get/. Такое представление указанных слов на фонологическом уровне не нарушает условия линейности. Это условие нарушается в транскрипциях /kitny/, /yŭat/, /gert/, так как на фонологическом уровне постулируются такие фонемы, которые не имеют никакой реализации на фонетическом уровне. Однако /kitny/, /yŭat/, /gert/ не являются правильными фонологическими транскрипциями слов *kitten*, *yacht*, *get* и поэтому о нарушении условия линейности в этих случаях не может быть и речи.

Следующий пример, нарушающий условие линейности, таков. Слова *writer* «писатель» и *rider* «всадник» рассматриваются Н. Хомским на трех уровнях:

(I)	*rayt*#*r*	*rayd*#*r*
(II)	*rayt*#*r*	*ra˙yd*#*r*
(III)	*rayDir*	*ra˙yDir*

Строка (I) представляет собой фонологический уровень, а строка (III) фонетический уровень. Строка (II) рассматривается Н. Хомским как промежуточное звено между фонологией и фонетикой. На фонологическом уровне эти слова различаются своими четвертыми сегментами (*t — d*), а на фонетическом уровне — своими вторыми сегментами (*a — a˙*) и тем самым, по мнению Н. Хомского, нарушается условие линейности [18].

Легко заметить, что с точки зрения таксономической фонологии [rayDir] и [ra˙yDir] на фонологическом уровне не могут быть представлены как /rayt#r/, /rayd#r/, и это потому, что сегменты [a — a˙] находятся в отношении контрастной дистрибуции и, следовательно, их надо рассматривать в качестве двух разных фонем. Однако Н. Хомский не считается с этим основным требованием таксономической фонологии и представляет сегменты [a — a˙] на фонологическом уровне как одну фонему /a/, что, на наш взгляд, является нарушением приемов таксономической фонологии. С другой стороны, Н. Хомский один и тот же сегмент [D] представляет на фонологическом уровне в качестве двух различных фонологических единиц (/t/ — /d/), что также является нарушением условий таксономической фонологии, поскольку с ее точки зрения один и тот же звуковой сегмент в одной и той же позиции должен быть представлен на фонологическом уровне как одна и та же фонологическая единица. Таким образом, слова *writer*, *rider* на фонологическом уровне должны быть представлены как /rayD#r/ и /ra˙yD#r/, а на фонетическом уровне как [rayDir] и [ra˙yDir]. При такой интерпретации эти слова различаются только своими вторыми

---

[16] Там же, стр. 541.

[17] Совокупность общих признаков, свойственных фонетически сходным звукам, не должна повториться в другом звуке (см.: Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 40).

[18] Н. Хомский, указ. соч., стр. 538.

сегментами как на фонологическом, так и на фонетическом уровне, и поэтому они не могут нарушить условие линейности.

По мнению Н. Хомского, в случаях, рассмотренных выше, нарушается не только условие линейности, но и условие инвариантности, так как логическим следствием нарушения условий линейности является нарушение условия инвариантности. Поскольку эти примеры не нарушают условия линейности, они не могут нарушить и условие инвариантности.

Условие инвариантности, по мнению Н. Хомского, нарушается в случаях взаимоналожения (overlapping) фон. В диалекте английского языка, отмечает Н. Хомский, [D] представляет собой аллофон фонемы /r/ в слове *throw* «бросать» и аллофон фонемы /t/ в слове *Betty*, где оно контрастирует с [r] в слове *berry* «ягода». В соответствии с принципом инвариантности, по мнению автора, мы должны отнести [D] в слове *throw* к фонеме /t/. Это, однако, невозможно, так как такая интерпретация, по словам Н. Хомского, противоречит не только интуиции носителей языка, но и другим разумным правилам дистрибуции согласных. Поэтому остается заключить, что в *Betty* мы имеем фонему /t/, а в *throw* — фонему /r/ и обе эти фонемы реализуются как [D]. Иными словами, налицо взаимоналожение фон, которое и нарушает условие инвариантности, поскольку если /t/ и /r/ различаются на фонологическом уровне, то они должны различаться и на фонетическом уровне [19].

Имея такую модель дистрибуции звуковых сегментов, каждый, кто знаком с элементарными требованиями таксономической фонологии, отнесет [D] в словах *throw* и *Betty* к фонеме /D/, так как налицо один и тот же звуковой сегмент [D], который контрастирует с сегментом [ṛ] в слове *berry*. Таким образом, в словах *throw* и *Betty* мы имеем фонему /D/ [а не фонемы /r/ (*throw*) и /t/ (*Betty*)], а в слове *berry* — фонему /r/; эти фонемы различаются не только на фонологическом уровне, но и на фонетическом уровне, и, следовательно, не имеется никакого взаимоналожения фон. Поскольку в рассмотренных Н. Хомским словах не наблюдается взаимоналожения фон, постольку о нарушении условия инвариантности не может быть и речи.

Нарушение условия взаимнооднозначности Н. Хомский иллюстрирует на примере М. Халле из русского языка [20]:

I	II	III
dát, l, i	dát, l,i	dád, l, i
dát, bṭ	dád, bṭ	dád, bṭ
žèč l,i	žéč l,i	žéč l,i
žéč bṭ	žéč bṭ	žéj bṭ

В первой колонке слова представлены на морфофонемическом уровне, во второй — на фонологическом уровне, а в третьей — на фонетическом уровне. Важно здесь то, что различные фонетические сегменты третьей колонки [d,] — [t,] в первой колонке представлены одинаково и тем самым, по мнению Н. Хомского, нарушается условие взаимнооднозначности. Это условие соблюдено во второй колонке, в которой те же сегменты представлены различно, т. е. как /d,/ — /t,/. Таким образом, условие взаимнооднозначности нарушается не в таксономической фонологии (колонка II), а в морфонологии (колонка I), не говоря уже о том, что колонка I вообще не является морфонологической записью.

Нарушение принципа взаимнооднозначности Н. Хомский связывает с критерием дополнительной дистрибуции. Так, например, в английском

[19] Там же, стр. 544.
[20] Там же, стр. 545.

языке [k] и [ă] находятся в отношении дополнительной дистрибуции и являются фонетически сходными, поскольку им присуща специфическая совокупность фонетических признаков. Поэтому [k] и [ă] мы должны рассматривать, по мнению Н. Хомского, как аллофоны фонемы /k/ и слова [săkt] (*socked* «ударный») и [skăt] (*Scot* «шотландец») представить на фонологическом уровне одинаково, т. е. как /sKKt/ [21].

Легко заметить, что Н. Хомский здесь не соблюдает принципа дополнительной дистрибуции. Приведенные самим Н. Хомским примеры показывают, что [k] и [ă] в английском находятся не в отношении дополнительной дистрибуции, а в отношении контрастной дистрибуции, поскольку оба они могут находиться в позиции после [s] и в позиции перед [t]. Поэтому, на наш взгляд, нет никакого основания считать [k] и [ă] в английском вариантами одной и той же фонемы /k/. Поскольку эти звуки находятся в отношении контрастной дистрибуции, постольку их следует отнести к двум разным фонемам и *socked* и *Scot* представить на фонологическом уровне как /săkt/ и /skăt/, а не как /sKKt/. Поэтому мы полагаем, что приведенные Н. Хомским примеры не в состоянии нарушить условие взаимнооднозначности.

Н. Хомский приводит и другой пример, который, по его мнению, нарушает не только условие взаимнооднозначности, но и условие локальной определимости. Так, например, [ə] и [r] в английском находятся в отношении дополнительной дистрибуции и являются фонетически сходными. Поэтому их следует рассматривать как аллофоны фонемы /R/. Если это так, то, по мнению Н. Хомского, слово [prəveyl] (*prevail* «преобладать») должно быть представлено на фонологическом уровне как /pRRvēl/, а слово [pərveyd] (*pervade* «распространяться») — как /pRRvēd/ [22]. Однако такая интерпретация нарушает условие взаимнооднозначности и локальной определимости, поскольку представленные в одной и той же позиции разные звуковые сегменты на фонологическом уровне интерпретируются как одна /R/. [r] и [ə] в английском рассматриваются Н. С. Трубецким как две разные фонемы по следующему правилу: «Два звука, во всем удовлетворяющие условиям третьего правила (т. е. удовлетворяющие условиям дополнительной дистрибуции и фонетического сходства.— *Н. Г.*), нельзя тем не менее считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без сопровождения другого» [23]. В английском языке в таких словах, как *profession* [prəfešn] звуки [r] — [ə] следуют друг за другом, тогда как в слове *perfection* [pəfekšn] в той же позиции встречается только [ə]. Поэтому [r] и [ə] в английском представляют собой две разные фонемы [24].

Рассматривая это правило Н. С. Трубецкого, Н. Хомский справедливо отмечает, что оно введено Н. С. Трубецким ad hoc. Но Н. Хомский не усматривает в нем другого недостатка. На наш взгляд, это правило сформулировано Н. С. Трубецким неправильно. На самом деле, если два звука могут следовать друг за другом в определенной позиции и в этой позиции может находиться один из этих звуков без сопровождения другого, то эти звуки находятся не в отношении дополнительной дистрибуции, а в отношении контрастной дистрибуции. Иными словами, упомянутое правило Н. С. Трубецкого удовлетворяет требованиям второго его правила, а не третьего. Это наглядно показывают приведенные самим Н. С. Трубецким примеры. В словах [prəfešn] и [pəfekšn] [r] — [ə]

[21] Там же, стр. 550.
[22] Там же, стр. 550.
[23] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 57.
[24] Там же, стр. 57—58.

встречаются в одной и той же позиции, а именно после согласного [р] и, следовательно, их надо отнести к двум разным фонемам по второму правилу Н. С. Трубецкого.

Точно так же обстоит дело с примерами Н. Хомского. Легко заметить, что в словах [prəveyl], [pərveyd] звуки [r] и [ə] находятся в отношении контрастной дистрибуции, так как оба они представлены после [р] и перед [v]. Поэтому ошибочно представить эти слова на фонологическом уровне как /pRRvēl/ и /pRRvēd/, они должны быть представлены на фонологическом уровне как /prəvēl/ и /pərvēd/, а такое их представление не нарушает ни условия взаимнооднозначности, ни условия локальной определимости.

Итак, критикуя таксономическую фонологию, Н. Хомский неправильно применяет такие ее центральные понятия, какими являются понятия контрастной дистрибуции, дополнительной дистрибуции и фонетического сходства. Разумеется, такая критика не может достичь своей цели и подорвать основы таксономической фонологии. Поэтому попытка Н. Хомского показать непригодность основных условий таксономической фонологии и тем самым пренебречь таксономической фонологией нам представляется несостоятельной.

П. Постал приводит другие аргументы против таксономической фонологии, которую он называет автономной фонологией. Наиболее вескими из его аргументов являются следующие:

1. Вопрос свободного варьирования П. Постал связывает с вопросом транзитивности: если А находится в отношении свободного варьирования с В, а В находится в таком же отношении с С, то А и С находятся в отношении свободного варьирования. Отсюда следует заключить, что свободное варьирование должно удовлетворять условию транзитивности. Однако, по мнению П. Постала, можно привести много примеров, нарушающих это условие. В этой связи он рассматривает начальные гласные в английском языке: (1.1) *unless*, (1.2) *employment*, (1.3) *intentional*, (1.4) *antagonize*, (1.5) *amorphous*.

В этих словах начальные гласные произносятся либо как *Λ* (1.1), *e* (1.2), *i* (1.3), *æ̂* (1.4), *æ* (1.5), либо как шва и поэтому шва находится в отношении свободного варьирования с каждым из этих гласных. Исходя из условия транзитивности, следует заключить, что и полные гласные должны находиться друг с другом в отношении свободного варьирования. Однако полные гласные не находятся в отношении свободного варьирования и поэтому налицо явная антиномия, которую, по мнению П. Постала, автономная фонология не в состоянии свести на нет [25]. Нам думается, что П. Постал ошибочно трактует понятие свободного варьирования. О свободном варьировании в фонологии говорят только тогда, когда два звука не образуют никакой оппозиции, т. е. не должно быть такой позиции, в которой два таких звука могут находиться в отношении контрастной дистрибуции. Если два звука в одних позициях контрастируют, а в других нет, то налицо нейтрализация фонологической оппозиции, а не отношение свободного варьирования. В подударном положении указанные полные гласные в английском контрастируют, и поэтому они представляют собой разные фонемы, что подчеркивается самим П. Посталом. Как это показывают примеры П. Постала, в безударном положении эти гласные фонемы нейтрализуются и их место занимает шва. Поскольку здесь мы имеем дело с нейтрализацией фонологических оппозиций, а не с отношением свободного варьирования, постольку про антиномию не может быть и речи и вся критика автономной фонологии, основанная

[25] P. Postal, указ. соч., стр. 219—220.

на неправильном понимании отношения свободного варьирования, на наш взгляд, беспредметна.

Кроме того, Н. Д. Андреев правильно подчеркивает то важное положение, что человеческий язык организован не на базе эквивалентности, а на базе толерантности [26]. По его словам, «„если А эквивалентно В и В эквивалентно С, то из этого следует, что А эквивалентно С“, тогда как для второй дело обстоит совершенно иначе, а именно: „если А толерантно В и В толерантно С, то А может быть толерантно С, но отнюдь не обязано“» [27]. Поскольку человеческий язык организован по способу толерантности, постольку соблюдение принципа транзитивности отнюдь не обязательно.

2. Другой аргумент П. Постала относится к диахронической фонологии. Он оспаривает распространенное мнение об автономности звуковых изменений, подвергая жестокой критике как младограмматиков, так и структуралистов, отстаивающих независимость фонетического закона от грамматики, семантики, омонимии и т. п. Чтобы показать зависимость фонетических изменений от грамматики, П. Постал рассматривает трансформации комплекса *kw в языках могавк и онейда.

Могавк	Онейда	
(1.1) *kewístos*	(1.8) *kwístos*	«мне холодно»
(1.2) *rakwístos*	(1.9) *lakwístos*	«ему холодно»
(1.3) *yakwa:nû':we?s*	(1.10) *yakwanû': wehse?*	«мы (эксклюзив) похожи на то»
(1.4) *yákwaks*	(1.11) *yákwaks*	«мы (эксклюзив) кушаем это»
(1.5) *rákwas*	(1.12) *lákwas*	«он выбирает это»
(1.6) *rú:kweh*	(1.13) *lukw'e*	«мужчина»
(1.7) *ó:kwire?*	(1.14) *ó:kwile?*	«ветвь».

Комплекс /*kw/ в языке могавк реализуется двояко — /kew/ (1.1) и /kw/ (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7). П. Постал полагает, что трансформация /*kw/ → /kew/ наблюдается в том случае, когда /k/ является показателем 1-го лица, а /w/ начальным элементом корня (1.1). Если же /k/ является показателем 1-го лица, а /w/ — первым элементом морфемы, обозначающей мн. число (1.3, 1.4), то /*kw/ дает не /kew/, а /kw/. Исходя из этого, П. Постал заключает, что фонетические изменения зависимы от морфологии и, следовательно, положение о независимости фонетических изменений от грамматики, значения и т. д. следует признать несостоятельным [28].

Нам думается, что положение П. Постала о зависимости фонетических изменений от грамматических факторов не выдерживает серьезной критики. Приведенные самим П. Посталом примеры наглядно показывают, что трансформация /*kw/ → /kew/ в языке могавк наблюдается только в анлауте (1.1), а трансформация /*kw/ → /kw/ — в инлауте (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) и поэтому не грамматический контекст объясняет двоякую трансформацию комплекса /*kw/ в языке могавк, а фонологический контекст, и тем самым доказывается несостоятельность точки зрения П. Постала относительно зависимости фонетических изменений от грамматики, семантики и т. п.

Итак, все доводы Н. Хомского и П. Постала против таксономической фонологии явно несостоятельны. Несостоятельна не только критика таксономической фонологии, но и попытка М. Халле игнорировать таксономическую фонологию и поставить знак равенства между трансформационной генеративной фонологией и морфонологией.

[26] Н. Д. Андреев, Квазилингвистика Хомского, ВЯ, 1976, 5, стр. 64.
[27] Там же, стр. 63.
[28] P. Postal, указ. соч., стр. 245—254.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

АМАНЖОЛОВ А. С.

К ГЕНЕЗИСУ ТЮРКСКИХ РУН

История древнетюркской письменности начинается с зарождения и становления тюркского рунического алфавита, которым в древности пользовались тюркоязычные племена Тянь-Шаня, Саяно-Алтайского нагорья и Хангая. В настоящее время появилась возможность вплотную подойти к решению проблемы происхождения (генетических связей) тюркских рун, основываясь на систематическом изучении графики древнетюркских рунических надписей и новых данных тюркской эпиграфики. От правильного решения этой узловой проблемы во многом зависят перспективы развития тюркологии.

Хронологические рамки тюркской руники остаются невыясненными. В Монголии, в Сибири и в Семиречье к настоящему времени обнаружено около двухсот древнетюркских рунических надписей. Династийные орхонские эпитафии относятся к VIII в., остальные надписи, как правило, не имеют надежной датировки. По традиции считается, что некоторые енисейские и таласские надписи значительно старше орхонских надписей. С. Е. Малов полагал, что енисейские надписи относятся к V—X (XI) вв., а таласские надписи — к V—VIII вв. [1].

Енисейские надписи нередко представлены на рыбообразных стелах, которые являлись, по-видимому, посмертными памятниками VII—IV вв. до н. э. [2]. Правда, не исключена вероятность повторного использования отдельных рыбообразных стел для древнетюркских эпитафий.

К ранним формам тюркской руники, вероятно, относится загадочная надпись на деревянной палочке из долины Таласа. Таласские надписи-эпитафии на валунах, как показали археологические раскопки, появились уже в V в. [3], во всяком случае, задолго до X в. [4].

Высказывания некоторых исследователей о том, что тюркское руническое письмо на Енисее и Таласе появилось позже, чем на Орхоне, представляются недостаточно обоснованными [5]. Так, по мнению И. В. Кормушина, все без исключения енисейские памятники написаны не ранее середины IX в., а таласские памятники относятся к караханидскому времени (X—XII вв.) [6]. Но поскольку выделяемые И. В. Кормушиным датирующие графические приметы не соответствуют

---

[1] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.— Л., 1959, стр. 63, 74—75.

[2] М. Х. Маннай-оол, Оленные камни Тувы, «Уч. зап. Тувинск. НИИЯЛИ», XIII, Кызыл, 1968, стр. 139, 148—149.

[3] H. J. Heikel, Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan, «Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne», VII, Helsinki, 1918, стр. II: 1 и II : 14.

[4] Д. Н. Винник, П. Н. Кожемяко, Памятники древнетюркской письменности из урочища Айртам-Ой, сб. «Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.)», Фрунзе, 1962, стр. 9—10.

[5] Убедительную критику таких утверждений, идущих вразрез с очевидными фактами, см.: И. А. Батманов, О датировке енисейских памятников древнетюркской письменности, «Уч. зап. Тувинск. НИИЯЛИ», X, Кызыл, 1963, стр. 294.

[6] И. В. Кормушин, К основным понятиям тюркской рунической палеографии, «Советская тюркология», 1975, 2, стр. 38, 45, 47.

эволюции тюркского рунического алфавита и весьма уязвимы с чисто палеографической стороны (монументальное письмо возводится к курсивному, хотя даже в рукописях тюркские руны не принимали подлинно курсивных форм), он вынужден признать, что эти «приметы иногда вступают в противоречие друг с другом» [7]. Некоторые енисейские надписи-эпитафии, как свидетельствуют выражения *türk qan balbalï* «балбал тюркского хана» (E 32_{10}), *ben öltim türgäš el ičintä* «я умер в тюргешском государстве» (E 37_3) и др., составлены не позже середины VIII в., до свержения тюркской и тюргешской династий. Кстати, в этих памятниках многократно употребляется рунический знак [1] * *t*, который является для И. В. Кормушина основной датирующей приметой памятников не старше середины IX в.

Графика таласских, енисейских и орхонских надписей свидетельствует о том, что тюркский рунический алфавит, неоднородный в своих локальных разновидностях, имеет длительную историю развития и в общих чертах отражает звуковую систему древнетюркского языка [8].

Звуковая система языка древнетюркских рунических надписей, по всей вероятности, включает в себя восемь гласных фонем (*a*, *ä*~*e* [9], *ï*, *i*, *o*, *u*, *ö*, *ü*) и шестнадцать согласных фонем (*b*, *č*, *d* ~ *ð* [10], *g* ~ *γ*, *j*, *k* ~ *q*, *l*, *m*, *n*, *ŋ*, *p*, *r*, *s*, *š*, *t*, *z*). Табл. 1 содержит краткую характеристику качественных признаков древнетюркских фонем как словоопознавательных единиц. В древнетюркском слове и его формах качество (тембр) слогообразующего гласного обусловливает «твердый» или «мягкий» вариант произношения соседних согласных. В табл. 1 мягкие варианты согласных фонем не отражены (за исключением *k'* и *g'*).

Восемь гласных фонем древнетюркского языка обозначались в тюркском руническом алфавите всего четырьмя полифонными буквами, употребление которых зачастую было факультативным (в зависимости от позиции гласной фонемы в слове). Одинаково обозначались гласные *a* и *ä*, *ï* и *i*, *o* и *u*, *ö* и *ü*.

Звук *e* (вариант гласной фонемы *ä*) не имел специального обозначения, вопреки широко известному предположению В. Томсена [11]. Обнаруженные нами факты указывают на то, что значения енисейского знака [2] и орхоно-енисейского знака [3] *ï*, *i* совпадают, ср. [4] *jïta* «увы» (E 59_8) и [5] *jïta* «увы» (E 10_1) и др.

Система тюркского рунического письма была прежде всего консонантной и требовала обязательного обозначения согласных. Шестнадцать согласных фонем (и отчасти их варианты) передавались тридцатью одной буквой.

Под влиянием сингармонизма слога и слова в тюркском руническом письме получило развитие графическое противопоставление твердых и мягких вариантов согласных фонем *b*, *d*, *t*, *s*, *š*, *n*, *l*, *r*, *j*, *g* (*g'* ~ *γ*), *k*

---

[7] Там же, стр. 45.

* Буквенные знаки, здесь и далее замененные цифрами, см. в конце статьи.

[8] Подробнее об этом см.: А. С. Аманжолов, Графика таласских, енисейских и орхонских надписей, сб. «Қазақ тілі мен әдебиеті», 3, Алма-Ата, 1973, стр. 16—26; его же, Интерпретация некоторых рунических знаков, «Уч. зап. Тувинск. НИИЯЛИ», XVI, Кызыл, 1973, стр. 163—168.

[9] Гласный звук *e* представляет собой более узкий или закрытый вариант широкой гласной фонемы *ä* [ɛ]. Он встречается, как полагают, только в первом (корневом) слоге, где графически можно наблюдать кажущееся колебание звуков *ä* и *i*.

[10] Можно предположить, что звуки *d* и *ð* в древнетюркском языке не противопоставлялись друг другу и употреблялись как варианты одной фонемы *d*. По-видимому, для аффиксов противопоставление звуков *d* и *t* (ср. *g* и *k*, *γ* и *q*) также не было фонематичным.

[11] V. Thomsen, Une lettre méconnue des inscriptions de l'Iénisseï; JSFOu, XXX, 1916, стр. 1—9.

Таблица 1

Звуковая система языка древнетюркских рунических надписей

Гласные

По степени раскрытия рта и положению языка (по вертикали)	По участию губ и положению языка (по горизонтали)			
	негубные		губные	
	заднего ряда (твердые)	переднего ряда (мягкие)	заднего ряда (твердые)	переднего ряда (мягкие)
Широкие (нижнего подъема)	*a*	*ä*		
Среднеширокие (среднего подъема)		*(e)*	*o*	*ö*
Узкие (верхнего подъема)	*ï*	*i*	*u*	*ü*

Согласные

По способу произношения		По месту образования					
			переднеязычные			заднеязычные	
		губно-губные	зубные	небно-зубные	средне-язычные	средне-небные (палатальные)	задне-небные (велярные)
Шумны	смычные звонкие	*b*	*d*			*g′*~*γ*	
	смычные глухие	*p*	*t*			*k′*~*q*	
	щелевые звонкие		*z* (*ð*)		*j*		
	щелевые глухие		*s*	*š*			
	смычно-щелевые (аффрикаты)			*č*			
Сонорные (сонанты)	смычно-носовые	*m*	*n*		(*ñ*)		*ŋ*
	щелевые (боковые)		*l*				
	дрожащие			*r*			

(*k′* ~ *q*). В орхоно-енисейских надписях, в отличие от таласских, звуковые разновидности согласной фонемы *k* (*k′* ~ *q*) имеют иногда дополнительную графическую дифференциацию при губном слогообразующем гласном. Кроме того, особой буквой мог передаваться в орхоно-енисейских надписях согласный звук *q* при негубном узком гласном.

Графическое противопоставление твердых и мягких вариантов согласных фонем, за исключением *k′* ~ *q*, нередко подвергалось нейтрализации. Об этом свидетельствует частичная взаимозаменяемость «парных» согласных букв в орхоно-енисейских надписях. Как правило, «мягкие» согласные буквы орхоно-енисейских надписей могут означать и мягкие и твердые варианты согласных фонем. Только в таласских надписях «парные» согласные буквы не подвергаются нейтрализации и полностью сохраняют свой звукоразличительный характер. Что касается вывода о так называемом «условном характере» графического различия твердых и

мягких согласных звуков [12], то он представляется нам не вполне оправданным, так как сделан без детального графического анализа орхоно-енисейских надписей и без учета таласских надписей.

Орхонский знак [6] в немногих словах с твердыми гласными передает звук *ñ* [13]. Это — сильно смягченный, палатализованный вариант смычно-носовой фонемы *n* (*ñ*, *nj*), в отличие от обычного мягкого, палатального варианта фонемы *n* (*n'*).

Согласные фонемы *p*, *z*, *č*, *m*, *y* отражались «одинарными» согласными буквами, т. е независимо от позиционных произносительных вариантов. Как исключение, в енисейских надписях обнаружены особые знаки [7] для твердой разновидности согласной фонемы *p* (Е 7_1, Е 45_8), которые, по-видимому, связаны со знаками [8] *op*, *up* в рунических рукописях VIII—IX вв. из Восточного Туркестана [14].

Таким образом, в тюркском руническом (орхоно-енисейском) алфавите было 35 букв, представленных различными графическими вариантами. Кроме того, в орхоно-енисейских надписях употреблялись особые знаки для сочетаний согласных *lt*, *rt* [15], *nt* и *nč*. В таласских надписях, в отличие от орхоно-енисейских, зафиксировано несколько меньшее количество рунических знаков — тридцать одна буква и один знак для звукосочетания *nt* (загадочная надпись на таласской палочке по существу еще не прочитана и поэтому не учитывается).

Тюркский рунический алфавит, уточненный на основании проведенного исследования, представлен в табл. 2 а, б. Таблица фиксирует графические варианты и звуковые значения тюркских рунических знаков.

Для подавляющего большинства тюркских рунических надписей характерно направление строки справа налево, однако изредка встречается и обратное направление строки (т. е. от левой руки к правой, например, в таласских памятниках № 1 и 3, в енисейских памятниках № 18, 19 и 24). Перевернутые начертания рунических знаков в строках, читающихся слева направо, отмечены в табл. 2 звездочками. Границы между словами или словосочетаниями в тюркских рунических надписях обычно обозначаются знаком словораздела, который имеет разные начертания (в енисейских надписях последний, кроме того, иногда встречается перед падежными окончаниями).

Генетические связи тюркских рун все еще не получили научного освещения. В. Томсен дал именно дешифровку, а не интерпретацию тюркского рунического (орхоно-енисейского) алфавита, истинное происхождение которого осталось неизвестным. Наука пока не установила ни подлинного возраста тюркского рунического письма, ни его непосредственного источника.

Гипотеза В. Томсена об арамейской (арамейско-пехлевийской и арамейско-согдийской) основе тюркского рунического алфавита [16] построена

[12] И. Н. Кобешавидзе, К характеристике графики и фонемного состава языка орхоно-енисейских надписей, «Советская тюркология», 1972, 2, стр. 42.

[13] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951, стр. 17; G. J. Ramstedt, J. G. Gräno und Pentti Aalto, Materialien zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei, JSFOu, LX, 7, 1958, стр. 30—49.

[14] A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, 2. verbesserte Aufl., Leipzig, 1950, стр. 12.

[15] См.: А. С. Аманжолов, Интерпретация некоторых рунических знаков, стр. 165—166.

[16] В. Томсен, Дешифровка орхонских и енисейских надписей, ЗВО РАО, т. VIII, вып. III—IV, СПб., 1894, стр. 337: «Определенно говорить о происхождении нашего алфавита было бы преждевременно. Я пока позволю себе только обратить внимание на сходство некоторых знаков с знаками алфавита (семитско-) пехлевийского»; V. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées, MSFOu, V, 1894—1896, стр. 49—50; его же, L'alphabet runiforme turc, Samlede Afhandlinger, III, København, 1922, стр. 73—77.

Таблица 2а

Тюркский рунический алфавит

Тюркские рунические знаки			Звуковое значение (чтение)
Таласские	Енисейские	Орхонские	
			a, ä, (e)
			ï, i, (e)
			o, u
			ö, ü
			b
			b′
			č, č′
			d, (ð), (t)
			d′, (ð′), (t′)
			γ
			g′
			j
			j′
			q
			q при o, u
			q при ï
			k′
			k′ при ö, ü
			l
			l′

на весьма далеких аналогиях для некоторых (около половины) знаков орхонского алфавита. Заметим сразу, что тюркские руны обнаруживают гораздо большее сходство с древними финикийско-арамейскими буквами, отнюдь не с пехлевийскими и согдийскими. Вместе с тем В. Томсен и Е. Д. Поливанов допускали возможность идеографического (логографического) происхождения некоторых тюркских рунических знаков, не возводимых к арамейскому алфавиту [17].

[17] V. Thomsen, L'alphabet runiforme turc, стр. 78—79; Е. Д. Поливанов, Идеографический мотив в формации орхонского алфавита, «Бюллетень Среднеазиатского государственного университета», № 9. Ташкент, 1925, стр. 177—179.

Таблица 2б

Тюркский рунический алфавит (продолжение)

Тюркские рунические знаки			Звуковое значение (чтение)
Таласские	Енисейские	Орхонские	
			m, m′
			n
			n′
			ñ, (nj)
			ŋ, ŋ′
			p, p′
			r
			r′
			s
			s′
			š
			š′
			t
			t′
			z, z′
			lt, lt′
			nt, nt′
			nč, nč′
			rt
			знак словораздела

Все другие предположения о происхождении орхоно-енисейского письма также не подкреплялись действительно близкими соответствиями сопоставляемых письменных знаков [18]. Источник тюркских рун, с одной стороны, искали в индобактрийском письме «кхарошти» [19], в армазском

[18] Критический обзор этих гипотез см.: А. С. Аманжолов, Материалы и исследования по истории древнетюркской письменности. АДД, Алма-Ата, 1975, стр. 54—57.

[19] O. Donner, Sur l'origine de l'alphabet turc du nord de l'Asie, JSFOu, XIV, 1, 1896, стр. 17, 21, 70.

арамейском письме [20], в видоизмененном арамейском (согдийском) и греческом (византийском, эфталитском) письме одновременно [21], с другой стороны — в тюркских родоплеменных знаках-тамгах [22], в древнейших пиктограммах и идеограммах (изобразительных логограммах) наподобие шумерских [23]. Иначе говоря, выявились сторонники экзогенного происхождения тюркского рунического алфавита (В. Томсен, О. Доннер, Ф. Альтхайм, Дж. Клосон) и сторонники эндогенного происхождения этого письма (Н. А. Аристов, А. Дж. Эмре). К мнению о происхождении орхоно-енисейского письма из «местных тамг и других идеограмм» в наше время склонялся И. А. Батманов [24]. Если рассматривать древние тамговые знаки как идеограммы и логограммы, которые в большинстве случаев еще надо прочесть, то гипотеза Н. А. Аристова может приобрести несколько большую правдоподобность. Случайные внешние сопоставления тюркских рун с тамгами и другими древними знаками малоубедительны.

В качестве интерпретатора гипотезы В. Томсена недавно выступил известный иранист В. А. Лившиц [25], по мнению которого основным источником («исходным материалом для рабочих праформ») орхонского алфавита явилась довольно поздняя разновидность согдийского курсивного письма, адекватная древнеуйгурскому алфавиту. В. А. Лившиц производит тюркские (орхонские) руны от букв новосогдийского письма посредством «реконструкции графических прототипов в процессе создания рунического алфавита» [26]. Так, согдийская буква [9] δ (δ, ϑ, *L*) посредством трех «реконструкций» [10] превращается в тюркские рунические знаки [11] *d'*, [12] *l*, [13] *l'*. Думается, что если вооружиться этим методом, то трудно будет избежать субъективности в решении вопроса. Во всяком случае, версия о согдийской основе тюркских рунических знаков нуждается в более веских доказательствах.

Углубленное изучение эпиграфических находок 1960—1970 гг. на территории Казахстана позволяет выявить древнейшие памятники письменной культуры далеких предков тюркоязычных народов. Существование алфавитной письменности у раннекочевых племен Южной Сибири и Семиречья документально подтверждается двумя руническими или руноподобными надписями из захоронений V—IV вв. до н. э. [27]. Это — надпись на костяной бляхе из долины р. Иртыш (рис. 1) и надпись на сереб-

---

[20] F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, 11 («Hunnische und alttürkische Runen»), Berlin, 1959, стр. 284—286, 437.

[21] G. Clauson, The origin of the Turkish «runic» alphabet, «Acta Orientalia» (Havniae), XXXII, 1970, стр. 55, 59—60.

[22] Н. Аристов, Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой Орды и каракиргизов..., «Живая старина», III—IV, СПб., 1894, стр. 418—419; его же, Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности, «Живая старина», III—IV, СПб., 1896, стр. 410, 418, 420; Н. Маллицкий, О связи тюркских тамг с орхонскими письменами, «Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии», год III, Ташкент, 1897—1898, стр. 43—47.

[23] A. C. Emre, Eski türk yazısının menşeği, İstanbul, 1938, стр. 16—19, 48—52.

[24] И. А. Батманов, А. Ч. Кунаа, Памятники древнетюркской письменности Тувы, I, Кызыл, 1963, стр. 8.

[25] В. А. Лившиц, Происхождение древнетюркской рунической письменности, сб. «Этнические и историко-культурные связи тюркских народов СССР. Тезисы докладов и сообщений. Всесоюзная тюркологическая конференция, 27—29 сентября 1976 г.», Алма-Ата, 1976, стр. 64.

[26] Там же, стр. 68—69 (таблица).

[27] А. С. Аманжолов, Еще раз об иртышской рунической надписи, «Вестник АН Казахской ССР», 1967, 9 (269), стр. 66—70; его же, Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты, «Вестник АН Казахской ССР», 1971, 12 (320), стр. 64—66.

ряной чашечке из долины р. Или (рис. 2). Надпись на костяной бляхе, символе небесного оленя-солнца, оказалась тюркоязычной: *aq sïqïn* «белый олень». Надпись на серебряной чашечке, как выяснилось, также является тюркоязычной и свидетельствует о древнем поминальном ритуале. Верхняя строка надписи гласит: *aγa saŋa očuq* «Старший брат, тебе (этот) очаг!». Нижняя строка: *bez čök boqun ič(r?)ä azuq i* «Чужой, опустись на колени! [Да будет] у поколения пища!». Отсылая читателя к указанным публикациям, где дана подробная расшифровка (никем не опровергнутая), еще раз подчеркиваем, что эти надписи, судя по всему, сделаны на древнетюркском языке и относятся к довольно ранней разновидности тюркской руники, тесно связанной с алфавитными письменностями Средиземноморья середины I тысячелетия до н. э.

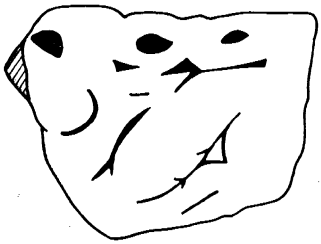


Рис. 1

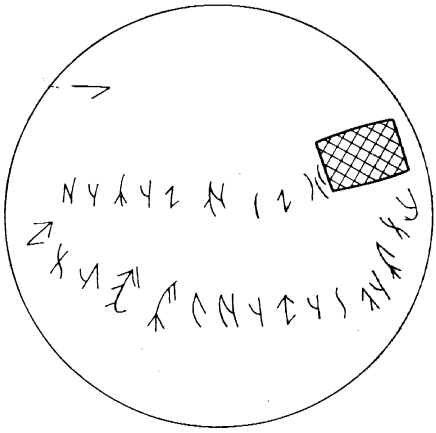


Рис. 2

В долине р. Или нами были обнаружены две наскальные надписи на древнегреческом алфавите [28]. Языковая принадлежность одной из них под сомнением, а другая является тюркоязычной. Обе надписи были составлены в I тысячелетии н. э., хотя палеографически тяготеют приблизительно к середине I тысячелетия до н. э. (архаические начертания букв, направление письма справа налево). Невольно напрашивается аналогия с тюркским руническим алфавитом, на котором составлены таласские, енисейские и орхонские надписи. Палеографически эти надписи также могут быть отнесены к середине I тысячелетия до н. э., что указывает на относительную стабильность тюркского рунического письма. Незаурядная историческая судьба древнегреческого алфавита в Семиречье так или иначе свидетельствует о древнейшей письменной традиции тюркоязычных племен.

Палеографический анализ приводит к выводу о весьма ранней дате сложения тюркского рунического алфавита в Южной Сибири и Семиречье — не позже середины I тысячелетия до н. э. Этот алфавит обнаруживает близкую генетическую связь, во-первых, с ранними типами древнегреческого алфавита (особенно с малоазийскими и италийскими) и, во-вторых, с северносемитско-финикийским (в том числе с ранним арамейским) и южносемитскими алфавитами. В какой-то мере это согласуется с археологическими данными о глубоких культурных связях ранних кочевников Южной Сибири и Семиречья с населением Передней Азии в I тысячелетии до н. э.

---

[28] A. S. A m a n ž o l o v, An «ancient Greek» inscription from the region of Alma-Ata, AO, 1967, 35/1, стр. 89—94; е г о ж е, Forefather goat or the ancient Turkic inscription in early Greek alphabet, AO, 1974, 42/1, стр. 33—36.

Таблица 3

Генетические связи тюркских рун

Тюркские руны (графемы)	Фонемы	Соответствия в алфавитах Средиземноморья			
		финик.	арам.	ю.-сем.	несемитские
	a,ä ï,i o,u ö,ü				сид. a кар. i, греч. i, пиц. li греч. u, в.-греч. u,ü
	b p m	b p,f	b p	b f(p) m	греч. b, сид. b греч. p, этр. p, кар. p кар. m, рет. m
	d t z S,Š Š č n l r j	t z	t z	t z S(Ś)	кар. t, t(t-d), вен. t пиц. z, этр. S, сид. Ś лид. Ś, этр. Š, пиц. Š
	[g] [γ] g [k] k(ö,ü) [q] k q(o,u) q(ï) ŋ	h k ḥ q	h k ḥ q	g(γ) h k k q	греч. h>e, лик. i вен. h, пиц. h, лик. q греч. k, з.-греч., этр. kh греч. h, ē, мес. h греч., этр. q лик. g, kh, мес. h

Тюркский рунический алфавит выступает как очень богатая и вполне самостоятельно сложившаяся графическая система. Тесная генетическая связь тюркских рунических знаков с ранними семитскими, древнегреческими, италийскими (этрусскими, пиценскими, мессапскими, венетскими,

ретскими) и малоазийскими (карийскими, ликийскими, лидийскими, сидетскими) буквами объясняется тем, что тюркский рунический алфавит, прошедший весьма длительный путь развития, по-видимому, непосредственно восходит к древнейшему общему источнику алфавитных письменностей. Таким источником могло быть какое-то раннее логографическое или алфавитное письмо III—II тысячелетий до н. э.

Опыт сравнения древнетюркских рун с родственными буквенными знаками ранних алфавитных письменностей Средиземноморья представлен в табл. 3, которая может рассматриваться как рабочий план для будущих исследований [29]. Тюркские рунические знаки (графемы) в этой таблице сгруппированы на основании намечаемых палеографических и фонологических связей, что позволяет проследить эволюцию тюркского руническо го алфавита от первоначально немногих исходных знаков до исключительно богатой и целостной графической системы, своеобразно отразившей длительную историю развития фонетической системы древнетюркского языка и вместе с тем обнаруживающей генетическую (материальную) близость с ранними алфавитами Средиземноморья.

На основании сравнительного анализа можно предположить, что тюркские рунические знаки для гласных восходят к общему прототипу [14], когда-то обозначавшему начальный щелевой согласный звук типа *h (вероятно, вариант фонемы *k) перед различными гласными. Этот начальный звук (по-видимому, восходит к общеалтайскому *p-) не зафиксирован в языке древнетюркских рунических надписей, однако его следы обнаруживаются в отдельных тюркских языках [30]. Постепенная утрата согласного звука *h- в языке племен, унаследовавших древнюю письменную традицию, обусловила появление и последующее обособление знаков для гласных архифонем *A* (*a*, *ä*), *I* (*ï*, *i*) и *U* (*o*, *u*, *ö*, *ü*), вероятно, под влиянием близких знаков для согласных [15] *k*, [16] *j* и [17] *b*. Вместе с тем, тюркские рунические знаки [18] *a*, *ä*, [19] *ï*, *i*, [20] *ö*, *ü* (отсюда [21] *o*, *u*) обнаруживают близкую генетическую связь со знаками для согласных '(*a*), *j*, *w* в семитских алфавитах.

Буквенные обозначения твердых и мягких вариантов согласных фонем в тюркском руническом алфавите, как уже отмечалось, зачастую подвергались нейтрализации (исключение представляют лишь знаки для *q* и *k'*). Более того, буквенные обозначения твердых и мягких вариантов согласных фонем обычно связаны и генетически. Например, рунический знак [22] *b* развился из [23] *b'*, рунический знак [24] *j* развился из [25] *j'*, рунический знак [26] *n* развился из [27] *n'*. Поэтому в историческом плане целесообразно рассматривать тюркские рунические знаки для согласных как графические обозначения фонем, независимо от их звуковых реализаций в слове.

Тюркские рунические знаки, обозначающие согласные фонемы, можно разбить на три внутренне связанные палеографические группы: 1) знаки

---

[29] В табл. приняты следующие сокращения: арам. — арамейский алфавит (ответвление финикийского), в.-греч.— восточная ветвь древнегреческого алфавита, вен. — венетский алфавит (разновидность этрусского), греч. — древнегреческий алфавит, з.-греч. — западная ветвь древнегреческого алфавита, кар. — карийский алфавит, лид. — лидийский алфавит, лик. — ликийский алфавит, мес. — мессапский алфавит, пиц. — пиценский алфавит, рет. — ретский алфавит (разновидность этрусского), сид. — сидетский алфавит, финик. — финикийский (северносемитский) алфавит, этр.— этрусский алфавит, ю.-сем. — южносемитские алфавиты.

[30] М. Рясянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 24—25; Н. А. Баскаков, Тюркские языки (Общие сведения и типологическая характеристика), «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, М., 1966, стр. 17; G. Doerfer, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, «Orientalistische Literaturzeitung», LXVI, 7/8, 1971, стр. 335.

для губно-губных смычных согласных фонем *b*, *p*, *m*; 2) знаки для переднеязычных согласных фонем *d*, *t*, *z*, *s*, *š*, *č*, *n*, *l*, *r* и среднеязычной щелевой согласной фонемы *j*; 3) знаки для заднеязычных смычных согласных фонем *g*, *k*, *η*.

Знаки первой группы восходят к своим прототипам [28] *b′* (~ **p′*) и [29] *m*. Близость начертаний этих прототипов, по-видимому, обусловлена древним фонетическим соответствием *b* (*p*) ~ *m*.

Знаки второй группы включают в себя прототипы [30] *d′*(~ **t′*), [31] *d* (~ **t*) , [32] *z* (~**s*), [33] *š*, [34] *č* (ср. знаки для *š*), [35] *n′*, а также довольно архаичные знаки для *l*, *r* и *j*.

Знаки третьей группы включают в себя прототипы [36] *g′* (~**k′*) и [37] *γ* (~**q*), весьма архаичные по начертанию знаки для *k′* (при *ö*, *ü*), *q* (при *o*, *u*), *q* (при *ï*), а также особые знаки для заднеязычной смычно-носовой фонемы *η*.

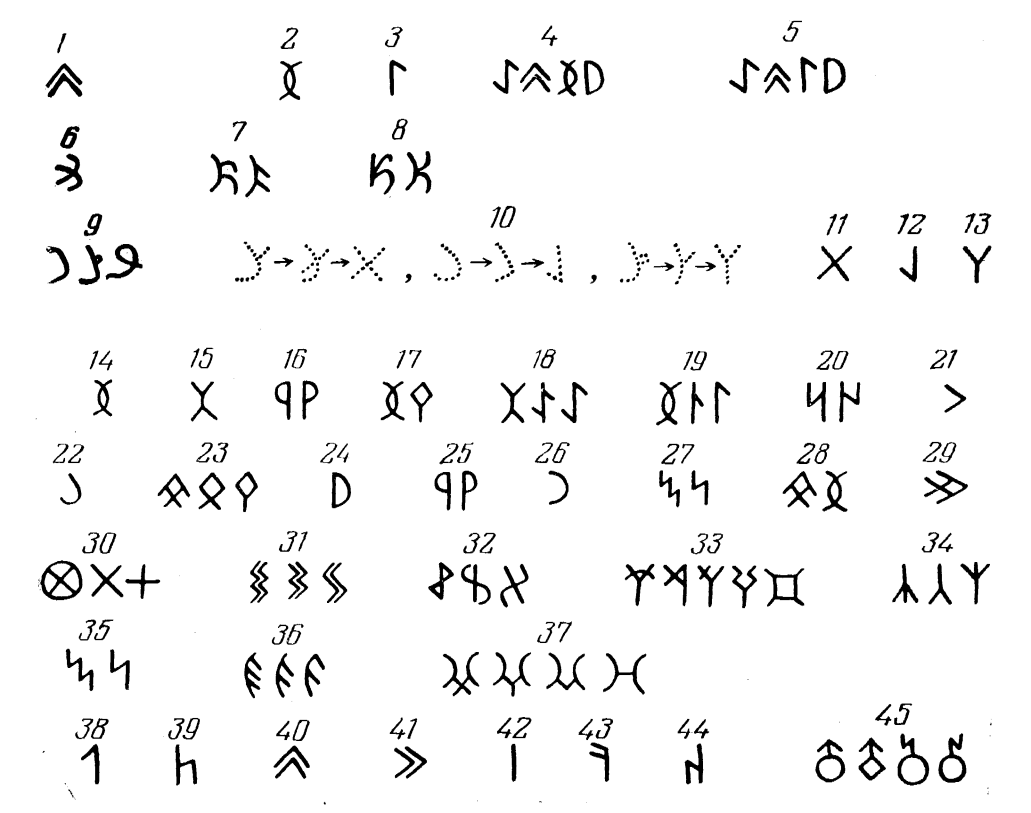
Важно отметить, что фонологическая дифференциация шумных согласных по звонкости — глухости (*b*~*p*, *d*~*t*, *z*~*s*, *g*~*k*) отражена в тюркском руническом алфавите весьма своеобразно. Как показывает сравнительный анализ, почти все рунические знаки для глухих согласных (*p*, *t*, *s*, *k′*, *q*) являются, в конечном счете, производными от рунических знаков для соответствующих звонких согласных (*b*, *d*, *z*, *g′*, *γ*). Например, можно проследить, что тюркские рунические знаки [38] *p*, *p′*, [39] *t′*, [40] *t* (ср. [41] *t* в пятой наскальной надписи Хойто-Тамира), [42] *s′*, [43] *k′* и [44] *q* развились соответственно из знаков для *b′* (~**p′*), *d′*(~**t′*), *d* (~**t*), *z*(~ **s*), *g′* (~**k′*) и *γ* (~**q*). Однако орхонские рунические знаки [45] *t* представляются первообразными.

Тюркские рунические знаки для звукосочетаний *lt*, *rt*, *nt* и *nč* не имеют прямых аналогий в древних алфавитах. Генетическая связь орхонского знака для *ñ* (*nj*) с орхоно-енисейскими знаками для *nč* подтверждается древним фонетическим соответствием *ñ* (*nj*) ~ *nč*, ср. якут. *siñigäs* (*cinjigäc*, по современной орфографии *синньигэс*) «тонкий» и др.-тюрк. *jinčkä* (*jinčgä*) «тонкий».

Палеографические и фонологические связи тюркских рунических знаков (графем) свидетельствуют о длительной эволюции тюркского рунического письма в процессе становления древнетюркской речи, завершившемся в общих чертах не позже I тысячелетия до н. э. [31]. Следовательно, тюркский рунический алфавит, история и генетические связи которого получают принципиально новое освещение, может стать исключительно важным источником для исторической фонетики тюркских языков.

---

[31] Ср.: С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, стр. 74: «В своей классификации тюркских языков я, в итоге своих занятий, отодвинул появление тюркских языков в том самом виде, как мы их теперь встречаем, на две с половиной тысячи лет вглубь от нас».


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЗАДОЕНКО Т. П.

АКУСТИЧЕСКАЯ РАЗНОМОЩНОСТЬ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ И ПРОБЛЕМА АКЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ СЛОГОВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ

(на материале китайского языка)

Суть вопроса

1. Тот факт, что разные звуки речи, при прочих равных условиях, обладают разной громкостью, привлек внимание исследователей еще в прошлом столетии. За неимением соответствующей аппаратуры разногромкость звуков речи в то время измерялась в шагах, точнее, в шагах измерялось расстояние, на котором тот или иной звук переставал слышаться, например: *а* — 360 шагов, *о* — 350 шагов, *е* — 330 шагов и т. д. [1].

С появлением электроакустической аппаратуры мощность звуков речи стала исследоваться более совершенными методами и измеряться в более точных единицах (микроваттах, децибелах). В результате исследований, проведенных по разным языкам, были установлены ряды гласных по их убывающей акустической мощности, например: *а*, *о*, *u*, *е*, *i* — для английского языка [2], *а*, *о*, *э*, *у*, *и* — для русского языка [3], *о*, *ö*, *u*(*ü*), *е*, *а*, *i* — для немецкого языка [4].

По общему признанию исследователей данного явления, различная акустическая мощность, или разногромкость, звуков речи связана с различиями в величине резонаторов при произнесении звуков речи: чем меньше резонатор, тем у́же канал, по которому проходит воздушная струя, тем больше потеря энергии звука, из чего следует, что более закрытые гласные — менее интенсивны, более открытые — более интенсивны.

2. При том, что общий уровень громкости речи, зависящий от силы произнесения, может произвольно меняться говорящим, собственная физическая интенсивность (мощность) отдельных звуков не зависит от говорящего. В пределах одного уровня громкости *а* всегда будет интенсивнее и громче, чем *э*, находящееся в равных с ним условиях и произносящееся с той же артикуляторной силой, а *э*, в свою очередь, интенсивнее и громче, чем *и*. С изменением общего уровня громкости речи соответственно изменяется лишь абсолютная интенсивность каждого звука,

[1] Подробное описание эксперимента по измерению слышимости звуков речи в шагах, проведенного Вольфом в 1871 г., см. в кн.: Н. И. Жинкин, Механизмы речи, М., 1958, стр. 174.

[2] H. Fletcher, Speech and Hearing, New York, 1929, стр. 71.

[3] Н. И. Жинкин, указ. соч., стр. 178.

[4] O. Essen, Über die spezifische Schallwirksamkeit der Laute, «Zeitschrift für Phonetik», 1953, 1/2, стр. 83.

соотношение же звуков по собственной акустической мощности остается неизменным. Эта непроизвольная мощность отдельных звуков рассматривается как качество, принадлежащее речевому звуку определенного образования [5].

Разномощность речевых звуков служит причиной парадокса ударения — безударный гласный может быть интенсивнее и громче ударного (если последний обладает меньшей акустической мощностью), несмотря на то, что ударный гласный произносится с большей артикуляторной силой, чем безударный.

По кривым интенсивности интонограмм мы можем судить о соотношении слогов по силе произнесения лишь в том случае, если сравниваются звуки, обладающие одинаковой непроизвольной мощностью. Так, гласный *и*, произнесенный с большей артикулярной силой, дает большее отклонение кривой интенсивности от условного нулевого уровня, чем такой же гласный, произнесенный с меньшей артикуляторной силой. При сравнении же кривых интенсивности гласных разного качества мы получаем сведения, в которых соотношение слогов по артикуляторной силе произнесения и, следовательно, по ударности оказывается затушеванным акустической разномощностью сравниваемых звуков. Как справедливо отмечают Л. П. Блохина и Р. К. Потапова, «собственная интенсивность звуков речи может выступать в качестве фактора, влияющего на распределение максимумов интенсивности в ритмической структуре. В частности, ударный слог, включающий один из звуков с малой собственной интенсивностью, не обязательно характеризуется максимальными значениями интенсивности. В связи с этим, очевидно, не всегда правомерно рассмотрение максимальных значений интенсивности в качестве одного из акустических коррелятов смысловых центров» [6]. Из сказанного следует, что если рассматривать показания кривой интенсивности без учета собственной разномощности звуков, картина акцентной выделенности слогов может быть представлена неточной и даже искаженной.

Неудивительно поэтому, что многие исследователи подходят к использованию данных по интенсивности с определенной осторожностью: или строят исследование на материале слов, словосочетаний или даже фраз, идентичных по сегментному составу (что, однако, невозможно при исследовании потока речи), или вообще отказываются от рассмотрения данной акустической характеристики как не имеющей прямой взаимосвязи с ударностью — безударностью гласного [7].

Таким образом, акустическая разномощность звуков речи составляет определенную лингвистическую проблему, без решения которой неправомерно использование акустических данных по интенсивности в исследовании акцентной структуры речевых единиц.

Мы полностью разделяем точку зрения Г. П. Торсуева, который отмечает, что «фонетист должен различать три вида интенсивности: артикуляторную, физическую (акустическую) и слуховую. Экспериментальные возможности исследования этих трех видов интенсивности различны; это обстоятельство нужно всегда иметь в виду, когда говорится о трудности или даже невозможности исследовать интенсивность как компонент

[5] Н. И. Жинкин, Восприятие ударения в словах русского языка, «Изв. АПН РСФСР», 54, 1954, стр. 27.

[6] Л. П. Блохина, Р. К. Потапова, Роль просодики в системе суперсегментных характеристик, «Вопросы фонологии и фонетики. Тезисы докладов на VII Международном конгрессе фонетических наук, 1971, Монреаль», ч. 1, М., 1972, стр. 31.

[7] Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. Р. Зиндер, Л. П. Щербакова, Полезные признаки словесного ударения в русском языке, сб. «Анализ и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи», Минск, 1973, стр. 111.

ударения»[8]. К этому мы можем добавить, что при соответствующей разработке вопроса показания интонографа по акустической интенсивности гласных могут быть использованы для получения данных по силе произнесения, т. е. по артикуляторной интенсивности (см. пп. 6—13).

Акустическая разномощность китайских гласных звуков

3. Поскольку звуки речи представляют собой явление физическое, их различие по акустической мощности, определяемое объемом ротового резонатора, должно быть свойственно всем языкам. В каждом языке могут быть определены ряды гласных звуков в соответствии с их акустической разномощностью. Но в зависимости от особенностей артикуляционной базы того или иного языка, различий в системе вокализма и некоторой специфики в способах образования звуков ряды гласных по акустической разномощности в разных языках могут различаться порядком следования компонентов, что и показывают нам исследования, проведенные по английскому, русскому и немецкому языкам (см. п. 1).

Определенная специфика в плане разномощности гласных звуков может проявиться и при исследовании звуков китайского языка. В частности, есть основания полагать, что китайский гласный *u* займет в ряду акустической разномощности последнее место, поскольку, в отличие от соответствующего звука русского и английского языков, является более закрытым по губной артикуляции, произносится при менее вытянутых, но более сжатых губах[9], а уменьшение площади губного отверстия вызывает понижение частот всех формант[10]. Интересно также выяснить, какое место в ряду гласных по разномощности займет специфичный для китайского языка апикальный гласный (по китайской терминологии — «особый» гласный), проявлющийся в двух вариантах в зависимости от предшествующего согласного — шипящего или свистящего.

4. Для исследования акустической мощности гласных китайского языка на магнитную ленту были записаны двусложные слова, содержащие все гласные китайского языка. Чтобы выявить истинное соотношение гласных по их собственной акустической мощности, диктору была дана инструкция произносить слова с одинаковой артикуляторной силой, сохраняя ровную силу произнесения до самого конца списка слов.

В течение одного сеанса записи список слов был прочитан диктором шесть раз, после чего с магнитной записи были сняты интонограммы на интонографе ИСАА-70 со скоростью движения ленты 250 мм/сек.

Исследованию были подвергнуты прежде всего кардинальные гласные, которых в китайском языке шесть: *a*, *o*, *e*, *i*, *u*, *ü*[11] и два варианта «особого» гласного, которые графически передаются одной и той же буквой *i* (во избежание графического смешения гласных «особый» гласный в дальнейшем будем обозначать буквой *ï* в отличие от *i* [i]).

С учетом опыта аналогичного исследования гласных русского языка, который показал, что акустическая разномощность звуков речи более точно может быть определена по записям слов, а не отдельных слогов[12], были составлены списки двусложных слов с начальным ударным слогом,

---

[8] Г. П. Торсуев, Экспериментальное исследование английского словесного ударения, «Экспериментальная фонетика и психология речи», («Уч. зап. 1-го МГПИИЯ», XVIII), М., 1960, стр. 34.

[9] Сюй Ши-жун, Путунхуа юйинь цзибэнь чжиши («Основы фонетики китайского языка»), Пекин, 1958, стр. 10.

[10] Г. Фант, Акустика речи, сб. «Проблемы современной акустики», М., 1963, стр. 51.

[11] Сюй Ши-жун, указ. соч., стр. 9.

[12] Н. И. Жинкин, Механизмы речи, стр. 177—178.

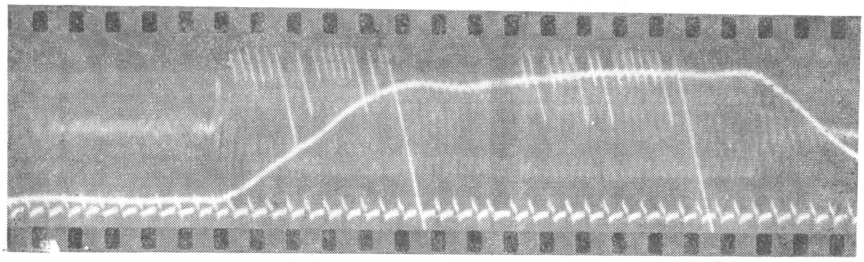


Рис. 1. Кривая интенсивности гласного *a* в слове *chāde*

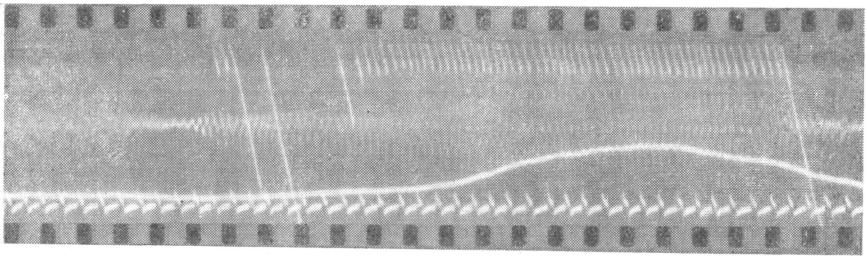


Рис. 2. Кривая интенсивности гласного *e* в слове *chēde*

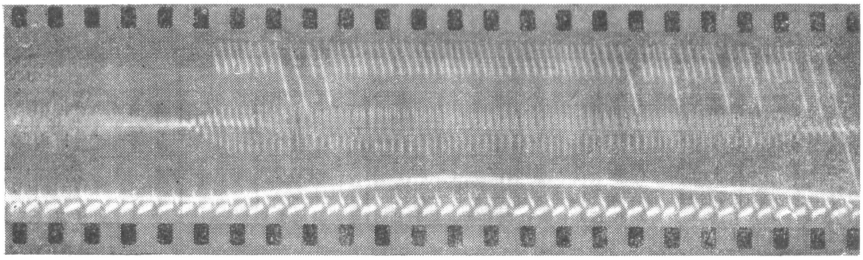


Рис. 3. Кривая интенсивности гласного *u* в слове *chūde*

содержащим исследуемый гласный, и одним и тем же безударным слогом, а именно: *pode*, *chade*, *chede*, *chude*, *qide*, *qude*, *chide*, *cide* [13].

Насколько позволяют закономерности фонетической системы китайского языка было выдержано требование одного и того же звукового окружения гласных. Однако избежать некоторого различия в начальных согласных не удалось из-за существующих в китайском языке ограничений в сочетаемости гласных и согласных. Во-первых, гласные заднего ряда *a*, *e*, *u* сочетаются только с твердыми согласными, а гласные переднего ряда *i*, *ü* — большей частью с мягкими согласными, в связи с чем пришлось брать слова с разными, но близкими по способу и месту образования согласными — *ch* [tš'] и *q* [tś]. Во-вторых, со всеми твердыми

[13] Условно все исследуемые двусложные сочетания мы записываем слитно и называем словами, хотя многие из них представляют собой сочетание односложного слова со служебным словом *de*. Однако несмотря на лексико-грамматические различия, в фонетическом плане они неразличимы: конечная морфема *de* произносится одинаково, независимо от того, составляет она с предыдущим слогом единое слово или словосочетание.

Таблица 1

Акустическая разномощность гласных китайского языка (в абсолютных величинах)

Слова	Средняя интенсивность по шести произнесениям в *мм*				Средняя по четырем тонам в *мм*
	1-й тон	2-й тон	3-й тон	4-й тон	
chade	14,96	15,34	11,92	13,34	13,89
pode	9,16	12,89	8,54	10,07	10,41
chede	7,61	9,85	5,37	9,06	8,00
qide	3,91	4,24	2,68	4,75	3,90
chïde	3,76	4,87	2,31	4,40	3,83
cïde	3,00	4,63	2,12	4,10	3,33
qüde	2,91	3,81	1,70	4,06	3,12
chude	2,51	3,63	2,14	3,82	3,02

Таблица 2

Коэффициенты акустической мощности основных гласных китайского языка

Гласный	Коэффициенты акустической мощности гласных				Средний коэффициент по четырем тонам
	1-й тон	2-й тон	3-й тон	4-й тон	
a	2,40	2,46	1,91	2,14	2,23
o	1,47	2,07	1,37	1,61	1,63
e	1,22	1,57	0,86	1,45	1,35
i	0,62	0,77	0,43	0,76	0,66
ï	0,50	0,76	0,34	0,68	0,57
ü	0,47	0,61	0,27	0,65	0,50
u	0,40	0,58	0,34	0,61	0,48

согласными, кроме губных, гласный *o* сочетается в виде восходящего дифтонга *uo*, поэтому пришлось отказаться от слога *chuo* и взять слог с губным согласным *po*. В-третьих, варианты «особого» гласного тоже возможны после разных согласных. Однако все эти согласные объединяет общий, существенный для силы произнесения признак — все они придыхательные.

Анализируя по интонограммам запись китайских слов и фраз, мы постоянно наблюдаем существенное различие в уровне подъема кривой интенсивности на слогах разного тона: гласный 3-го тона отмечается, как правило, меньшим подъемом кривой интенсивности, чем гласный 1-го тона. Некоторые различия в интенсивности возможны также и между гласными других тонов.

Это обстоятельство ставит перед нами требование исследовать акустическую мощность гласных китайского языка с учетом всех четырех тонов. Поэтому соответственно перечисленным выше восьми экспериментальным словам с начальным слогом 1-го тона были подобраны слова такого же сегментного состава по 2, 3 и 4-му тонам. В целом весь список слов, предназначенный для исследования кардинальных гласных, содержал 32 слова, что с учетом шестикратного прочтения списка составило 192 реализации. В целях контрольного сопоставления во время другого сеанса список слов 1-го тона был прочитан тем же диктором еще 10 раз (80 реализаций) с последующей записью на интонограф.

5. Анализ интонограмм показал ярко выраженную разномощность китайских гласных. Притом, что диктор строго следовал правилу произносить все слова с равной силой, отклонения кривой интенсивности для разных гласных резко различаются. Это иллюстрируется фотокопиями интонограмм, на каждой из которых показана кривая интенсивности, зафиксированная интонографом при одном из шестикратных произнесений гласных *а*, *е*, *и* (см. рис. 1—3).

В результате математической обработки показаний интонограмм [14] были получены сравнительные данные по акустической разномощности гласных китайского языка (см. табл. 1).

В табл. 1 показана средняя акустическая интенсивность гласных четырех тонов по шести произнесениям. Цифровые значения показывают явное преобладание гласных *а* и *о* по их акустической мощности. Третье место в ряду разномощности устойчиво занимает *е*. Что касается остальных гласных (все они являются гласными в высокого подъема), то они оказываются близкими по акустической мощности, их различия проявляются в небольших размерах и заметно колеблются в зависимости от тона. Последовательность этих гласных в ряду разномощности удается установить лишь через среднюю интенсивность каждого данного гласного по четырем тонам.

Такое же соотношение гласных по акустической мощности подтверждается и десятикратным произнесением двусложных слов 1-го тона.

В результате проведенного анализа по абсолютной средней интенсивности гласных китайского языка устанавливается следующий ряд гласных по убывающей акустической мощности: *а*, *о*, *е*, *і*, *ї*, *ü*, *и*.

Данные таблицы показывают также варьирование акустической мощности всех гласных по тонам. При этом проявляется устойчивая закономерность: у всех гласных акустическая мощность падает на 3-м тоне и повышается на 4 и 2-м тонах (см. рис. 4, табл. 2).

Акустическое и артикуляторное соотношение слогов по интенсивности

6. Определение степени разномощности гласных китайского языка не было самоцелью, эти данные необходимы нам как средство для достижения другой, более важной цели — найти ключ к определению артикуляторного соотношения слогов по интенсивности, т. е. соотношения с учетом собственной разномощности гласных звуков, которая автоматически учитывается слуховым аппаратом человека.

Говорящий может произвольно менять силу произнесения, что достигается благодаря «более интенсивной работе мышц дыхательного аппарата и более сильному фонационному давлению» [15]. Изменяя силу произнесения на том или ином слоге, мы тем самым изменяем соотношение слогов по акцентной выделенности. Однако изменение это, помимо нашей воли, происходит пропорционально собственной акустической мощности звуков. При одной и той же степени акцентного выделения звук, обладающий большей акустической мощностью, усиливается на бóльшую абсолютную величину, чем звук с меньшей акустической мощностью. Иначе говоря, усиление каждого звука происходит в соответствии с его «индивидуальной шкалой динамического квантования» [16].

---

[14] На данном этапе исследования математическая обработка показаний интонограмм состояла в следующем: внутри каждого слога вычислялась среднеарифметическая интенсивность гласного, затем суммировались среднеарифметические интенсивности шести произнесений каждого гласного и путем деления на шесть определялась окончательная средняя интенсивность гласного, указанная в табл. 1.

[15] Г. П. Торсуев, указ. соч., стр. 123—124.

[16] Н. И. Жинкин, Механизмы речи, стр. 180.

Слуховой аппарат человека способен воспринимать различия в силе произнесения речевых звуков с учетом их собственной разномощности, поэтому наш слух отчетливо воспринимает ударение и в тех случаях, когда ударный гласный менее интенсивный, чем безударный, если ударный слог «усилен по своей собственной шкале на величину, соответствующую слоговому ударному выделению» [17]. Электроакустический же аппарат,

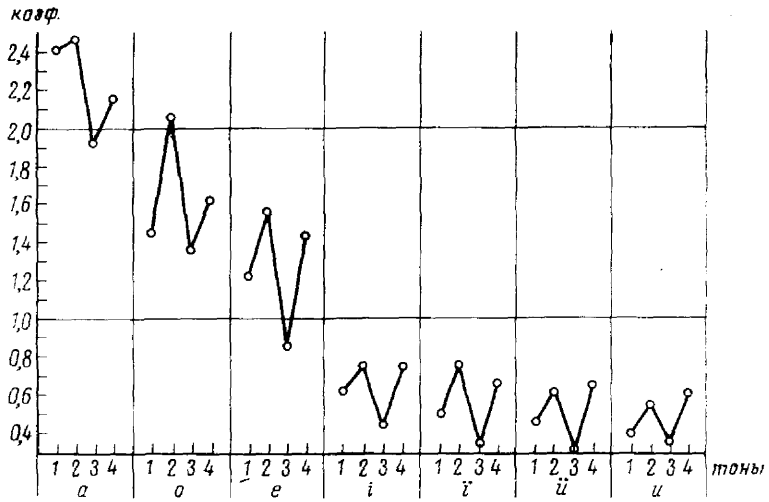


Рис. 4. Варьирование коэффициентов акустической мощности гласных по тонам

регистрируя физическую интенсивность звуков, дает суммарный показатель, являющийся отражением не только факторов, непосредственно связанных с выделением данного слога, но также отражением факторов, обусловленных явлением разномощности звуков [18], в результате чего экспериментатор получает показания, по которым можно установить лишь акустическое, а не акцентное соотношение слогов по интенсивности.

Если бы все звуки речи обладали одинаковой акустической мощностью, определение акцентной выделенности слога по интенсивности не составляло бы проблемы, во всех случаях она соответствовала бы отношению амплитуд сравниваемых звуков. Но поскольку звуки речи обладают различной собственной акустической мощностью, возрастающей с изменением силы произнесения по своей индивидуальной шкале, артикуляторное соотношение слогов может быть определено лишь с учетом коэффициентов собственной акустической мощности сопоставляемых звуков.

В лингвистической литературе давно уже ставился вопрос о необходимости определения коэффициентов собственной акустической интенсивности (мощности) звуков речи. Ср. суждения по этому вопросу Г. П. Торсуева: «Что касается силы произнесения, то, поскольку точно не установлены коэффициенты собственной физической интенсивности (сонорности) сопоставляемых звуков, трудно было бы с уверенностью утверждать, что во всех этих случаях бóльшая вершина громкости соответствует более интенсивной работе мышц дыхательного аппарата и более сильному фонационному давлению» [19]; П. С. Кузнецова: «...необ-

[17] Там же, стр. 174.
[18] Л. П. Блохина, Р. К. Потапова, Просодические характеристики речи, М., 1970, стр. 22.
[19] Г. П. Торсуев, указ. соч., стр. 123—124.

ходимо градуировать интенсивность в отношении к различным слоговым звукам, т. е. определить, какие объективные различия уровня интенсивности при разных звуках (в первую очередь гласных) целесообразно считать одним уровнем» [20].

Определению таких коэффициентов для гласных звуков китайского языка и технике их применения для установления акцентного соотношения слогов по интенсивности и посвящено наше исследование.

Определение коэффициентов акустической мощности гласных звуков китайского языка

7. Коэффициенты акустической мощности каждого из гласных вычислялись по отношению к общей средней интенсивности, полученной из суммы абсолютных интенсивностей всех гласных по четырем тонам (см. табл. 1, первые четыре графы), деленной на количество слагаемых. Относительные значения, полученные в результате такого вычисления, и были приняты в качестве коэффициентов акустической мощности каждого данного гласного (см. табл. 2).

8. Рассмотренные выше семь гласных являются монофтонгами, составляющими в структуре слога простую финаль. В целом же финали китайского языка образуют довольно сложную систему, представляющую ряд весьма интересных особенностей. Однако поскольку в задачу настоящей статьи не входит описание системы вокализма китайского языка, мы ограничимся здесь лишь теми сведениями по структуре слога и системе финалей, которые практически связаны с решением вопроса о коэффициентах акустической мощности финалей разной степени сложности.

Определение коэффициентов акустической мощности семи основных гласных китайского языка — это лишь начальный этап в решении проблемы акустической разномощности китайских финалей. Достаточно сказать, что семь основных гласных, для которых установлены коэффициенты, составляют всего лишь 1/5 общего количества финалей китайского языка, а 4/5 — это финали более сложной структуры. Чтобы не усложнять рассмотрение вопроса терминологически, условно все не «одногласные» финали будем называть сложными — это могут быть дифтонги различной структуры, финали с конечным носовым переднего или заднего ряда, трифтонги разных типов.

9. Семь основных гласных китайского языка по их роли в структуре слога можно подразделить на три группы: 1) *а*, *о*, *е*, 2) *i*, *u*, *ü*, 3) *ï*.

Гласные *а*, *о*, *е* могут самостоятельно составлять финаль слога, но чаще сочетаются с неслоговыми компонентами, образуя сложные финали. Во всех сложных финалях они выполняют функцию слогообразующего гласного.

Гласные *i*, *u*, *ü* тоже могут самостоятельно выступать в качестве финали, но по основной своей функции в структуре слога — это медиали, образующие трифтонги и восходящие дифтонги. Таким образом, в составе сложной финали эти гласные, как правило, выполняют роль неслогообразующего элемента. Лишь в некоторых случаях, когда в финалях серии «е» в результате сложного взаимодействия компонентов происходит частичная или полная редукция слогообразующего элемента *е*, вершина слога смещается на медиаль *i*, *u*, или *ü* [21].

В отличие от перечисленных выше шести гласных, «особый» гласный

---

[20] П. С. Кузнецов, К вопросу об ударении и тоне в фонологическом и фонетическом отношении, сб. «Теоретические проблемы прикладной лингвистики», М., 1965, стр. 112.

[21] А. А. Драгунов, Е. Н. Драгунова, Структура слога в китайском национальном языке, «Советское востоковедение», 1955, 1, стр. 67, 69.

ї всегда образует финаль самостоятельно и ни с какими неслогообразующими элементами не сочетается.

10. Рассмотрение вопроса о слогообразующей функции того или иного гласного в структуре слога необходимо для дальнейшего решения вопроса об акустической разномощности финалей китайского языка.

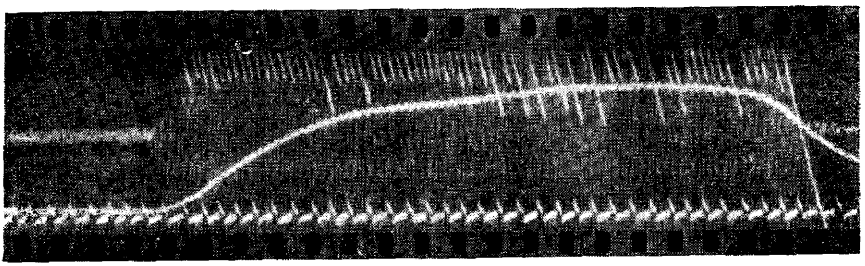


Рис. 5. Кривая интенсивности финали *a* в слове *chāde* (среднеарифметическая интенсивность финали *a* — 12,76 мм)

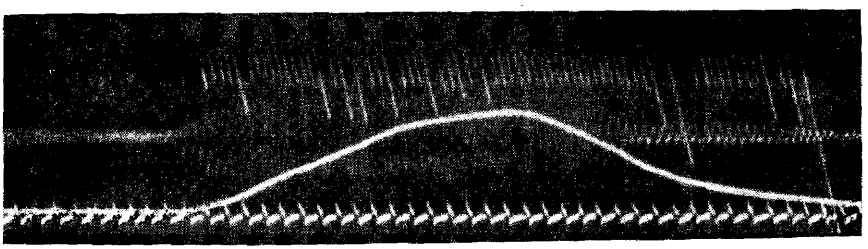


Рис. 6. Кривая интенсивности финали *an* в слове *chānde* (среднеарифметическая интенсивность финали *an* — 6,65 мм)

Известно, что при сочетании звуков в потоке речи происходит взаимовлияние соседних звуков. Это явление распространяется и на слогообразующий гласный, его артикуляция нередко изменяется под влиянием соседних неслогообразующих компонентов. Например, мы наблюдаем существенную разницу в звучании слогообразующего гласного *a* в дифтонгах *ai* и *ao* или в носовых финалях *an* и *ang*. Под влиянием конечных элементов переднего ряда *i*, *n* происходит сдвиг артикуляции гласного *a*, он становится более передним и более закрытым. Еще большие изменения в артикуляции *a* происходят в финали *ian*, где он в результате влияния двух неслогообразующих элементов переднего ряда превращается в передний гласный [æ]. Те или иные изменения происходят и с другими слогообразующими гласными.

Сдвиги в артикуляции гласного вызывают соответствующие изменения объема ротового резонатора, что в свою очередь сказывается на акустической мощности гласного и всей финали в целом. Для иллюстрации этого приводим рис. 5—7, которые показывают, насколько изменяется акустическая мощность финали в зависимости от ее структуры.

Все это говорит о том, что коэффициенты акустической мощности, полученные для основных гласных (в дальнейшем будем называть их о с н о в н ы м и коэффициентами), не могут быть применены для сложных финалей без соответствующих поправок. Нужны п о п р а в о ч н ы е коэффициенты, которые позволили бы с помощью основных коэффициентов установить акустическую мощность сложных финалей.

11. Для установления коэффициентов акустической мощности сложных финалей тем же диктором и во время того же сеанса были записаны на магнитную ленту двусложные слова аналогичной структуры, например: *shāide*, *shuāide*, *shōude* и т. п. Список, включающий слова по всем 28 сложным финалям, был прочитан диктором также шестикратно. Мы сочли возможным ограничить этот список словами только 1-го тона (в шестикратном произнесении — 168 реализаций), поскольку, во-первых, включение в список слов всех четырех тонов дало бы такое большое количество слов (672 реализации), которое физически было бы невыполнимо для

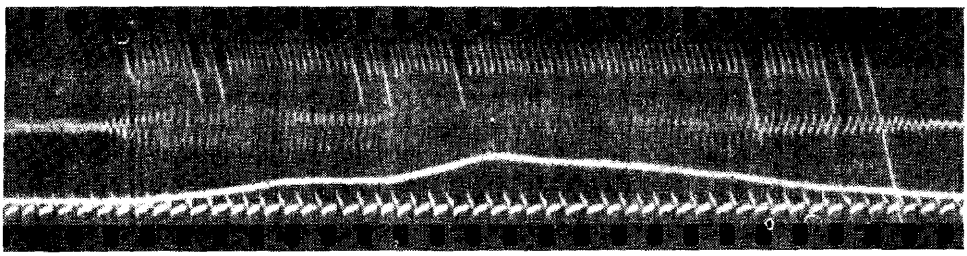


Рис. 7. Кривая интенсивности финали *ian* в слове *xiānde* (среднеарифметическая интенсивность финали *ian* — 3,19 мм)

диктора на уровне предъявляемых требований, во-вторых, тоновые различия и без того обеспечиваются основными коэффициентами.

12. Поправочный коэффициент для сложной финали определяется как частное от деления средней интенсивности сложной финали на среднюю интенсивность соответствующего основного гласного, который для данной финали является слогообразующим. Например, средняя интенсивность по шести произношениям гласного *a* 1-го тона равна 14,96 мм, а средние интенсивности по шести произнесениям финалей *an* и *ian* равны соответственно 7,60 мм и 5,52 мм; в результате деления получаем поправочный коэффициент для *an* 0,51 (т. е. 7,60 : 14,96) и для *ian* — 0,37 (т. е. 5,52 : 14,96).

Далее путем умножения основного коэффициента гласного соответствующего тона на поправочный получаем итоговый коэффициент акустической мощности сложной финали. Для финалей *an* и *ian* это будет равно: 2,40 × 0,51 = 1,22 и 2,40 × 0,37 = 0,88.

Итак, акустическая мощность сложной финали определяется по коэффициенту слогообразующего гласного (соответствующего тона) с учетом поправочного коэффициента соответствующей сложной финали (единого для всех тонов).

Определение артикуляторного соотношения слогов по интенсивности

13. Теперь с помощью найденных коэффициентов акустической мощности финалей китайского языка мы можем приступить к определению артикуляторного соотношения слогов по интенсивности, т. е. соотношения слогов по силе произнесения, которое может служить более достоверным показателем акцентной выделенности слога.

Артикуляторное соотношение слогов по интенсивности устанавливается путем почленного деления акустической пропорции финалей на пропорцию коэффициентов этих же финалей. Рассмотрим это на примере, взятом из звукозаписи текста, прочитанного тем же диктором,— *sīxiǎng* «идеология».

Слово *sīxiǎng* звучит с преобладанием силы голоса на начальном слоге. Это подтверждается и самонаблюдением диктора, который отмечает, что начальный слог в данном слове произносится с большим артикуляторным напряжением. Акустическое же соотношение слогов по интенсивности показывает обратное: преобладающим оказывается конечный слог — 0,87 : 1. Объяснение такому противоречию находим при сравнении коэффициентов акустической мощности этих финалей: *ī* — 0,50, *iang* — 0,88. Коэффициенты показывают, что финаль конечного слога является почти вдвое преобладающей по своей собственной акустической мощности, в результате чего физическая интенсивность этой финали, регистрируемая интонографом, тоже оказалась большей, чем у начального слога, финаль которого обладает меньшей акустической мощностью.

Для определения артикуляторного соотношения финалей в слове *sīxiǎng* устанавливаем сначала пропорцию коэффициентов его финалей, она равна 0,56 : 1 (т. е. 0,50 : 0,88). Пропорция коэффициентов показывает соотношение финалей по их собственной акустической мощности. Она также может служить показателем того, каким было бы акустическое соотношение слогов по интенсивности, если бы диктор произносил их с совершенно одинаковой артикуляторной силой. Далее путем почленного деления акустической пропорции (0,87 : 1) на пропорцию коэффициентов находим артикуляторное соотношение финалей, оно равно — 1,55 : 1, т. е. более чем в полтора раза преобладающим по силе произнесения оказывается начальный слог, а не конечный, как показывает акустическое соотношение.

14. Итак, мы видим, что акустическая интенсивность гласных, регистрируемая интонографом, может быть использована для определения соотношения слогов по силе произнесения, но при условии учета собственной акустической мощности гласных, которая может быть выражена в соответствующих коэффициентах.

Применение коэффициентов акустической мощности гласных снимает для лингвиста проблему акустической разномощности гласных и создает возможность исследования интенсивности как компонента ударения и интонационного способа выделения.

Предлагаемый метод исследования коэффициентов акустической мощности речевых звуков и звукосочетаний, а также принцип определения артикуляторного соотношения слогов по интенсивности применимы для всех языков.

Коэффициенты акустической мощности гласных китайского языка, разработанные нами по звукозаписям одного диктора, могут быть применены, как нам кажется, и для анализа звукозаписей других дикторов, обладающих той же произносительной нормой. В этом предположении мы основываемся на том, что каждый звук речи образуется при определенном укладе органов произношения, в силу чего все говорящие, придерживающиеся одной и той же произносительной нормы, соблюдают единые условия образования того или иного звука, что в свою очередь обеспечивает характерные для него акустические свойства, в том числе и его собственную акустическую интенсивность.

В зависимости от пола, возраста и некоторых других индивидуальных особенностей говорящего, а также в зависимости от общего уровня громкости речи, собственная акустическая мощность того или иного гласного проявляется в разном абсолютном выражении, но в относительных величинах, в соотношении разных звуков по этой акустической характеристике должно проявляться постоянство, поскольку оно связано с качественным различием звуков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ВЕЙЛЕРТ А. А.

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЧАСТОТУ СЛОВА В ТЕКСТЕ

В числе причин, которые могут оказывать влияние на частоту слова, следует различать, как известно, экстралингвистические (например, половая и возрастная принадлежность говорящего) и чисто лингвистические. Здесь нас интересуют именно последние, в частности, «возраст» лексической единицы, а также степень генетической близости и структурного сходства с соответствующей единицей «исконного словаря», к которому отнесены слова индоевропейской, германской (gemeingermanisch, ur- und altgermanisch, westgermanisch, gotisch, angelsächsisch») этимологии дописьменного периода и все слова верхненемецкого происхождения вне зависимости от их хронологии.

Подсчету подлежит этимон или, что синонимично, этимологическая единица. Это корневая (свободная) или аффиксальная (связанная) морфемы, которые были свободными, т. е. корневыми, морфемами в момент их образования (исконный словарь) или входа в язык (заимствованный словарь). Этимонами (этимологическими единицами) являются и так называемые «уникальные морфемы», такие, например, как *-(i)gall*, *-(i)gam* и др. в словах *Nachtigall*, *Bräutigam*, являющиеся в наши дни «языковыми окаменелостями» [1]. По одному этимону имеют, таким образом, слова *Mann*, *Frau*, *Kind*, по два этимона — *Mannsleute*, *Frauenkleid*, *Kinderspiel*, а также *Nachtigall*, *Bräutigam* и подобные им. Три этимологические единицы имеют *daheraus*, *dahinüber* [2] и т. д.

Заимствованные этимоны определялись по их статусу в момент входа в язык, в данном случае — в немецкий. Так, все единицы морфо-синтаксического способа словообразования, т. е. все слова субстантивированные, вербализированные, адъективизированные и т. д., отнесены к их исходным категориям — существительное *die Schaukel*, например, отнесено к глаголу *schaukeln*, существительное *der Kurze* — к прилагательному *kurz* и т. д.

Этот же принцип сохранялся при определении географической принадлежности заимствования. Существительное *der Platz*, к примеру, вошло в немецкий язык из языка-посредника — французского; и хотя на более раннем срезе словари дают его латинскую этимологию, мы относим его к заимствованиям из французского.

Исключены из рассмотрения имена собственные и их производные, включая этнические названия типа *der Deutsche*, *der Russe*, *der Amerikaner* и др.

---

[1] См.: W. Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1976, стр. 36 и сл.

[2] Использованы данные трех словарей: F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. von A. Götze, 18. Aufl., Berlin, 1960; H. Paul, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., Halle (Saale), 1960; E. Wasserzieher, Kleines etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig, 1975.

Поставленная таким образом цель исследования не может не привести к определенным обобщениям, т. е. к распространению выводов, полученных на нашем конкретном материале (магнитофонная запись спонтанной устной речи) конкретного языка (современный средненемецкий диалект в Казахстане [3]), и на другие языки.

1157 этимонов нашего материала обнаружены в 32 092 словоупотреблениях (СУ). По историческим периодам образования они располагаются следующим образом:

Период образования (заимствования)	Этимоны	СУ	Частота
ДП (дописьменный)	603	28331	47,0
ДВН (др.-в.-нем)	113	1408	12,5
СВН (ср.-в.-нем)	61	679	11,1
РНВН (ранненововерх.-нем)	33	130	3,9
НВН (нововерх.-нем)	347	1544	4,4

Обнаруживается прямая и несомненная связь между «возрастом» этимологической единицы и ее частотой — чем эта единица старше, тем и частотнее.

Регулярность этого правила нарушается, когда за основу анализа берется лексический материал, объединенный в пределах системы каким-либо признаком. Так, например, выяснилось, что иноязычный словарь (здесь и далее — этимоны иноязычного происхождения, т. е. заимствованные и иностранные) не обнаруживает связи между временем заимствования и частотой в тексте. Ср.:

Период заимствования	Этимоны	СУ	Частота
ДВН	50	280	5,6
СВН	32	125	3,9
РНВН	31	123	4,0
НВН	343	1540	4,5

Создается впечатление, что на частоту иноязычного словаря оказывают влияние какие-то контрсилы, оказывающиеся сильнее возрастного фактора. Это могут быть особенности семантики иноязычного словаря, а также особенности, связанные со степенью близости (генетической или/и структурной) иноязычного слова или любой другой лексической единицы с соответствующей моделью из исконного словаря.

Когда мы говорим об особенностях семантики, то понимаем под этим в данном случае избирательность процесса заимствования, т. е. то несомненное обстоятельство, что одни части речи (знаменательные) «охотнее» заимствуются, другие же (незнаменательные) в нашем материале до последнего времени совсем не заимствовались. Но и среди первых иноязычный материал играет самую различную роль. Воспринимаясь легко у одних типов слов (существительных), иноязычные слова «неохотно» воспринимаются другими из числа знаменательных; обнаруживая низкую частотность у существительных, они в то же время весьма частотны у других знаменательных. Избирательность такого рода в большой мере зависит не только от отношений, сложившихся между единицами этих лексико-грамматических категорий в языке, но и от количественной представленности предметов окружающего нас мира, что и позволяет квалифицировать ее обусловленность как фактор семантики. Рассмотрение семантической обусловленности иноязычного словаря тем более важно, что доля этого последнего очень высока и составляет 39,4%.

[3] Ср.: А. А. Вейлерт, О зависимости количественных показателей единиц языка от пола говорящего лица, ВЯ, 1976, 5.

Как представлен иноязычный материал в процентном отношении у знаменательных слов, насколько проницаема для иноязычного влияния та или иная лексико-грамматическая категория?

Период	Сущ.	Глаг.	Прил./Нар.	Мест./Арт.	Числит.
ДВН	19,9	1,4	4,5	—	—
СВН	17,8	5,6	8,1	—	—
РНВН	23,9	6,8	9,2	—	—
НВН	56,7	13,6	25,9	33,3	46,7

Судя по нашему материалу, процесс заимствования во все исторические периоды обнаруживал определенную избирательность: в частности, доля существительных в числе заимствований была всегда выше доли заимствований других частей речи.

Анализ количественного материала по заимствованиям заставил обратить внимание, далее, на любопытную особенность: различие частот по частям речи у исконного словаря и их одинаковость у слов иноязычного происхождения. Ср.:

Части речи	Происхождение слов	
	исконное	иноязычное
Существительное	8,4	3,6
Глагол	38,8	4,0
Прилагательное/наречие	29,5	2,0
Местоимение/артикль	463,6	3,0
Числительное	101,1	3,7
Союз	203,9	4,0
Предлог	113,6	1,0
Частица	84,5	124,0
Междометие	119,8	22,0
Итого:	42,8	4,5

Указанную особенность в частоте — малую и довольно ровную частотность иноязычного словаря — нарушают лишь два заимствованных из русского языка слова: частица *нет* в одном из диалектных вариантов и междометие *Ну*!. Все остальные, а их 454, подчиняются этой регулярности.

Семантический фактор (если принять предлагаемое здесь ограниченное толкование термина «семантика» как избирательного использования в речи единиц той или иной части речи при заимствовании) не оказывает, таким образом, заметного влияния на частоту этимона в тексте.

Обратимся к последней из упомянутых причин — к фактору близости, генетической и структурной, иноязычного словаря модели исконных слов. Под структурной близостью здесь понимается чисто формальное сходство слова с соответствующими единицами сопоставляемого словаря: по количеству слогов в слове, по степени сходства сочетаний гласных/согласных звуков в корневой морфеме, по префиксально-суффиксальному «оснащению» слова, а для устной формы речи — по разным характеристикам артикуляционной базы сопоставляемых единиц и т. д. У слов, заимствованных из близкородственных языков, можно с известным правом говорить и о структурной близости/сходстве с исконным словарем. В нашем исследовании это относится прежде всего к морфемам германских языков. Что же касается заимствований из классических, романских и славянских языков, то здесь генетические связи несколько слабее — они предполагаются лишь по линии индоевропейских корней,— что и выдвигает на первый план при сопоставительных исследованиях их структурные особенности.

Иноязычный словарь в нашем материале представлен весьма многообразно: так, 456 этимонов перешли в рассматриваемый средненемецкий

диалект из 13 языков-источников европейского ареала — из греческого, латинского, древнеанглийского, современного английского, нидерландского, шведского, нижненемецкого, французского, итальянского, испанского, польского, чешского, русского. Расположив этот материал по степени убывания средней частоты этимонов у различных языковых семей, обнаруживаем следующее:

Языковая семья	Этимоны	СУ	Частота
Германская	25	147	5,9
Романская	48	244	5,1
Классических языков	71	339	4,8
Славянская	312	1339	4,3

Итак, по степени близости к исконному словарю, если принимать за ее показатель величину средней частотности иноязычного этимона, ближе стоят родственные рассматриваемому диалекту и, тем самым, структурно близкие германские морфемы. За ними идут не классические языки, как можно было ожидать, а морфемы романской этимологии. Наименьший показатель степени родства и структурной близости обнаруживают славянские языки, в частности русский (309 ед.— русские, 2 ед.— польские, 1 ед.— чешская).

Но может быть причиной именно такой последовательности падения частот является не родство и структурная близость, а «возраст» этимологических единиц? Выяснить это можно лишь после вычисления «среднего возраста слова» (СВС) по каждой из языковых семей. Известно, например, что 25 единиц германского происхождения появились в немецком языке количественно в следующие периоды его истории: древневерхненемецкий — 3 ед., средневерхненемецкий — 8 ед., ранненововерхненемецкий — 6 ед., нововерхненемецкий — 8 ед. Возникает задача: высчитать СВС единиц германского происхождения. Решить ее не трудно. Протяженность в годах (столетиях) одного исторического периода, начиная с первого письменного, древневерхненемецкого периода, определена в 300 лет (3 ст.). Возраст морфем древневерхненемецкого периода происхождения или заимствования равен, таким образом, 12 ст., средневерхненемецкого периода— 9 ст., ранненововерхненемецкого периода — 6 ст., нововерхненемецкого периода — 3 ст., а средний возраст слов германского происхождения составляет, тем самым, 6,72 столетия или 672 года.

Точно таким же образом можно подсчитать СВС у слов различного происхождения, включая и иноязычное. У последних, если судить по нашему ограниченному материалу, возраст не заходит далее древневерхненемецкого периода. Данные по иноязычному словарю весьма интересны, поэтому остановимся на них несколько подробнее.

В табл. 1 сведены количественные данные по возрасту у этимонов одной языковой семьи в одну величину — «столетия» (ст.). Число ст. каждой языковой семьи в каждом периоде происхождения ее слов, деленное

Таблица 1

Происхождение заимств.	ДВН		СВН		РНВН		НВН		Итого		СВС
	эт.	ст.	эт.	ст.	эт.	ст.	эт.	ст.	эт.	ст.	
Германского	3	36	8	72	6	36	8	24	25	168	6,72
Романского	5	60	11	99	11	66	21	63	48	288	6,00
Классических языков	42	504	12	108	12	72	5	15	71	699	9,85
Славянского	—	—	1	9	2	12	309	927	312	948	3,07
Итого:	50	600	32	288	31	186	343	1029	456	2103	4,61

на количество этимонов, и есть СВС этой языковой семьи заимствований в столетиях или годах.

В порядке старшинства слова иноязычного происхождения располагаются в нашем материале следующим образом: классические языки, германские языки, романские и славянские языки. Общую величину СВС— 4,61 столетий можно рассматривать как единицу для сопоставления.

Выше был поставлен вопрос, что является определяющим для величины частоты слова — родство и структурная близость или возраст этимологических единиц? Ответом служит вывод, возникающий при сопоставлении данных, приведенных на стр. 102 и в табл. 1. Он не оставляет сомнений — наиболее «сильным» фактором является для иноязычного слова степень близости слова модели исконного словаря. Правильнее даже было бы говорить здесь не о степени близости, а о степени удаленности иноязычного слова от этой модели. Дело в том, что возрастной и структурно-генетический факторы не просто обладают разной силой, но и разной направленностью. Если первый можно рассматривать как положительный (любое слово, вне зависимости от его происхождения и лексико-грамматической типологии, с увеличением возраста обнаруживает и увеличение частоты), то факторы генетический и структурный воздействуют только на те слова, которые обнаруживают неидентичность с исконным словарем, т. е. на иноязычные. Равняясь нулю у исконного словаря, фактор удаленности имеет тем большую абсолютную величину отрицательных единиц, чем дальше от исконного отстоит рассматриваемый иноязычный словарь. Если выразить такого рода удаленности через —, а противоположные им и более редкие положительные факторы через +, то эти отношения могут быть выражены у иноязычного словаря следующим образом:

Факторы	Происхождение этимонов			
	герм.	роман.	класс.	слав.
Возрастн.	— — + +	— — + +	— + + +	— — — —
Генетич.	— + + +	— — + +	— — + +	— — — +
Структур.	— + + +	— — + +	— — + +	— — — +
Итого:	—4	—7	—5	—10
Степень удаленности	4	2	3	1

Наиболее удалены от исконного для средненемецкого словаря заимствования из славянских языков. То, что славянские языки относятся к индоевропейской семье языков, позволяет оставить за ними две положительные единицы. Наименьшее число «удалений» имеют германские слова — лишь 4 единицы. Именно отмеченные у иноязычных этимонов 26 «минус-факторов» и стали причиной того, что частота их снизилась до 4,5 СУ на 1 этимон в среднем. У исконного же словаря тех же периодов образования частота вчетверо выше — 17,3 на 1 этимон.

Если структурный фактор во всей его совокупности следует относить к объективной сущности языковой единицы, к ее форме, то иначе обстоит дело с другими, возрастным и генетическим, факторами. Хотя объективно существует время и место заимствования или рождения слова, в сознании носителя языка это не находит какого-либо конкретного и четкого выражения. Есть лишь безотчетное чувство, «языковое чутье», позволяющее не только отделять слова «свои» от «чужих», но и употреблять их с определенной частотой. Частота выступает, собственно говоря, как усредненный выразитель степени приближенности к понятию «свой» не только для лексических единиц, что здесь было показано, но и любой исчисляемой единицы языка. Она является, тем самым, психологическим феноменом. И то, что частота разлагается на составляющие, которые в свою очередь измеримы, может иметь значение и при определении границы между словом заимствованным и словом иностранным.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ВЕРТЕЛЬ В. А., ВЕРТЕЛЬ Е. В., РОГОЖНИКОВА Р. П.

К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

(Некоторые результаты применения ЭВМ)

Практика составления словарей имеет свои проверенные десятилетиями традиции и свою производственную «технологию», узким местом которой является организация и создание словарной картотеки. Не раз уже обращалось внимание на то, что качество словарной работы находится в непосредственной зависимости от состояния картотеки, призванной отражать все изменения, которые происходят в языке [1].

Большая картотека Словарного сектора ЛО ИЯ АН СССР к настоящему времени насчитывает более 7 млн. карточек-цитат, каждая из которых регистрирует употребление слова в каком-либо произведении различных жанров [2]. Эта картотека послужила основой для «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах, «Словаря русского языка» в 4 томах, а также для многих других специализированных словарей. Кроме того, ее материалы используются отечественными и зарубежными лингвистами при проведении различных научных исследований. Таким образом, картотека ЛО ИЯ является крупнейшим собранием словарных материалов, имеющих самостоятельное научное значение, и представляет собой незаменимый справочник слов русского языка, отражающий разнообразие значений слова, оттенков значений и употреблений, основной и вариантной формы слова, его сочетаемость и фразеологические единицы. В настоящее время на базе этой картотеки ведется работа по переизданию «Словаря русского языка» в 4 томах и «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах, а также составляются другие словари.

С течением времени изменялись способы обработки источников картотеки, совершенствовалась техника подготовительного этапа словарной работы. В картотеке за время ее существования отложилось несколько видов карточек-цитат: написанные от руки, перепечатанные на пишущей машинке или с наклеенным на листе текстом цитаты. В последнее время используются множительные аппараты, дающие возможность получать карточки непосредственно с книги по предварительно размеченному тексту.

Подготовка карточек — процесс трудоемкий и требующий затрат большого количества времени. Достаточно сказать, что научно-технический сотрудник, выполняющий эту работу, имеет норму 40—60 карточек на рабочий день (для выборки 1000 карточек нужно примерно 20 дней). Значительное время требуется для раскладки карточек по алфавиту до пос-

---

[1] См.: С. И. Ожегов, О трех типах толковых словарей современного русского языка, ВЯ, 1952, 2, стр. 95; Ф. П. Филин, О новом толковом словаре русского языка, ИАН ОЛЯ, 1963, 3, стр. 182; Ю. С. Сорокин, О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка, ВЯ, 1967, 5, стр. 23.

[2] См.: Р. П. Рогожникова, Некоторые вопросы организации словарной картотеки, «Русский язык. Источники для его изучения», М., 1971.

леднего знака в слове и, наконец, для того, чтобы ввести готовый материал в основной фонд картотеки. Вся работа проводится вручную, орудия производства при этом — ручка, в лучшем случае, пишущая машинка, клей и ножницы или (очередной шаг вперед) копировальная машина. Принятая на сегодняшний день технология предусматривает работу большого коллектива научных и научно-технических сотрудников. Все это приводит к тому, что материалы попадают в картотеку с большим опозданием. Как следствие, словари не успевают регистрировать вновь появляющиеся слова, изменения в их употреблении, сочетаемости. Попытка в этих условиях создать сколько-нибудь полный словарь затягивает работу на долгие годы. Достаточно вспомнить, что «Оксфордский словарь английского языка» в 13 томах составлялся 50 лет, издание «Словаря немецкого языка» братьев Гримм в 16 томах заняло столетие, «Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах издавался 17 лет (1948—1965). Последний обеспечивался картотекой в 6 млн. карточек, составление которой ведется с 1886 г. Ежегодно основной фонд картотеки пополняется в среднем на 50—70 тыс. карточек, обрабатывается 50—60 произведений.

Известны попытки применить средства автоматизации в лексикографических работах [3]. Такая возможность обусловлена тем, что в принятой технологии работ, наряду с творческими моментами, присутствует многократное повторение относительно простых операций. Работы по ведению картотеки может быть условно разбита на следующие этапы.

1. Из числа ранее изданных произведений и фонда текущих изданий выбираются отдельные произведения. Выбор производится в зависимости от конкретного задания с учетом определенных требований к источникам, из которых должна производиться выборка слов и сочетаний. При этом учитывается общественная значимость произведения, мастерство автора, жанровое и тематическое разнообразие источников. В дальнейшем можно предположить использование некоторого вероятностно-статистического аппарата для определения статистически достоверного числа изданий различных жанров (от всего количества литературы, издаваемой за год), подлежащих обработке.

2. Опытный лексикограф читает книгу (статью и т. п.) и подчеркивает нужные слова, полагаясь на свой опыт, языковое чутье, интуицию. Очевидно, что понятие «нужные слова» — относительное и весьма расплывчатое. Нужными словами являются в первую очередь те, которые не зарегистрированы в картотеке, или те, которые в данном контексте фиксируют новые оттенки значения, новую сочетаемость ранее известного слова. Кроме того, представляют интерес редкие слова, а также устаревшие и устаревающие слова, обращающие на себя внимание какой-либо особенностью употребления. Важны и обычные слова, употребительные в произведениях авторитетных авторов. Хотя действия выборщика регламентируют специальные инструкции и пособия по выборкам, в процессе чтения текста ряд «нужных» слов неизбежно пропускается. Происходит это под действием двух противоположных психологических механизмов: часть редких слов пропускается из-за кратковременных сбоев внимания, с другой стороны, слова, ставшие общеупотребительными, рискуют оказаться сознательно пропущенными, так как исследователь, не имеющий возмож-

---

[3] Б. Кемада, Механизация в лексикологических исследованиях, «Автоматизация и лингвистика», М.— Л., 1966, стр. 24—62; E. Schneider, Textes traités par l'ordinateur Gamma 60 pour la documentation du trésor de la langue française de XIX-e et XX-e siècles, «La français moderne», 41, 1973, стр. 220—224, 325—336, 447—448.

ности проверить наличие каждого слова в картотеке, полагает их уже ранее зарегистрированными.

3. Выборщик выписывает на карточку вручную или на пишущей машинке цитату, которая раскрывала бы смысл данного слова, и приводит на каждой карточке библиографическую ссылку, далее карточки сортируются по алфавиту и вливаются в основной фонд картотеки. Некоторый процент брака неизбежен и на этом этапе: карточка может быть плохо оформлена, взят недостаточный контекст, дана неточная библиография и т. п.

Очевидно, что прежде чем размечать текст источника для выборщика, лексикографу полезно иметь словоуказатель, где были бы зафиксированы все единицы текста с указанием страницы, а также и строки, на которой употреблено данное слово. Словоуказатель дает полное представление о том, какие лексические единицы содержатся в данном тексте. Количественные характеристики позволяют увидеть распространенность и тенденции развития отдельных явлений. Это очень существенно как в начале создания картотеки, так и в случае, когда уже накоплено большое количество материалов и происходит постоянное пополнение картотеки. Таким образом, словоуказатели способны оказать существенную помощь в деле создания и пополнения словарной картотеки. Появляется возможность контролировать выборку, в любой момент найти лексическую единицу текста, производить сопоставление по словарям и выявлять лексику, не зарегистрированную в словарях или недостаточно представленную в картотеке. Так, сопоставление алфавитно-частотных словников и словоуказателей по газетам «Правда», «Известия», а также в других источниках со «Словарем современного русского литературного языка» в 17 томах показало, что в газете «Правда» (1 XI 1970) имеется 74 слова, не зарегистрированных словарем, в газете «Известия» (8 II 1973) — 135 слов, в повести В. Катаева «Хуторок в степи» — 162 слова, в сб. «Рассказы 1962 года» — 234 слова. Анализ этих слов показал, что есть определенные группы лексики, на которые не обращают достаточного внимания при выборке. Для языка газеты, например, характерны сложные слова типа *аванпроект*, *госсектор*, *диктосистема*, *профобъединение*, *радиомеханик*, *радиомастерская*, *телеателье*, и т. п.; *детско-юношеский*, *лечебно-диагностический*, *амбулаторно-поликлинический* и т. п.[4]. Поскольку в словарном секторе ведется работа по регистрации новых слов и предполагается периодическое издание словаря-справочника «Новые слова и значения» обработка текстов периодической печати и других источников с помощью ЭВМ может существенно облегчить эту работу.

Количественные характеристики, которыми снабжается каждое слово словоуказателя, позволяют определить, какое количество частотных слов необходимо брать из текста, чтобы, с одной стороны, не упустить редких случаев, с другой стороны, не заполнить картотеку большим количеством однотипных материалов.

Работа по сопоставлению словоуказателей со словарями может проводиться как вручную, так и в помощью ЭВМ. Она требует составления справочников, которые будут иметь и самостоятельное научное значение, например, сводного словника словарей [5].

Накопление определенного количества словоуказателей, снабженных количественными характеристиками при каждом слове, даст возможность более объективно решать многие вопросы, связанные с нормативностью

[4] Такой же вывод делает Г. Я. Солганик, один из авторов «Частотного словаря языка газеты». См.: Г. Я. Солганик, Количественные характеристики языка газеты, «Вестник МГУ (Филология)», 1971, 3.

[5] Эта работа ведется в картотеке Словарного сектора.

языковых явлений. В идеале наряду с картотекой цитат в современной словарной картотеке должна быть картотека-словоуказатель по каждому источнику. Эта картотека может быть использована в самых разнообразных целях [6].

Препятствием на пути широкого использования словоуказателей при составлении словарной картотеки является высокая трудоемкость составления самого словоуказателя. Образовавшийся порочный круг может быть преодолен только в том случае, если получать словоуказатель с помощью ЭВМ [7].

В отечественной и зарубежной лингвистической практике уже накоплен положительный опыт использования ЭВМ при составлении частотных, алфавитно-частотных, обратных словарей, словарей словосочетаний и пр.[8]. Так как каждая единица словоуказателя может содержать обширную дополнительную информацию по сравнению с обычным алфавитно-частотным словарем, то потребовалось разработать специальные алгоритмы, позволяющие реализовать эту задачу на ЭВМ среднего класса. Составление словоуказателя на ЭВМ «Минск-32» было выполнено с помощью системы алгоритмов и программ, разработанных Е. В. Вертелем. Составлены словоуказатели к повести В. Катаева «Хуторок в степи», сб. «Рассказы 1962 года», «Пьесы» В. Пановой, собрание сочинений С. Есенина (т. 3, М., 1977). Каждая статья словоуказателя содержит: 1) порядковый номер словоформы, что дает возможность судить о количестве всех словоформ в тексте; 2) частоту словоформы в обработанном массиве текстов; 3) число страниц, на которых встретилась данная единица текста, что позволяет определить степень распределенности слова в тексте; 4) накопленную частоту единиц текста, которая дает возможность судить о количестве словоупотреблений в тексте; 5) собственно словоформу; 6) перечень номеров страниц, содержащих данную словоформу, с указанием частоты на каждой странице.

В зависимости от поставленной в каждом конкретном случае цели система может рассматривать в качестве номера «страницы» номер главы, раздела или даже книги. Для получения словоуказателя к произведениям С. Есенина потребовалось около 4 часов машинного времени. Для перфорации (подготовки текстов для ввода в ЭВМ) затрачивается 1—1,5 часа на одну тысячу словоформ. Важно отметить, что заперфорированные тексты могут многокр тно использоваться для обработки с раз-

[6] О значении словоуказателей для работы как лексикографов, так и специалистов других областей языкознания, а также литературоведов см.: О. В. Творогов, Словоуказатели как вид лексикографического труда, «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов», III, М., 1975; Р. В. Бахтурина, Словоуказатели к изданиям древнерусских памятников письменности разных эпох, там же; Е. В. Чешко, Некоторые проблемы словоуказателя к изданию среднеболгарских текстов, там же.

[7] Ср.: B. Bilokur, Concordance to the Russian poetry of F. I. Tjutčev, Brown University Press (Providence), 1975.

[8] Ср.: А. В. Зубов, Э. Н. Хотяшов, Статистический анализ текста с помощью электронно-вычислительной машины, «Энтропия языка и статистика речи», Минск, 1966, стр. 118—166; В. А. Вертель, Е. В. Вертель, Алгоритм получения частотного словаря с учетом длины словоформ, «Статистика текста», 2, Минск, 1970, стр. 290—311; T. Jakubaite, Latviešu valodas biežuma vārdnica, 1—4, Rīga, 1966—1976; «Частотный словарь общенаучной лексики», под ред. Е. М. Степановой, М., 1970; Г. П. Полякова, Г. Я. Солганик, Частотный словарь языка газеты, М., 1971; «Обратный словарь русского языка», М., 1974; «Частотный словарь русского языка», под ред. Л. Н. Засориной, М., 1977; «Compendia. Computer-generated aids to literary and linguistic research», ed. by prof. R. A. Wisbey, 1—8, Leeds, 1968—1976; M. Spevack, Concordances, old and new, «Computer studies in the humanities and verbal behavior», 4, 1973, стр. 17—19; M. Spevack, The Harvard concordance to Shakespeare, Cambridge (Mass.), 1974; R. L. Venezky, Computational aids to dictionary compilation, «A plan for the dictionary of old English...», Toronto, 1973.

ными целями (частотные словари, обратные, выборка словосочетаний и пр.). Практический опыт использования словоуказателей, полученных на ЭВМ, показывает, что они ускоряют работу по обработке текстов для картотеки при одновременном повышении ее качества.

Следующая задача состояла в том, чтобы с помощью ЭВМ автоматизировать и ускорить процесс получения словарных карточек по заданному списку слов. Можно считать, что цель будет достигнута в том случае, если на выходе ЭВМ будут получены карточки, соответствующие принятому стандарту.

Остановимся на некоторых трудностях, которые потребовалось при этом преодолеть. На первый взгляд кажется, что достаточно ввести в ЭВМ исходный текст, задать набор ключевых слов и, при наличии специально разработанной программы, ЭВМ выполнит заданную работу. Понятно, что программа должна в данном случае моделировать сознательную деятельность человека-выборщика. Это наводит на мысль, что программа может быть реализована, если ее алгоритм будет всецело отражать ту часть инструкции для выборщиков, где речь идет об оформлении словарных карточек и библиографических указаний при цитате.

Однако, хотя в имеющемся «Пособии по выборкам» [9] обобщен многолетний опыт по созданию картотеки и выборке карточек, сделаны важные рекомендации по унификации получаемых словарных карточек, оно рассчитано на человека-выборщика. Таким образом, потребуется создание инструкции, регламентирующей процесс получения словарных карточек на ЭВМ. Она может базироваться на указанном пособии и на учете опыта обработки текстов на ЭВМ. При этом должна последовательно учитываться главная особенность нашего кибернетического помощника — требование полной однозначности и ясности при действии в любой конкретной ситуации. Ни в коей мере нельзя ориентироваться при этом на использование эвристических способностей, присущих человеку. Ясно, что в инструкцию потребуется внести некоторые ограничения и уточнения.

Для функционирования комплекса программ по выборке цитат из текстов с помощью ЭВМ требуется предварительно сообщить системе все тексты, подлежащие обработке. В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют достаточно надежные и серийные читающие автоматы [10], позволяющие вводить алфавитно-цифровую информацию непосредственно с документа в память ЭВМ и устройства подготовки данных непосредственно на магнитную ленту и магнитные диски, приходится ориентироваться на использование традиционных носителей первичной информации — перфоленту и перфокарты.

Весьма важным моментом является разработка способа указания машине библиографических сведений, характеризующих данные текста. Человек без особого труда выделяет автора произведения, его название, номер текущей страницы, действующее лицо и т. п., при этом он пользуется набором формальных признаков, недоступных машине. Более того, даже выделение конца стихотворной строки в поэзии, действующего лица в драматургии, абзацев в прозе при отсутствии заданных помет на носителе первичной информации представляет собой неразрешимую задачу для ЭВМ.

При выборе способа указания компьютеру всех необходимых данных, как то: название произведения, литературный источник, а также выделение глав, номеров страниц, действующих лиц в драме, которые необходимы для получения библиографической отсылки, обозначение концов

[9] «Разработка лексики и фразеологии современного русского литературного языка. Пособие по выборкам», Л., 1972.

[10] Н. Н. Савета, Читающие автоматы, М., 1971.

стихотворных строк, выделение абзацев, следует учитывать два принципиальных момента: 1) способ задания необходимых данных на перфоленте должен отличаться максимальной технологичностью, быть достаточно простым, чтобы не вызывать затруднений у оператора-перфораторщика; 2) исходный текст при этом должен содержать минимум условных значков, так как предполагается статистическая и прочая обработка записанных текстов, например, с целью получения словоуказателя.

С учетом этих соображений были приняты в системе перфорации следующие обозначения: а) конец строки в поэзии обозначается двумя пробелами; б) конец строфы в поэзии обозначается тремя пробелами; в) номер страницы выделяется служебным символом (кто-там) перед первой цифрой номера страницы. При этом разрыв слова при переносе со страницы на страницу не допускается. Если некое слово XXXXX начато на i-й странице и перенесено на $i + 1$ страницу, то оно считается принадлежащим целиком i-й странице. Сразу после окончания этого слова перфорируется $i + 1$ номер страницы. Максимальный номер страницы, предусмотренный в нашей системе,— 9.999; г) конец абзаца в прозе, конец монолога или реплики в драме отделяются двумя пробелами; д) для выделения в текстах слов типа: глава, действие, эпилог, сцена, а также названий произведений и пр. вводится список специальных обозначений. Он включает слова: автор, название, том, глава, действие, сцена, акт, раздел, эпилог, предисловие, послесловие. При необходимости в дальнейшем список может быть расширен. Для того чтобы программа могла отличить такие слова и фразы, они выделяются символами =.....=. Например, = глава 15 =; е) в тех случаях, когда стихотворение не имеет названия, а выделено лишь символами ***, при перфорации вводится аналогично = = = (ввиду отсутствия в коде М-2 символа *). При этом первая строка считается условно названием стихотворения.

Приводим образец перфорации текста [11].

= автор С. Есенин = = название Собр. соч. т. 3, М., 1967 = = поэзия = X9 = заглавие Письмо матери =

Ты жива еще моя старушка? ␣ ␣
Жив и я. Привет тебе, привет! ␣ ␣
Пусть струится над твоей избушкой ␣ ␣
Тот вечерний несказанный свет. ␣ ␣ ␣
Пишут мне, что ты, тая тревогу, ␣ ␣
Загрустила шибко обо мне, ␣ ␣
Что ты часто ходишь на дорогу ␣ ␣
В старомодном ветхом шушуне. ␣ ␣ ␣
. . . . . .
=== X 11 Мы теперь уходим понемногу ␣ ␣
В ту страну, где тишь и благодать. ␣ ␣
Может быть, и скоро мне в дорогу ␣ ␣
Бренные пожитки собирать. ␣ ␣ ␣
. . . . . .

Запись и обработка исходных текстов с целью получения словоуказателя и словарных карточек производилась комплексом программ [12] с идентификаторами ВИЗА2, МАРКА, СЮИТА, РГПИТ и ЛОИЯ1. В настоящее время ведется разработка программ для составления словоуказателя и карточек на ЭВМ типа ЕС.

Словарные карточки и словоуказатели получены по одним и тем же заперфорированным текстам. Программа ЛОИЯ1 выдала на печать 2500

[11] Значком ␣ отмечен пробел.

[12] Алгоритмы и программы указанного комплекса разработаны Е. В. Вертелем.

карточек в течение часа (предварительно исходный текст был записан на магнитную ленту). На карточке печатается ключевое слово, дата, время счета, цитата и библиографическая отсылка. Размер карточки строго соответствует стандартному. Большое внимание было уделено размещению цитаты на карточке. Каждая стихотворная строка начиналась с новой строчки. В случае, если строка не укладывается в размер карточки, делается перенос, при этом слово переносится целиком.

Формальное определение минимально достаточного контекста представляет собой в настоящее время сложную лингвистическую задачу. Несколько проще дело обстоит со стихотворными формами, где строфа определяет обычно логические границы контекста. В прозе или в драме контекст может ограничиваться одним предложением или заданным числом единиц влево и вправо от ключевого слова.

Дальнейшее развитие автоматизации лексикографических работ может проходить как по линии закрепления уже достигнутых результатов и опыта, так и по пути расширения поисковых работ. Говоря о внедрении в повседневную лингвистическую практику положительного опыта использования ЭВМ, необходимо отметить, что в этом вопросе наметился характерный для ряда наук разрыв между уровнем экспериментальных и опытных работ и степенью их внедрения. С одной стороны, он объясняется наличием определенного психологического барьера, связанного с недостатком у лингвистов опыта использования машинных результатов. С другой стороны, для современной вычислительной техники и программных комплексов характерно быстрое моральное старение.

Дальнейший прогресс в вопросах обработки текстов на ЭВМ будут стимулировать следующие факторы: 1) развитие технических средств вычислительной техники: достаточно указать на резкое увеличение оперативной и внешней памяти ЭВМ, быстроты ее действия, расширение системы команд и набора внешних устройств (магнитные диски, дисплеи); 2) прогресс в области систем математического обеспечения; 3) наличие многочисленных исследований по изучению статистических закономерностей письменного текста. Как показывает наш опыт, последовательный учет лингвистической природы обрабатываемых объектов и вероятностно-статистических характеристик позволяет реализовать программы, требующие меньших затрат машинного времени, что значительно удешевляет функционирование программных комплексов.

Необходимо остановиться на возможности переноса всей словарной картотеки на магнитные носители (магнитные ленты или магнитные диски). Реализация такого проекта на базе ЕС ЭВМ с памятью на магнитных дисках при наличии комплекса терминалов (дисплеев) позволит: 1) обеспечить вызов на экран дисплея любой словарной карточки по заданному ключевому слову; 2) реализовать коллективный метод доступа к словарной картотеке в режиме разделения времени; 3) иметь необходимое число легко обновляемых копий всей словарной картотеки или требуемой ее части; 4) обеспечить безопасность и сохранность картотеки, являющейся по существу национальным достоянием.

Учитывая масштабы и значимость подобной работы, можно предварительно отработать все технические детали на реальной модели, в качестве которой может быть использован раздел картотеки на одну из редких букв алфавита.

Таким образом, мы считаем, что уже сейчас возможно применение средств автоматизации в словарной картотеке. Использование словоуказателей, получение карточек с помощью ЭВМ повысят эффективность работы картотеки, сделают картотеку более объективным и надежным источником лексикографической работы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

КУЗНЕЦОВА О. Д.

О ПОНЯТИИ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ. ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ГОВОРАХ

Термин «лексикализация» в языкознании прежде всего стал применяться для обозначения процесса преобразования свободных словосочетаний или групп слов в устойчивые фразеологические словосочетания. Надо заметить, что наблюдение этого процесса в языке и номинация его не совпадают по времени. Языковое явление уже было отмечено и описано, однако еще не получило определенного наименования. Как известно, первые описания процесса преобразования свободных словосочетаний в устойчивые фразеологические связываются с именами И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ш. Балли, Я. Розвадовского, А. А. Шахматова, Г. Пауля. И хотя они еще не пользовались словом «лексикализация», но по существу имели в виду именно это языковое явление.

Уже на раннем этапе изучения устойчивых фразеологических сочетаний были отмечены такие их признаки, как целостность значения, невыводимость его из значений компонентов. Эту особенность имел в виду Ш. Балли, когда писал о «забвении смысла составных частей» фразеологического сочетания [1]. По наблюдению Я. Розвадовского, устойчивые словосочетания семантически воспринимаются как единства [2]. Было отмечено также, что в предложении фразеологические сочетания функционируют как один член предложения. Именно эти особенности (семантическая целостность, функционирование в речи в качестве отдельных слов), сближающие их со словами и дали основание исследователям назвать лексикализацией процесс превращения свободных словосочетаний в устойчивые. Этот процесс понимался как появление языковых единиц, схожих со словами, подобных словам.

По-видимому, впервые слово «лексикализация» для обозначения указанного процесса было использовано представителями Пражского лингвистического кружка [3]. Постепенно термин входит в научный оборот и получает в дальнейшем наибольшее распространение в работах по лексикологии и особенно по фразеологии [4]. Однако в русистике вплоть до 50-х годов термин «лексикализация» не был еще общепринятым. Достаточно сказать, что в известных статьях В. В. Виноградова о фразеологии

---

[1] Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, стр. 88, 97.

[2] J. Rozwadowski, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg, 1904, стр. 14.

[3] См.: «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в кн.: «Пражский лингвистический кружок. Сборник статей», М., 1967, стр. 27.

[4] См.: А. М. Бабкин, Русская фразеология, ее развитие и источники, Л., 1970; А. И. Федоров, Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX в., Новосибирск, 1973; Я. Балаж, Синтагматизация и лексикализация (к теоретическим вопросам лексикологии и лексикографии), сб. «Лексикология и лексикография», М., 1972; и др.

этот термин не используется [5]; не употребляется он и в статьях С. И. Ожегова и Б. А. Ларина [6].

Интенсивное изучение словарного состава языков, рост лексикологических и фразеологических исследований в 50—60-е годы способствует постепенному сложению в русской науке понятия «лексикализация». В качестве термина, обозначающего это понятие, начинает активно употребляться слово «лексикализация». Это находит подтверждение в словарях лингвистических терминов, изданных в Советском Союзе в 60-х годах [7]. Понятие «лексикализации», «лексикализованные сочетания» рассматриваются теперь в учебниках по введению в языкознание, например, Р. А. Будагова («Введение в науку о языке», М., 1965, стр. 336), А. А. Реформатского («Введение в языковедение», М., 1967, стр. 121—123), В. П. Перетрухина («Введение в языкознание», Белгород, 1968, стр. 139, 164, 166) и др.

Вместе с распространением слова само понятие лексикализации начинает расширяться. Слово получает разные значения. О. С. Ахманова «лексикализацией» называет превращение отдельной формы слова (если последняя начинает употребляться в особом значении) в самостоятельное слово. Например, форма мн. числа существительного *амур — амуры* получает новое значение, отличное от значения слова *амур* (признание лексической отдельности за формой слова, имеющей особое значение, в данном случае опирается на соответствующее понимание омонимии) [8].

Лексикализация, по мнению Д. Н. Шмелева, это также образование нового слова из отдельных форм его вследствие изменения лексического значения и грамматико-синтаксической функции [9]. «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (М., 1966), как бы подводя итоги сделанному в изучении лексикализации, следующим образом толкует значение слова лексикализация: «**Лексикализация**. Процесс превращения некоторого элемента (морфемы и т. п.) или сочетания элементов (словосочетания) в устойчивый элемент языка, функционирующий в качестве эквивалента отдельного слова». Из этого определения видно, насколько широкое содержание уже вкладывалось русскими лингвистами в понимание термина. Оно было близко к тому, которое к этому времени выработалось в европейской лингвистике и нашло отражение, например, в словаре лингвистических терминов Ж. Марузо («Лексикализация элемента есть включение его в состав словаря») [10].

---

[5] В. В. Виноградов, Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины, «ЛГУ. Труды юбилейной научной сессии. 1819—1944 гг. Секция филологическая», 1946; его же, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сборник статей и материалов», под ред. акад. С. П. Обнорского, М.— Л., 1947; В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5.

[6] С. И. Ожегов, Вопросы лексикологии и лексикографии, в кн.: «Лексикология. Лексикография. Культура речи», М., 1974, стр. 228—244; Б. А. Ларин, Очерки по фразеологии (о систематизации и методах исследования фразеологических материалов), «Уч. зап. ЛГУ», 198. Серия филол. наук, 24, Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике, стр. 200—224.

[7] В «Словаре лингвистических терминов», изданном в Киеве в 1957 г., имеется статья «Лексикалізоване сполучення». Лексикализованные сочетания здесь отождествляются с фразеологическими единицами: «Лексикалізо́ване сполу́чення — див. *Фразеологічна одиниця*» и далее «Стійне сполучення слів, що виступає в мові як єдиний неподільний на складові частини вислів» (Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич, Словник лінгвістичних термінів, Київ, 1957, стр. 87, 209). Так же в «Словаре лингвистических терминов» Р. Грабис, Д. Барбаре, А. Бергмане (Рига, 1963).

[8] О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 133.

[9] Д. Н. Шмелев, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 46.

[10] Ж. Марузо, Словарь лингвистических терминов, М., 1960, стр. 146.

Обращает на себя внимание значение слова «лексикализация», с которым оно употребляется в «Проекте фонологической терминологии» Пражского лингвистического кружка. Как известно, в «Проекте» говорится о так называемых фонологических лексикализованных особенностях, служащих для различения слов; причем авторами имелись в виду такие случаи, когда отличие в одной фонеме и размежевание в значениях приводят к образованию самостоятельного слова с новым значением [11]. Примерами в русском языке могут служить глаголы разговорно-просторечного стиля типа *крикануть*, *свистануть*, *долбануть*, отличающиеся от соответствующих нейтральных *крикнуть*, *свистнуть*, *долбнуть* своим фонетическим обликом, а также ярко выраженной экспрессивностью и значением (как известно, эти глаголы обозначают не просто однократное действие, но такое действие, производимое с большой силой, энергично, а иногда внезапно). Таким образом, как и в предыдущих случаях, сущность явления, обозначаемого термином «лексикализация», заключается в образовании новых слов. Едва ли прав поэтому редактор русского издания «Лингвистического словаря Пражской школы», назвавший «неоправданным» употребление слова «лексикализованный» в сочетании «лексикализованные фонетические различия» [12].

Новое, необычное понимание термина «лексикализация» сложилось в польской науке. На формирование его большое влияние оказали взгляды крупнейшего польского лексиколога и лексикографа В. Дорошевского. Под лексикализацией он понимал утрату словом понятийной структуры, процесс забвения связей с родственными словами, выпадение слова из группы родственных слов. В самом понятии о предмете исчезают представления о связи его с другими словами, так как эти связи умирают. Представления о предмете концентрируются только на нем одном. В. Дорошевский пишет: «В тех случаях, когда существительное является не только прилагательным „в субстантивном употреблении", но и отличается от производящего слова своей структурой, т. е. его показателем является словообразовательный формант, в определении заглавного слова будут преобладать структурные или предметно-семантические элементы в зависимости от степени лексикализации определяемого слова» [13]. Эта своеобразная трактовка термина нашла отражение и в словаре польского языка [14]. Понимание В. Дорошевского, на первый взгляд кажущееся необычным, лежащим не в русле общепринятого применения этого термина, в действительности опирается на понимание фразеологических сочетаний Ш. Балли. Дело в том, что швейцарский ученый сделал объектом своего изучения главным образом те фразеологические сочетания, в которых составляющие их слова полностью утратили свою независимость и свое значение (по его терминологии «фразеологические единства»). Он настойчиво подчеркивал сходство таких единств со словами, находя его в связанности составных частей, в единстве значения. Ш. Балли говорит о «наивысшей степени спаянности» их, о «полной связанности элементов». По его словам, «психологически это одно слово, одна лексическая единица». Исходя из этого, Ш. Балли не видел принципиальной разницы между

[11] TCLP, 4, 1931, стр. 321.

[12] См.: Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 182 (примеч.).

[13] В. Дорошевский, Элементы лексикологии и семиотики, М., 1973, стр. 236 и 223—230.

[14] Слово «Leksykalizacja» имеет в этом словаре следующее толкование: «Преобразование слова с четким словообразовательным строением в слово, осознаваемое как целостное, выполняющее свою функцию независимо от своих этимологических составных частей» («Słownik języka polskiego», red. naczelny W. Doroszewski, IV, Warszawa, 1963).

франц. *toujours* «всегда», *parfois* «иногда» и *bon sens* «здравый смысл», *avoir lieu* «иметь место», поскольку отличительной особенностью тех и других является целостность значения, а их различие оказывается только чисто внешним, проявляется только графически [15]. Заметим, что и В. В. Виноградов, характеризуя фразеологические сращения, отметил ту их особенность, которой они схожи со словами без внутренней формы («...легче и естественнее всего выделяется тип словосочетаний — абсолютно неделимых, неразложимых, значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значения их компонентов и так же условно и произвольно, как значение немотивированного слова-знака» [16]).

Термин «лексикализация», все более расширяя сферу употребления, начинает применяться для обозначения различных явлений, наблюдаемых в лексике. В известной книге В. Дорошевского он употребляется как синоним термина «номинация». Показательны в этом отношении следующие слова В. Дорошевского: «Тот факт, что слова с разной структурой могут быть в разных языках знаками одного и того же десигната, объясняется тем, что самая важная функция каждого слова — именно обозначение десигната, а не пробуждение в памяти говорящих морфологических ассоциаций. Превосходством ситуационных раздражителей над действием воспоминаний объясняется всеобщность процесса лексикализации в разных языках» [17].

В последнее время в лексикологических работах можно отметить некоторую терминологическую расплывчатость слова «лексикализация», неточность применения его [18]. Что касается фразеологических работ, то приходится отметить, что в связи со все более углубленным исследованием фразеологии, наблюдением и описанием не только внешних, но и внутренних особенностей фразеологических сочетаний, термин «лексикализация» утрачивает свою актуальность и употребляется реже. На смену ему приходят другие наименования процесса превращения свободных сочетаний в устойчивые и среди них чаще всего — фразеологизация [19].

В конце 50 — начале 60-х годов, когда обсуждался «Проект» сводного «Словаря русских народных говоров», появилась необходимость в номинации диалектных отличий, не имеющих закономерного характера. Незакономерные (нерегулярные) изменения фонетического облика слов в диалектах, заключающиеся в отпадении (*γарóд*, *γурéц*, *киян*), приставке (*альняно́й*, *аржано́й*), замене (*гумага*, *јенерал*) фонем и т. п., реализуются в отдельных словах. Они характеризуют фонетический облик конкретных слов (количество которых обычно невелико). Такие особенности были названы лексикализованными. Диалектные слова, имеющие такие особенности, материально незначительно отличаются от литературных, но их

---

[15] Ш. Балли, указ. соч., стр. 87—97.

[16] В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, в кн.: «А. А. Шахматов...», стр. 345.

[17] В. Дорошевский, Элементы лексикологии и семиотики, стр. 257.

[18] См., например, ст.: И. В. Червенкова, О лексикализации уменьшительных существительных в современном русском литературном языке, ФН, 1961, 2; Л. И. Осипова, К вопросу о деэтимологизации лексикализованных деминутивов в русском языке, «Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской», т. 278, вып. 17, 1970, стр. 183, 186; и некот. др.

[19] Л. И. Ройзензон, Фразеологизация как лингвистическое явление, «Труды Самаркандск. гос. ун-та им. А. Навои». Новая серия, 113. Кафедры иностранных языков, 1961; В. И. Кодухов, Фразеологизация как лингвистическое понятие, в кн.: «Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Тезисы докладов межвузовской конференции 30 мая — 2 июня 1965 г.», Вологда, 1965; С. Г. Гаврин, Фразеологизация элементов речевого потока как лингвистическое явление (В связи с проблемой развития фразеологического состава), сб. «Вопросы русского языка и методики его преподавания» («Уч. зап. Перм. пед. ин-та», 34), Пермь, 1966; и др. работы.

отличия являются результатом действия различных тенденций диалектных систем, поэтому и сами слова приобретают специфически диалектный характер.

Впервые существование лексикализованных явлений в говорах с четкостью и определенностью показал Ф. П. Филин. Ему же принадлежит научное определение и теоретическое объяснение этих явлений: «Обычно незакономерные фонетические и морфологические особенности слов, ввиду того, что они выпадают из фонетической и морфологической систем языка (диалекта), называют лексикализованными, а сам процесс перевода живого закономерного явления в отмершее, разрушающееся или вовсе разрушенное и сохранившееся только в „отдельных", пережиточных примерах,— лексикализацией. Указанные особенности, переставая быть элементами фонетической или морфологической системы, теряя свою регулярность, „растворяются" в корнях слов, таким образом становясь элементами лексики» [20].

В основе такого объяснения лежит понимание подобных явлений, предложенное представителями Пражской школы («лексикализованные фонологические различия»). Однако истоки такого подхода можно найти и в отечественном языкознании, у А. А. Шахматова, который допускал возможность изменения фонетического облика слов по причинам нерегулярным, т. е. признавал наличие фонетических особенностей, характеризующих отдельные слова («Замена общерусского *посидѣть* через *пасядзѣть*.... объясняется лексикологически») [21].

Под «звуковыми диалектными различиями» Р. И. Аванесова и Л. П. Жуковской, не относящимися к фонетической системе языка, собственно надо видеть те же лексикализованные диалектные особенности [22]. В этом легко убедиться, так как позже в книге «Русская литературная и диалектная фонетика» Р. И. Аванесов для обозначения подобных явлений пользуется термином «лексикализованный» [23].

Понимание лексикализации фонетических диалектных явлений, впервые предложенное Ф. П. Филиным, получило широкое распространение в русской диалектологической литературе. Теперь стало обычным называть термином «лексикализованный» фонетические явления, реализация которых незакономерна и ограничена определенным (небольшим) кругом слов [24].

Чаще всего лексикализации подвергаются отмирающие фонетические явления, утрачивающие регулярность, закономерность реализации. В настоящее время говоры русского языка дают возможность наблюдать по-

---

[20] Ф. П. Филин. О лексикализированных фонетико-морфологических вариантах слов в русских говорах, сб. «Лексика русских народных говоров», М.— Л., 1966, стр. 27.

[21] А. А. Шахматов, История русского языка, ч. II, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 102.

[22] «Вопросы теории лингвистической географии», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1962, стр. 43—46, 160—165.

[23] Р. И. Аванесов, Русская литературная и диалектная фонетика, М., 1974, стр. 4, а также стр. 137—138, 166—167.

[24] См. ст.: Е. А. Комшилова, Итоги диалектологических экспедиций МГПИ им. В. И. Ленина в 1957 и 1958 гг., «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», т. 134, вып. 9, 1959, стр. 259; И. Д. Самойлова, О фонетических особенностях говора Опаринского района Кировской области, там же, стр. 314; А. И. Иванова, О принципах составления Смоленского областного словаря (отбор слов, состав словника), «Уч. зап. Смоленск. пед. ин-та», вып. XIII, часть первая. Вопросы грамматики русского языка и методики его преподавания, 1964, стр. 110; Ю. Ф. Дениценко, Шепелявые свистящие в печорских говорах, сб. «Севернорусские говоры», 1, Л., 1970, стр. 73; Л. Л. Касаткин, О фонеме [γ] в севернорусских говорах в связи с историей произношения [j] в имени *Олья* (*Ольга*), сб. «Очерки по фонетике севернорусских говоров», М., 1967; и мн. др.

добные процессы довольно часто. Изучение современной языковой действительности показывает, насколько непростую картину представляют собой диалектные системы, как причудливо с разнообразными отступлениями и отклонениями реализуются диалектные явления. «Столкновение» одной особенности с другой приводит к различным осложнениям фонетических закономерностей. Лексическое наполнение фонетических особенностей чрезвычайно осложняет фонетическую систему диалектов. С. С. Высотский, например, описывая типы предударного вокализма современных южнорусских говоров, характеризует их как явления необыкновенно сложные, с отклонениями от регулярных позиционных чередований гласных, нарушающих «стройность» таких чередований. Отклонения группируются по лексическим и морфологическим категориям [25]. Об изучении фонетических явлений «в их реальном бытовании, в необходимых случаях даже исчерпывая весь лексико-морфологический состав», говорит Р. И. Аванесов [26]. По его мнению, только в этом случае можно решить, что относится к фонологической системе, а что лексикализовано или морфологизовано.

Н. Дурново, описавший говор д. Парфенки Московской области, отметил в нем наличие произношения *м* на месте *в*, указав при этом, что эта особенность не выдержана строго [27]. Наблюдение того же говора в 50-е годы показало, что такое произношение характеризует фонетический облик только некоторых слов (*мнук*, *мнучка*, *кромный*, *рамно*), т. е. это явление уже лексикализовано [28].

Лексикализованными оказываются, например, разнообразные диалектные особенности незакономерного характера. Как правило, они реализуются в небольшом количестве слов. Таковы, например, так называемые «обратные переходы», явления, возникшие на почве закономерных явлений. Так, например, замена сочетания *хв* звуком *ф* (*фост* «хвост») в говорах, где на месте *ф*, как правило, произноится *хв*, лексикализована, т. е. реализуется в нескольких словах. В говоре с. Зимницы Жиздринского уезда Калужской губ. собиратель Щепетов в ответе на программу МДК отмечает произношение *у* и *ў* на месте *в*. В то же время он сообщает о наличии в этом говоре «обратной» мены: произношение *в* на месте *у* в определенных конкретных словах, как *вшла* «ушла», *вдарить* «ударить», *не вмеет* «не умеет», *въехал* «уехал» (Тр. МДК, вып. III, 1914, стр. 82).

Лексикализованный характер имеют изменения фонетического облика слов, происшедшее в результате межслоговой ассимиляции или диссимиляции звуков. Они наблюдаются в отдельных словах, количество которых невелико: в говорах южной части Кольского п-ова И. С. Меркурьев зарегистрировал замену *м* звуком *н* (в результате ассимиляции по месту образования) в слове *земь* (из *земля*) в сочетаниях *на з'ён'* «на землю», *в з'ен'* «в землю, вниз» и в выражении *зен'и оддали* «похоронили». Диссимиляции обязаны в этих говорах форма слов *прóлуба* «прорубь», *пролýбн'ик* «человек, прорубающий прорубь», *пролýбно* «плата за прорубание проруби» [29].

[25] С. С. Высотский, К проблеме изучения вокализма южнорусских говоров, сб. «Русские говоры», М., 1975, стр. 12.

[26] Р. И. Аванесов, Русская литературная и диалектная фонетика, М., 1974, стр. 4.

[27] Н. Н. Дурново, Описание говора деревни Парфенок Рузского уезда Московской губернии, РФВ, т. 49—50, 1903, стр. 64—147.

[28] Т. Г. Паникаровская, Изменения в области фонетики в говоре деревни Парфенки Московской области в советский период, «Вопросы теории и методики русского языка», («Уч. зап. Вологодск. пед. ин-та», т. 33, вып. II), Вологда, 1967, стр. 146—147.

[29] И. С. Меркурьев, Мурманский говор (Консонантизм), Мурманск, 1962, стр. 5—6, 11.

Дальнейшее наблюдение и исследование лексикализованных диалектных особенностей позволили прийти к заключению, имеющему важный принципиальный характер. Оказалось, что не все лексикализованные явления, как предполагалось ранее, связаны с явлениями отмирающими или отмершими. Нередко их существование обязано явлениям живым и действующим. Примером может служить весьма интересный случай лексикализованного явления отпадения начальных гласных (*γарóд*, *γурéц*, *кия́н*), получившее распространение в юго-западных говорах. Отпадение начальных гласных наблюдатели характеризуют как живое фонетическое явление современных говоров. При этом замечается, что оно не имеет регулярного характера. Несмотря на то, что реализация его осуществляется при наличии определенных условий, все же эти условия не строго обязательны. Характерной особенностью отпадения начальных гласных является следующее: это явление наблюдается не во всех формах слова, поэтому фонетический облик слова, как правило, сохраняется. Кроме того, отпадение начальных гласных вообще явление факультативное: при наличии тех же самых условий гласный не отпадает, т. е. в большинстве случаев отпадение начальных гласных не вызывает закрепления нового облика слова. Следовательно, обычная реализация его не связана с определенными словами: ряд слов, в которых оно наблюдается, остается открытым.

В то же время на базе этого живого незакономерного нерегулярного фонетического явления происходит процесс закрепления у отдельных слов нового измененного облика. Это наблюдается у таких слов, сочетание фонетических, слоговых и акцентных условий которых наиболее благоприятствует такому закреплению. Слова *огурец*, *огород*, *океан* и некоторые другие в юго-западных говорах известны в новом фонетическом облике (*гурéц*, *горбд*, *кия́н*), так как именно они имеют постоянное ударение на третьем слоге от начала (отпадение начальных гласных наиболее часто наблюдается во втором предударном слоге). Их положение в лексической системе диалектов характеризуется тем, что одни из них (*океан*) не имеют родственных слов, а у других их мало. И первая, и вторая особенности в отдельности способствуют закреплению нового фонетического облика; в данном же случае наблюдается сочетание обеих особенностей. Именно этим объясняется тот факт, что в ряде юго-западных говоров вместо слов *огурец*, *огород*, *океан* появились новые слова — *гурéц*, *горóд*, *кия́н*. Это произошло на фоне действующего фонетического явления отпадения гласных.

Все это позволяет отчетливо видеть базу лексикализованного явления и помогает выяснению факторов, способствующих лексикализации. Лексикализация фонетического явления заключается в том, что у некоторых совершенно определенных конкретных слов закрепляется новый фонетический облик. Следовательно, ряд слов, участвующих в лексикализации, закрыт. Новый фонетический облик как постоянное свойство получают только определенные конкретные слова. Фонетическая особенность выходит, таким образом, за границы фонетического уровня, характеризуя собственно лексическую систему. Закрепление нового фонетического облика отдельных слов надо рассматривать как появление новых диалектных слов, новых членов лексической системы диалектов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

ГЛОНТИ А. А., ОНИАНИ А. Л., САРДЖВЕЛАДЗЕ З. А.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ТОПОНИМИИ

Описание и изучение топонимии Грузии имеет долголетнюю традицию. Топонимы разных регионов древней Грузии засвидетельствованы в памятниках древнегрузинской письменности (с V в.): в исторических памятниках, в юридических документах, и т. д. Древнейший фонд топонимов сохранен в «Картлис Цховреба» («История Грузии» с древнейших времен до XVIII в.) [1].

По этим памятникам, свидетельство которых подтверждают и иноязычные источники, становится ясной историческая локализация грузинских топонимов. Уже в этих памятниках находим мы такие топонимы, как *Iberia*, *Kartli*, *Ḳolxeti*, *Ḳlarǯeti*, *Hereti*, *Egrisi*, *Ṭpilisi*, *Mcxeta*, *Armazi*, *Ḳaspi*, *Upliscixe* и др.

Богатые сведения по грузинской топонимии содержатся в греческих латинских, арабских, армянских исторических источниках, а также и в исторических документах других смежных стран.

Первое специальное исследование расселения грузинских племен и ценнейшие сведения о грузинской топонимии принадлежат известному грузинскому историку и географу XVIII в. Вахушти Багратиони (1696—1770), чей капитальный труд «Описание Грузинского царства» представляет собой обстоятельное описание грузинской топонимии [2].

Особо следует отметить то, что в этой работе проанализировано большое число топонимов в соответствии с уровнем научных знаний того периода. Конечно, многие из предложенных Вахушти Багратиони этимологий ошибочны, а некоторые несколько наивны, однако в целом труд содержит бесценный материал для изучения микротопонимии Грузии. Дело в том, что многие засвидетельствованные В. Багратиони топонимы ныне вообще исчезли, часто единственным источником, позволяющим восстановить забытые названия, является именно его труд [3].

Изучение грузинской топонимии с лингвистической и исторической позиций получает дальнейшее развитие в XIX в. (И. Багратиони, Т. Багратиони, Н. Дадиани, М. Броссе, Н. Чубинашвили, А. Цагарели, Д. Бакрадзе, Г. Церетели, Б. Нижарадзе, А. Хаханашвили, М. Джанашвили, Ф. Жордания и др.). Еще более оживился интерес к грузинской топонимии с начала XX в. Многие топонимы проанализированы в работах

---

[1] «Картлис Цховреба», под ред. С. Г. Каухчишвили, I, Тбилиси, 1955, II, Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).

[2] Эта работа издавалась несколько раз: Tsarevitch Wakhoucht, Description géographique de la Géorgie, publiée d'aprés l'original autographe, par M. Brosset, SPb., 1842; «Описание Царства грузинского», под ред. М. Джанашвили, Тбилиси, 1904; под ред. Т. Ломоури и Н. Бердзенишвили, Тбилиси, 1941; под ред. С. Г. Каухчишвили, Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).

[3] А. А. Глонти, Топонимические материалы грузинского историка и географа XVIII в. В. Багратиони в свете новых записей, «Питання ономастики», Київ, 1965, стр. 165—175.

Н. Я. Марра [4]. Особенно велики его заслуги в деле изучения древнегрузинских топонимов.

Образование грузинских географических названий было предметом внимания еще ранних грузинских грамматистов, но первым исследователем, установившим модели образования грузинских топонимов и подробно описавшим структуру грузинской топонимии, является А. Г. Шанидзе. В своем капитальном труде «Основы грамматики грузинского языка» [5] он выделяет следующие группы географических названий:

1. Топонимы, образованные от названий растений, животных, птиц и т. д. Топонимы этого типа, как правило, представлены формой мн. числа: *Rḳoni*, *Muxati*, *Msxlebi*, *Ḳoškebi*, *Bagebi* и др. (стр. 136).

2. Географические названия, образованные от фамилий: *Seturni*, *Kaišaurni*, *Begoni* (там же). Топонимы этого типа в основном распространены на территории Мтиулетии и Кахетии.

3. Топонимы того же типа имеются и в Пшави и Хевсуретии, однако они образованы посредством род. падежа так называемого архаического мн. числа: *Gogolaurta*, *Migriaulta* (там же).

4. Топонимы — композиты, второй член которых представлен лексемами типа: *kalaki* «город», *sopeli* «село», *çqaro* «родник», *qana* «нива», *xidi* «мост» и др. (стр. 137). Этим элементам предшествуют атрибутивные или генитивные определения. Таковыми являются географические названия: *Axalkalaki* букв. «новый год», *Axalsopeli* «новое село» и др.

5. Гидронимы — композиты, со вторым компонентом *çqali* «вода»: *Cxenis-çqali*, *Egris-çqali* (там же).

А. Г. Шанидзе выделяет тип географических названий, образованный посредством показателей *sa-e* (*Sa-mšvild-e*), *sa-o* (*Sa—ḳerp-o*), *sa-is* (*Sa-cxen-is-i*), *sa-ur* (*Sa-bad-ur-i*) и др. (там же), *na-ar* (*Na-ṭaxṭ-ar-i*), *na-ur* (*Na-dab-ur-i*) и др. (стр. 127) и суффиксов *-ian* (*Pičv-ian-i*), *-ovan* (*Vašl-ovan-i*). Отдельно выделены топонимы, представляющие собой генитивные имена с окончанием *-is*: *Tbil-is-i*, *Mangl-is-i*, *Urbn-is-i*, *Šind-is-i* (там же). Географические названия могут быть образованы также посредством суффикса *-et* (с вариантами *-it* и *sa-et*): *Tuš-et-i*, *Roḳ-it-i*, *Sa-berzn-et-i* (стр. 139) и др. [6].

В связи с анализом структуры географических названий А. Г. Шанидзе в своей работе предлагает этимологии многих топонимов. Особо следует выделить толкования некоторых из них, например, объяснение топонима *Ertaçminda* из *Evsṭaṭe çminda* (стр. 139); *Meǯvrisxevi* из *Meǯudis xevi*, *Gzeli paṭiosani* из *zeli paṭiosani* (стр. 140). Переосмысление этих топонимов вызвало изменение и их формы.

---

[4] Н. Я. Марр, Избр. работы, I, Л., 1933, стр. 31, 47, 166, 322 и сл.; II, Л., 1936, стр. 141, 160, 173, 174, 279, 308, 327 и сл.; III, Л., 1934, стр. 187, 197, 251 и сл.; IV, Л., 1937, стр. 3—11, 13—15, 17—21; 46—49 и сл.; V, Л., 1935, стр. 16, 24—27; 30—33, 112 и сл.; его же, История термина «абхаз», ИАН, СПб., 1912, стр. 697—706; и др.

[5] Эта книга издавалась (на грузинском языке) несколько раз. Мы будем ссылаться на последнее издание: Тбилиси- 1973 (далее ссылки на стр. даются в тексте).

[6] Анализ структуры грузинских топонимов представлен также в работах: Т. Зурабишвили, К изучению грузинской топонимики, «Вопросы структуры картвельских языков», II, Тбилиси, 1961, стр. 127—159 (на груз. яз.); А. С. Чикобава, Типы образования топонимов из этнических названий в грузинском языке и их историческое взаимоотношение, ИКЯ, XIX, 1974, стр. 70—75 (на груз. яз.); Г. Н. Качарава, К структуре некоторых географических названий в картвельских языках, «Труды Тбилисск. гос. пед. ин-та им. А. С. Пушкина», 15, 1960, стр. 216—222 (на груз. яз.); Г. В. Рогава, К происхождению некоторых географических названий в Западной Грузии, «Труды ТГУ», 93, 1960, стр. 179—184 (на груз. яз.); П. Джаджанидзе, Топонимы Цхалтубского района, «Мацне», Серия языка и литературы, 1976, 3, стр. 106—120 (на груз. яз.); А. А. Глонти, Топонимические разыскания, I, Тбилиси, 1971, стр. 23—38, его же, Топонимические разыскания, II, Тбилиси, 1975, стр. 6—34 (на груз. яз.); и др.

В ряде исследований предпринимаются попытки выяснить происхождение и взаимоотношение аффиксов, засвидетельствованных в топонимических образованиях. Например, А. А. Глонти, с одной стороны, разделяет предположение Г. А. Климова об общекартвельском происхождении суффикса *-et* (груз. *-et*: мегр.-чан. *-at*: сван. *-ešd*), а с другой стороны, суффиксы, имеющие в своем составе *t* (*-t*, *-et*, *-at*, *-it*, *-ot*, *-ut*), считает связанными друг с другом по происхождению и выводит их из показателя мн. числа [7]. А. С. Чикобава выделяет три типа грузинских топонимов, которые образуются различными аффиксами, а именно: 1) *-et* (*Duš-et-i*), 2) *sa-et* (*Saberzn-et-i*) и 3) *sa-e* (*Sa-irm-e*). По его мнению, первый тип получен из второго, а исходным вариантом третьего типа (*sa-e*) можно считать *sa-en* или *sa-el*, при этом предполагается процесс *-et* < *-ed*, а *-en* (или *-el*) квалифицируется как фонетический вариант того же *-ed* [8].

Хотя эти предположения и нуждаются в более убедительной аргументации, но они свидетельствуют о том, что основные вопросы истории образования грузинских топонимов в специальной литературе уже подвергались научному анализу.

Изучение топонимии Грузии и Южного Кавказа вообще приобретает особое значение для решения проблемы древней локализации грузинских племен и их взаимоотношения с соседними народами. Поэтому географические названия этого региона вызывают неослабный интерес языковедов и историков.

А. Г. Шанидзе в одной из своих работ «К этимологии названия „Топада“» предпринимает попытку объяснения малоазийского топонима *Ṭopada* [9]. По его мнению, этот топоним имеет картвельское происхождение. Он пишет: «Из всех форм, даваемых картвельскими языками, занская (т. е. мегрело-чанская) *ṭoba* и есть та самая разновидность, которая лежит в основе первой части названия хеттского озера, а затем и селения Топада» [10], вторая часть этого названия, по мнению автора, также происходит «из картвельского языкового мира и лежит во второй части слова *ṭopa-da*, с усечением слога *re*» [11]. В этой же работе дано объяснение ряда топонимов юго-западной Грузии и Турции, содержащих элементы *ṭaba*/*ṭoba* [12].

Особо следует отметить капитальные труды Э. Такаишвили и И. А. Джавахишвили, фактически заложившие основу научного изучения исторической географии Грузии [13]. В этих работах рассмотрены кардинальные вопросы грузинской топонимики, разъяснено происхождение многих топонимов и восстановлены исторические границы Грузии.

В изучение исторической географии Грузии важный вклад внесли также С. С. Какабадзе, Г. А. Меликишвили, Н. Бердзенишвили, С. Г. Каухчишвили, С. И. Джанашиа, П. Ингороква, В. Д. Дондуа и другие исследователи [14].

---

[7] А. А. Глонти, Топонимические разыскания, II, стр. 12—31.

[8] А. С. Чикобава, Типы образования топонимов из этнических названий в грузинском языке и их историческое взаимоотношение.

[9] «Изв. Ин-та языка, истории и материальной культуры им. Н. Я. Марра», I, 1937, стр. 79—88.

[10] Там же, стр. 83.

[11] Там же, стр. 84

[12] Там же, стр. 81 и далее.

[13] Е. Такаишвили, Археологические экскурсии, разыскания и заметки, I, Тбилиси, 1907; II, 1914; III, 1937, IV, 1938 (на груз. яз.); И. А. Джавахишвили, История грузинского народа, I—IV, Тбилиси, 1960—1967 (на груз. яз.).

[14] С. С. Какабадзе, Генезис грузинского государства, Тбилиси, 1924 (на груз. яз.); его же, Исторические разыскания, Тбилиси, 1924 (на груз. яз.); Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959; его же, К вопросу о древнейшем населении Грузии, Кавказа и Ближнего Востока, Тбилиси, 1965, (на груз. яз.); Н. А. Бердзенишвили, Вопросы истории Грузии, I—

На территории Грузии встречаются топонимы, толкование которых на почве картвельских языков не представляется возможным. Эти топонимы создавались народами, распространявшими свое влияние в определенные периоды истории на часть территории Грузии.

Многие исследователи касались ряда топонимов Колхиды, которые считаются созданными на основе абхазско-адыгского материала. Этот вопрос интересовал еще Н. Я. Марра, а затем в связи с определением древнейшего населения Причерноморья — таких исследователей, как И. А. Джавахишвили, С. Н. Джанашиа, С. Г. Каухчишвили, Н. А. Бердзенишвили, Г. А. Меликишвили, А.В. Урушадзе и др. Некоторые авторы считают, что топонимы, содержащие элементы *-ps* (*supsa*) или *-qwa* (*Maltaqwa* и др.) относятся к абхазско-адыгскому языковому миру (И. А. Джавахишвили, С. Н. Джанашиа [15]). Подобное мнение ставит вопрос о наличии адыгского этнического элемента на территории Колхиды в древнейших временах. Противоположного мнения придерживается П. Ингороква, считающий, что элемент-*ps* проник в абхазско-адыгские языки из картвельских языков [16]. Следует отметить, что положение о заимствовании этого элемента из абхазско-адыгских языков не вполне убедительно. Элемент-*ps*, имеющий именные и глагольные дериваты, не является изолированной единицей в грузинском языке. Корень имеет закономерные фонетические соответствия в сванском и мегрело-чанском языках, что позволяет реконструировать его для общекартвельского уровня [17]. Не исключено, что грузинские топонимы с элементом *-ps* генетически действительно связаны именно с этим грузинским корнем. Из сказанного следует, что вопрос о происхождении топонимов, содержащих в себе элемент *-ps*, все еще остается нерешенным.

На нахский элемент в топонимии Восточной Грузии обратил внимание И. А. Джавахишвили [18]. А. Г. Шанидзе указывает, что названия некоторых населенных пунктов Восточной Грузии, содержащие элемент *-tana*, возникли под влиянием бацбийского языка. Таковы топонимы *Ḳalotana*, *Ḳartana*, *Ċitelatana* и др. [19]. Ф. Г. Утургаидзе также обращает внимание на наличие в восточной Грузии топонимов, объяснимых на основе нахских языков. Он выделяет топонимы, в состав которых входят нахские суффиксы *-lo*, *-go*, *-čo* [20].

VIII, Тбилиси, 1964—1975 (на груз. яз.); А. С. Сванидзе, Введение в историю алародийских племен, Тбилиси, 1936; его же, Материалы по истории алародийских племен, Тбилиси, 1937; С. Г. Каухчишвили, Georgica, Сведения византийских писателей о Грузии, I—VIII, Тбилиси, 1936—1970 (на груз. яз.); В. Дондуа, Некоторые замечания на коллективный труд «История армянского народа», сб. «Мимомхилвели», III, Тбилиси, 1953, стр. 309 и сл.; А. В. Урушадзе, Древняя Колхида в сказании об аргонавтах, Тбилиси, 1964 (на груз. яз.); П. Ингороква, Георгий Мерчуле — грузинский писатель X века, Тбилиси, 1954 (на груз. яз.); С. Н. Джанашиа, Труды, III, Тбилиси, 1959 (на груз. яз.); А. А. Глонти, Топонимические разыскания, II; и др.

[15] И. А. Джавахишвили, Историко-этнологические проблемы Грузии, Кавказа и Ближнего Востока, Тбилиси, 1950, стр. 41 (на груз. яз.); С. Н. Джанашиа, Труды, III, стр. 115—123.

[16] П. Ингороква, Георгий Мерчуле — грузинский писатель X века. По мнению Г. С. Ахвледиани, элемент *-ps* следует считать общим для картвельских и абхазско-адыгских языков [Г. С. Ахвледиани, Некоторые вопросы исторической топонимики Абхазии, «Мнатоби», 1957, 2, стр. 111—114 (на груз. яз.)].

[17] Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 191—192.

[18] И. А. Джавахишвили, Историко-этнологические проблемы Грузии, Кавказа и Ближнего Востока, стр. 53—54.

[19] А. Г. Шанидзе, Основы грамматики грузинского языка, стр. 138.

[20] Ф. Г. Утургаидзе, Некоторые особенности горских диалектов грузинского языка, Тбилиси, 1966, стр. 84—103 (на груз. яз.).

В дело изучения топонимии Месхети и Джавахети особый вклад внес С. С. Джикия. Эта часть исторической южной Грузии являлась на протяжении многих столетий сферой постоянных нападений захватчиков. На территории, захваченной Турцией в XVII—XVIII вв., уже были вытеснены картвельские топонимы. С. С. Джикия поставил себе цель восстановить первоначальную топонимию этого региона. Эта труднейшая работа была выполнена им в результате изучения и сопоставления сведений уникальных турецких рукописей, хранящихся в Институте рукописей им. К. Кекелидзе АН ГрузССР, грузинских исторических источников и народных преданий. Результаты своих изысканий С. С. Джикия подытожил в трехтомной монографии «Пространный реестр Вилайэта Гюрджюстана» (1941, 1947, 1958, на груз. и русск. яз.). В работе представлен анализ многих грузинских топонимов. На основе турецких источников автор изучил также специфику топонимии южных районов исторического Картли [21]. В работах С. С. Джикия вопросы топонимии рассматриваются как в лингвистическом аспекте, так и с исторической точки зрения.

Вопросы топонимии Колхиды изучены на основе древнегреческих источников в работах С. Г. Каухчишвили, А. В. Урушадзе, Н. Ю. Ломоури и других [22].

На территории Гурии, Имерети, Аджарии довольно распространены топонимы, получающие истолкование на основе мегрело-чанского языка. Они были предметом исследования многих авторов [23].

В обширной монографии И. В. Мегрелидзе «Лазский и мегрельский слои в гурийском» (М.— Л., 1938) подробно рассмотрен вопрос мегрело-чанского субстрата в гурийском диалекте и в топонимии Гурии. Обнаружение этого субстрата на территории Гурии, Имерети и Аджарии с необходимостью ставит вопрос о наличии в прошлом поселений мегрелов и чанов на этой территории.

А. Г. Шанидзе установил, что один из древнейших топонимов исторической Южной Грузии *Артануджи* имеет занское происхождение и представляет собой результат слияния сочетания *Arṭahaniš quǯi-* [24]. Поскольку название *Arṭanuǯi* засвидетельствовано в древнейших грузинских письменных памятниках, его этимология важна для исторической фонетики картвельских языков, а именно: она дает возможность установить верх-

---

[21] С. С. Джикия, Некоторые вопросы топонимики и исторической географии Самцхе-Саатабаго, «Труды ТГУ», 41, 1950 (на груз. яз.).

[22] С. Г. Каухчишвили, Georgica, Сведения византийских писателей о Грузии, I—VIII; А. В. Урушадзе, Древняя Колхида в сказании об аргонавтах; Н. Ю. Ломоури, История эгрисского (лазского) царства с возникновения до V в. н. э., Тбилиси, 1968 (на груз. яз.).

[23] Н. Я. Марр, Грамматика чанского (лазского) языка, СПб., 1910; его же, По этапам развития яфетической теории, Л., 1926, стр. 368; И. А. Джавахишвили, История грузинского народа, I, Тбилиси, 1960, стр. 428 (на груз. яз.); И. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка, СПб., 1914, стр. XV; А. С. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта с текстами, Тбилиси, 1936 (на груз. яз.); его же, Чанско-мегрельско-грузинский словарь, Тбилиси, 1938 (на груз. яз.); С. М. Жгенти, Гурийский диалект, Тбилиси, 1936 (на груз. яз.); Ю. М. Сихарулидзе, Топонимика юго-западной Грузии, I, Батуми, 1958; II, Батуми, 1959 (на груз. яз.); его же. Материалы для исторической географии Гурии, «Сборник исторической географии Грузии», IV, Тбилиси, 1971, стр. 74—154 (на груз. яз.); Д. Г. Гветадзе, К этимологии «Гурия», «Исторический сборник», VI, Тбилиси, 1976, стр. 161—167 (на груз. яз.); З. А. Сарджвеладзе, Занские элементы в гурийском диалекте, «Труды Горийск. пед. ин-та», X, Тбилиси, 1965, стр. 195—198 (на груз. яз.); и др.

[24] А. Г. Шанидзе, Источники происхождения звука ǯ в картвельских языках, «Вестник Отделения общественных наук АН ГрузССР», 1960, 2, стр. 227 (на груз. яз.).

нюю границу хронологии комбинаторного изменения *r* > ǯ [25], происшедшего в мегрельском.

Большую часть лечхумской топонимии объяснил на основе сванского языка М. М. Калдани [26]. Автор с очевидностью показал, что те топонимы Лечхуми, которые содержат суффикс *-iš*, являются сванскими по происхождению. Он пишет: «Географические имена с суффиксом *-iš*, встречающиеся на территории Лечхуми, помимо указанного суффикса, содержат ряд сванских морфологических формантов и корней» [27]. Совершенно справедливым является вывод автора: «Сваны, населявшие некогда территорию Лечхуми, усвоили грузинский язык, однако явный след сванского языка заметен как в топонимии этой территории, так и в лексике лечхумцев» [28]. Не может быть сомнения в том, что территория Лечхуми раньше была населена сванами.

Грузинские исследователи занимались подробным анализом микротопонимии различных областей Грузии. Микротопонимия Хеви описана в монографии В. Д. Итонишвили [29]. Аналогичные работы посвящены микротопонимии Двалети (В. Гамрекели), Цалки, Триалети (Л. Меликсет-бег), Мегрелии (Г. Элиава), Пшави (П. Макалатиа), Старого Тбилиси (Г. Лордкипанидзе), Мачахского ущелья (Л. Гохаладзе) и др. За последние сорок лет были опубликованы малые региональные словари; перечислим самые значительные: словарь топонимии Лечхуми, составленный М. Чиковани (1939), Нижней Рачи, составленный М. Алавидзе (1957), Месхети (И. Майсурадзе, 1955), Ксанского ущелья (сост. А. Глонти, 1955), Колхиды (А. Глонти, 1971), Мцхеты (А. Глонти, 1975), Картли (М. Гегешидзе, 1949), Клухори (Гр. Зардалишвили, 1949), Аджарии, Гурии, Месхети (Ю. Сихарулидзе, 1958—1971).

За последние годы исследование топонимии в Грузии стало значительно более интенсивным. Над этими вопросами уже работают целые коллективы. Топонимическая проблематика является предметом исследования кафедр древнегрузинского и новогрузинского языка, истории Грузии, географии, тюркологии, иранистики, классической филологии ТГУ; Ин-та языкознания; Ин-та истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили, Ин-та востоковедения им. Г. В. Церетели, Ин-та географии им. Вахушти АН ГрузССР, кафедр грузинского языка педагогических вузов республики. В научных и популярных изданиях регулярно публикуются топонимические материалы и исследования.

В 1969 г. при кафедре новогрузинского языка ТГУ был создан республиканский центр топонимических исследований — лаборатория топонимики. Лаборатория в сотрудничестве с научными учреждениями и кафедрами высших учебных заведений республики осуществляет описание и издание географических названий Грузии в виде региональных словарей и планирует составление полного словаря. Научными работниками лаборатории составлена картотека из 150 тыс. карточек. Анализ топонимического материала содержат кандидатские диссертации П. Макалатиа («Топонимия Пшави арагвского ущелья»), Г. Хорнаули («Топонимия Гудамакар-Мтиулетии»), П. Цхадаиа («Топонимия горной Мегрелии») и др. Лаборатория имеет свой орган — «Топонимика», первый том которого под общей

[25] Как известно, в мегрело-чанском в определенных позициях появляется ǯ как закономерное соответствие груз. *r* (А. Цагарели, Мингрельские этюды, II — Опыт фонетики мингрельского языка, СПб., 1880, стр. 64).

[26] М. М. Калдани, К вопросу о суффиксе *iš* в лечхумской географической номенклатуре, «Вопросы структуры картвельских языков», III, Тбилиси, 1963, стр. 67—79 (на груз. яз.).

[27] Там же, стр. 78.

[28] Там же, стр. 79.

[29] В. Д. Итонишвили, Топонимия Хеви, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).

редакцией Ш. В. Дзидзигури вышел в свет в 1976 г. В нем опубликованы статьи Ш. Т. Апридонидзе, П. Н. Макалатиа, Б. А. Джорбенадзе, П. А. Цхадаиа, А. К. Чкадуа и др.

В Институте языкознания АН ГрузССР вопросами грузинской топонимики занимаются Т. Д. Зурабишвили, Ф. Г. Утургаидзе, Г. В. Бедошвили и др. Г. В. Бедошвили принадлежит работа «Основные вопросы топонимики Эрцо-Тианети» (канд. диссерт.).

В работах многих грузинских ученых анализируются отдельные топонимы, например, А. Г. Шанидзе посвятил специальный очерк истории топонима *Tbilisi* [30]. Корнем этого слова, по мнению А. Г. Шанидзе, является *ṭep/ṭp*, суффикс-*il* образует причастие, а *-is-* показатель род. падежа. Корень *ṭep/tp* возводится к общекартвельскому уровню, его закономерными соответствиями являются мегрельское *ṭib*, чанское *ṭubu*, сванское *ṭebdi* [31]. Тут же ставится вопрос о его взаимоотношении с индоевропейским корнем *tep/tp* с тем же значением и отмечается что «в довольно древнем слое грузинского языка имеются и другие общие с индоевропейскими языками слова» [32]. В работе показано, что древней формой «названия столицы Грузии является *Ṭpilisi*, из которого и произошли его названия в языках соседних народов. В первую очередь надо отметить армянское *Təpłis*, греческое Τιφλις/Τιφιλις и т. п.» [33]. К сожалению, в последнее время возникли недоразумения в этом ясном вопросе [34]. Так как название грузинского города Кутаиси дает закономерное фонетические соответствия в картвельских языках (груз. *Kutaisi*, мегр. *Kuteši*, сван. *Kutäš*), предполагается, что это название восходит к общекартвельскому уровню [35]. Это положение вызывает особый интерес потому, что топонимы такой древности встречаются очень редко.

Данные грузинской (resp. картвельской) топонимии широко используются при рассмотрении сложных вопросов исторической морфологии и синтаксиса [36]. Естественно, возникающие интересные вопросы не могли быть рассмотрены в краткой статье. Отметим, наконец, что данная статья не претендует на полноту и в рассмотрении избранной проблематики.

---

[30] А. Г. Шанидзе, К названию столицы Грузии, сб. «Тбилиси — 1500», Тбилиси, 1958, стр. 19—22 (на груз. яз.).

[31] Там же, стр. 20—21.

[32] Там же.

[33] Там же, стр. 22.

[34] См.: П. М. Мурадян, Винительные формы в именительном по данным топонимики Армении, «Вестник общественных наук АН Армянской ССР», 1971, 4, стр. 22 и сл. Следует отметить, что дискуссия, развернувшаяся в связи с топонимами на *-is-i* (*Tbil-is-i*, *Kuta-is-i*...), в обзорной статье В. А. Никонова упомянута как полемика ненаучного характера. В этой статье, содержащей, к сожалению, досадные неточности, не делается попытки изложить суть полемики, а лишь отмечается, что она вызвала трезвое выступление Г. В. Церетели. При этом создается впечатление, будто Г. В. Церетели критикует даже напечатанную после его выступления статью Р. В. Гордезиани и что он одинаково оценивает статьи П. М. Мурадяна и полемизирующих с ним авторов (А. Ониани, З. Сарджвеладзе). На самом деле статья последних оценивается Г. В. Церетели как «в основном правильная и обоснованная». См.: Г. В. Церетели, По поводу этимологий некоторых топонимических терминов, «Мацне». Серия языка и литературы, Тбилиси, 1972, 1, стр. 146—147. Отметим, что эта статья В. А. Никоновым упомянута под несуществующим заглавием — «Письмо в редакцию». См.: В. А. Никонов, Состояние и задачи ономастических исследований Кавказа, ВЯ, 1975, 4, стр. 107.

[35] А. Ониани, З. Сарджвеладзе, Против извращения вопросов грузинской топонимики, «Мацне». Серия языка и литературы, 1971, 3, стр. 173—174.

[36] А. Г. Шанидзе, Пережитки диалекта *ev* в географических именах Грузии, «Сообщ. АН ГрузССР», II, 8, стр. 761—768; Г. А. Климов, К вопросу о порядке членов атрибутивного комплекса в картвельских языках, «Вопросы изучения иберийско-кавказских языков», М., 1961, стр. 257—269; Т. Д. Зурабишвили, К изучению грузинской топонимики, «Вопросы структуры картвельских языков», II, Тбилиси, 1961 (на груз. яз.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Ф. де Соссюр. **Труды по языкознанию,** переводы с французского языка под редакцией А. А. Холодовича. — М., «Прогресс», 1977. 695 стр.

В издательстве «Прогресс» опубликованы в одном томе все основные сочинения Фердинанда де Соссюра в переводе на русский язык. Издание осуществлено под общим руководством хорошо известного, ныне, к сожалению, уже покойного советского лингвиста, проф. А. А. Холодовича. Вступительные статьи к отдельным разделам книги написаны специалистами по тем или иным вопросам общего и индоевропейского языкознания (их авторы: В. А. Дыбо, А. А. Зализняк, Вяч. В. Иванов, И. М. Тронский, А. А. Холодович). До настоящего времени на русском языке был известен лишь «Курс общей лингвистики» Соссюра, опубликованный в 1933 г. в переводе А. М. Сухотина.

На мой взгляд, можно, а нередко и должно спорить по многим теоретическим вопросам и с Соссюром, и с его многочисленными комментаторами в разных странах, но нельзя не признать выдающуюся роль Соссюра в развитии языкознания на протяжении почти всего нашего столетия. Учениками Соссюра до сих пор называют себя не только многие выдающиеся лингвисты, но и многочисленные зарубежные философы, психологи, историки культуры, этнографы, литературоведы.

Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857—1913) — личность, во многих отношениях сложная, порою даже загадочная. При жизни он сделал все для того, чтобы не обнародовать результаты своих исследований. Если мы и знакомы с его «Курсом общей лингвистики», то современные читатели обязаны этому слушателям Соссюра — Ш. Балли и А. Сешеэ, которые позднее сами стали известными учеными. Именно они опубликовали «Курс» Соссюра на основе записей его лекций в Женевском университете. Впервые «Курс общей лингвистики» увидел свет в 1916 г., не только уже после смерти его автора, но и вопреки его воле. Соссюр не собирался и не хотел готовить свой «Курс» к печати.

«Странности» Соссюра, как личности и как ученого, этим не исчерпываются. При жизни он публикует «Исследование о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (1879) [1], впоследствии оцененное как исключительно яркое и новаторское, а позднее защищает диссертацию на тему «Абсолютный родительный падеж в санскрите» (1880), которая оказалась «простым техническим описанием», вполне «заурядной работой», как это позднее показали, в частности, Р. Годель и Тульо де Мауро (стр. 662) [2]. Из-под пера одного и того же ученого, и почти одновременно, выходят исследования и новаторские, и заурядные.

«Странности» Соссюра обнаруживаются и во многом другом. Из разных источников известно, например, что он был знаком с И. А. Бодуэном де Куртенэ и ценил его работы. Между тем никаких упоминаний об исследованиях Бодуэна и об их результатах у Соссюра мы не находим. В свою очередь и Бодуэн никогда не вспоминает в своих разысканиях Соссюра, хотя в 1928 г. на первом международном конгрессе лингвистов в Гааге имена Соссюра и Бодуэна «склонялись на все лады» (стр. 669). Вообще остается неясным, как понимал преемственность в науке Соссюр и работы каких своих предшественников и современников он ценил. В «Курсе общей лингвистики» почти совсем нет имен лингвистов, если не считать имени американского санскритолога В. Д. Уитни (1827—1894), защитника вполне «традиционных» принципов сравнительно-исторического языкознания.

---

[1] Неясно, почему французское название «Mémoire sur le système primitif de voyelles dans les langues indo-européennes» переведено в рецензируемом издании как «Мемуар...», а не как «Исследование». Французское существительное *le mémoire* означает «исследование» (ср. *la mémoire* «память», *les mémoires* «мемуары»), а *мемуар* в единственном числе — искусственное и ненужное в русском языке образование.

[2] В дальнейшем цифры в скобках — ссылки на рецензируемое издание.

А вот и трудный вопрос: как следует понимать канонический текст «Курса общей лингвистики»? Что действительно здесь принадлежит Соссюру и что было внесено в текст составителями «Курса» — Ш. Балли и А. Сешеэ? Разумеется, умышленно Балли и Сешеэ ничего не меняли в «Курсе». Они стремились точно воспроизвести лекции своего любимого учителя. Но воспроизводство идей — это все же не стенограмма, тем более не стенограмма, выправленная автором. Это прекрасно понимали сами Балли и Сешеэ, подчеркивая, что Соссюр «возможно не дал бы своего согласия на публикацию его лекций» (стр. 38). Возникает не только текстологическая проблема, но и проблема психологическая. Балли и Сешеэ могли как бы «доразвить» то, что дано у Соссюра только намеком или, наоборот, слишком бегло упомянуть о том, чему лектор придавал большое значение. В результате многие акценты могли оказаться смещенными.

Поясняю мысль только одним примером. Нынешний канонический «Курс» Соссюра оканчивается словами, к тому же поданными курсивом: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя» (стр. 269). Между тем, Р. Годель, много занимавшийся наследием Соссюра, считал, что эти слова не принадлежали Соссюру и были сформулированы Балли и Сешеэ на основе лишь «духа» всего изложения их учителя, постоянно подчеркивавшего «неповторимость языка», его специфику. А. А. Холодович также утверждал, что приведенная важнейшая концовка всего «Курса» не принадлежала Соссюру (стр. 19). Такого же мнения придерживается и новейший исследователь, автор критического издания «Курса» Соссюра на французском языке, итальянский знаток творчества Соссюра Тульо де Мауро [3].

Почему же тогда и французская и русская новейшие публикации «Курса» Соссюра все же оканчиваются именно этими словами, если известно, что они не принадлежат Соссюру? Ведь одно дело понимать глубокую специфику языка (язык действительно является неповторимым «явлением»), совсем другое — «изучать язык в самом себе и для себя»? В этом последнем случае сейчас же становится неясной глубоко общественная природа языка, его социальная функция, его огромные коммуникативные возможности. Как же язык может исследоваться только «для себя»? С какой целью лингвист должен замыкать границы своих разысканий принципом анализа языка «в самом себе и для себя»? Изучать специфику языка действительно необходимо, без этого не может быть лингвистики в нашу эпоху, но принцип специфики языка не только не ведет к принципу языка «в самом себе и для себя», но и оказывается с ним несовместимым. Сама специфика языка предстает перед всяким беспристрастным исследователем как специфика общественной функции языка, как специфика его разнообразных коммуникативных возможностей, как специфика средств выражения человеческих мыслей и человеческих эмоций.

Но если так, то почему же и нынешний русский текст «Курса», и его французский *оригинал*, вновь критически пересмотренный, все же завершаются призывом, обращенным к исследователям, изучать язык «в самом себе и для себя»? К сожалению, на этот закономерный вопрос ни в одном издании Соссюра ответа мы не находим.

В данной рецензии нет возможности говорить об общем значении теории Соссюра. На эту тему существует, как известно, огромная литература [4]. Да и автору настоящего изложения уже приходилось писать на общую тему о Соссюре [5]. Здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые терминологические проблемы, имеющие, однако, важное методологическое значение.

Как справедливо отмечает А. А. Холодович, «Соссюр менял терминологию не только от курса к курсу, но и на протяжении одного и того же курса» (стр. 19). Проследим только за одним, однако, исключительно важным во всем построении Соссюра термином — за термином *система* [6]. Сейчас уже стало общим местом утверждение, согласно которому язык — это *система* (*структура*). Было пролито немало чернил в спорах о том, кто первый сформулировал это положение. На мой взгляд, это не так существенно. Гораздо важнее, как пони-

[3] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique préparée par Tullio de Mauro, Paris, 1973, стр. 476. К сожалению, отличное издание Тульо де Мауро мало было использовано А. А. Холодовичем.

[4] См., в частности, специальные библиографии: E. Koerner, Bibliographia Saussureana (1870—1970), New York, 1972; его же, Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique (bibliographie annotée), The Hague—Paris, 1972; L. Oehring, Zu Saussure's «Cours de linguistique générale», ZfromPh, 1974, 1/4.

[5] «Фердинанд де Соссюр и языкознание нашего времени» в моей книге «Язык, история и современность» (М., 1971, стр. 42 и сл.).

[6] Его абсолютный синоним у последователей Соссюра — *структура*. Ср.: R. Engler, Lexique de la terminologie saussurienne, Utrecht — Antwerp, 1968. У самого Соссюра термин *структура* в «Курсе» не встречается.

мается термин *система* в разных направлениях современной лингвистики и как он истолковывался в эпоху Соссюра. К сожалению, до сих пор приходится считаться с тем, что очень многие ученые ставят этот вопрос неправомерно: они утверждают, что будто бы одни лингвисты учитывают системный (структурный) характер языка, а другие не учитывают, исходят из предположения о том, что язык — это совокупность единиц разного достоинства, никак между собой не связанных. Такая постановка вопроса несостоятельна по той простой причине, что серьезных лингвистов, которые бы не учитывали системного (структурного) характера языка в настоящее время, разумеется, не существует. Дело сводится не к признанию или непризнанию системной (структурной) природы языка, как обычно утверждают, а к пониманию, к истолкованию подобной природы языка. Только на этом уровне обнаруживаются расхождения, причем расхождения принципиально-методологического характера между лингвистами-материалистами и лингвистами, отрицающими материальную природу самого языка.

Поясню это на простом примере. Для Соссюра, как и для его ортодоксальных последователей, язык — это «система чистых значимостей» (стр. 144), материальные единицы которой не могут и не должны интересовать лингвиста. В известной логической формуле aRb (где R — отношение, а a и b — единицы, между которыми устанавливается определенное отношение) филолог исследует только отношение (R), полностью отвлекаясь от элементов (a,b), между которыми подобное отношение существует. Но имеется и диаметрально-противоположное понимание языковой системы (структуры), исходя из которого ученый придает одинаково важное значение и элементам языка (разного уровня), и отношениям, между ними бытующим. При этом роль категории отношения в языке от этого нисколько не умаляется: ей действительно принадлежит виднейшее место и в самом языке, и в лингвистической теории. Но категория отношения истолковывается различно в разных направлениях науки, при этом подобное различие приобретает принципиально-методологическое значение. Следовательно, речь идет не о признании или непризнании системного (структурного) характера языка — здесь расхождений между лингвистами нашей эпохи нет,— а об истолковании, об осмыслении самого понятия системы (структуры). Здесь расхождения оказываются очень глубокими.

Соссюр показал, что такое относительность языковых единиц. В этом его заслуга. Но Соссюр был склонен рассматривать подобную относительность не как частичную, историческую относительность, а как относительность абсолютную. В этом с ним согласиться невозможно. Между тем идея абсолютной относительности языка защищается во многих направлениях лингвистики наших дней. Так сформировались разные, во многом противоположные лингвистические концепции. Но и те ученые, кто в этом плане развивает идеи Соссюра, и те, кто в этом плане полемизирует с его убеждениями, оказываются так или иначе связанными с основными положениями автора «Курса общей лингвистики».

Как известно, большой заслугой Соссюра являлось его постоянное стремление демонстрировать системную (структурную) природу языка. Если в «Курсе» подобное стремление постулировалось преимущественно теоретически, то в «Исследовании о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» оно демонстрировалось практически, на фонологическом уровне. Вместе с тем, как только что было отмечено, Соссюр был склонен не замечать таких явлений в языке, которые осложняют принцип системы, свидетельствуют о том, что в живых языках человечества обнаруживаются не только системные, но и антисистемные явления. Не так давно один из известных западногерманских лингвистов написал даже две книги на тему о том, как антисистемные явления в грамматике европейских языков не только осложняют понятие грамматической системы, но и делают подобную систему, хотя и противоречивой, но удивительно выразительной, приспособленной к самым разнообразным нуждам коммуникации [7].

Таким образом, проблема резко обостряется не только в результате бытования совершенно различных истолкований самого понятия *системы* (*структуры*) языка, но и в результате постоянных осложнений, которым подвергается языковая система под воздействием многочисленных и разнообразных антисистемных явлений, свойственных всем уровням живых языков человечества [8].

---

[7] M. Wandruszka, Sprachen, vergleichbar und unvergleichlich, München, 1969; его же, Interlinguistik, München, 1971. Ср. также: J. Allwood, L. Andersson, Ö. Dahl, Logik für linguisten, Tübingen, 1973, в особенности стр. 98—104.

[8] Любопытно, что Ю. Н. Тынянов еще в 1928 г. в статье, написанной совместно с Р. О. Якобсоном, подчеркивал: «Чистый синхронизм теперь оказывается иллюзией: каждая синхроническая система имеет свое прошедшее и будущее...» (Ю. Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, М., 1977, стр. 282).

К сожалению, в рецензируемом издании все это недостаточно учитывается. В своих, в целом интересных комментариях, А. А. Холодович говорит о том, что Соссюру приходилось бороться с «типичными представителями атомистического мировоззрения» (стр. 659), в частности, с Бругманом и Остгофом. Признание или непризнание системного характера языка возводится в ранг мировоззрения. Это неправомерно, учитывая, что, во-первых, мировоззрение всякого ученого определяется совсем другими постулатами, и, во-вторых, в рамках, казалось бы, общего признания системной (структурной) природы языка могли и могут в наше время скрываться разные мировоззрения — и концепция абсолютной релятивности языка, и концепция, опирающаяся на принцип объективного существования языка.

Сводить борьбу Соссюра с его предшественниками лишь к признанию или непризнанию системного характера языка — это значит упрощать проблему. История нашей науки знает имена ученых, которые никогда специально не писали о том, что язык представляет собой систему. И тем не менее, в своих конкретных разысканиях прекрасно демонстрировали системную природу языка. В этой связи можно вспомнить имена Потебни и Шахматова, Мейе и Шухардта, как и многих других. Известны и другие случаи, когда словесные декларации («язык — это система, язык — это структура») не сопровождались уменьем показать на конкретном материале различных языков человечества, как синхронно «действует» подобная система, как она складывается, к каким результатам приводит, с какими осложнениями сталкивается [9].

Трудно согласиться с теми (а таких лингвистов немало), кто считает, что различные и многочисленные антисистемные явления в фонетике и морфологии, в синтаксисе и лексике «портят» языки человечества, делают их непоследовательными. В действительности подобные явления, осложняя системы, вместе с тем придают им силу, делают их полифункциональными. Один из крупнейших физиков нашего века, Н. Бор по другому поводу писал: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для системного анализа» [10]. Перефразируя эти слова большого ученого, можно сказать, что антисистемные явления в развитых языках человечества, осложняя эти языки, вместе с тем придают им огромную силу выразительности. Между тем в комментариях к Соссюру подчеркивается другая мысль — о том, как боролся Соссюр с антисистемными (антиструктурными) концепциями языка, при этом *система* (*структура*) истолковывается несколько односторонне, как образование, состоящее из одних противопоставлений. На мой взгляд, такое представление о системе обедняет действительное положение вещей.

Я позволю себе пояснить мысль с помощью такого сравнения. Известно, что В. Я. Пропп, много сделавший для системного изучения фольклора и более широко — искусства вообще, в более поздних своих работах подчеркивал, что для изучения искусства система противопоставлений не всегда приводит к плодотворным результатам. «Противопоставление комического трагическому и возвышенному не вскрывает сущности комизма и его специфики... Мы будем определять сущность комизма без всякой оглядки на трагическое или на возвышенное, пытаясь понять и определить комическое как таковое» [11]. И тут же В. Я. Пропп приводит примеры: чтобы понять комизм гоголевской «Коляски» или какой-нибудь новеллы Боккаччо, нет никакой надобности противопоставлять их комизм чему-то трагическому или возвышенному. Нужно уметь понять подобный «комизм как таковой». Перефразируя эти справедливые суждения, следует сказать, например, что грамматический конъюктив современных европейских языков можно, разумеется, изучать в противопоставлении к грамматическому индикативу или по отношению к другой какой-либо грамматической модальности (существенный аспект исследования), но можно, а иногда и должно, изучать конъюктив прежде всего как конъюнктив, со всеми его осложнениями, непоследовательностями, во всем его функциональном многообразии. *Система* (*структура*) языка не должна мешать видеть факты языка, подобно тому, как и факты языка, постулируя систему, не должны упрощать ее, не должны упрощать живые языки человечества.

Выход в свет сочинений Соссюра на русском языке нужно всячески приветствовать. И хотя в данной рецензии речь шла главным образом о его «Курсе об-

[9] В этом отношении представляют бесспорный интерес письма Соссюра к А. Мейе, опубликованные Э. Бенвенистом (CFS, 21, 1964, стр. 89—130). Один из известных современных итальянских исследователей, большой поклонник генеративной грамматики, все же обращает внимание, что мало кто в наше время умеет так глубоко демонстрировать системную природу языка, как это делал в начале прошлого столетия В. Гумбольдт (L. Renzi, Introduzione alla filologia romanza, Bologna, 1976, стр. 47).

[10] Н. Бор, Атомная физика и общественное познание, М., 1971, стр. 111.

[11] В. Я. Пропп, Проблемы комизма и смеха, М., 1976, стр. 8.

щей лингвистики», а не о его конкретных исследованиях в области индоевропейского вокализма, в области ритма и поэтики (анаграммы), однако все изданные на русском языке работы Соссюра представляют большой интерес для читателей нашего времени. Вместе с тем публикации Соссюра лишний раз напоминают нам о том, каким сложным понятием является современная лингвистика и какая острая борьба между различными методологическими концепциями наблюдается в истолковании самой природы языка, в истолковании его важнейших общественных функций.

Будагов Р. А.

Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. **Язык и культура.**
Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного,
2-е изд. перераб. и доп. — М., «Русский язык», 1976. 248 стр.

Рецензируемая книга вышла вторым значительно переработанным и дополненным изданием. В книге вновь поднята теоретически и практически важная проблема взаимосвязи языка и культуры — язык как хранилище национальной культуры и культура в ее отношении к национальному языку.

Теоретическая разработка этих вопросов восходит еще к XVIII в., если вспомнить идеи И. Г. Гердера и в особенности работы В. Гумбольдта в XIX в., с которыми связаны позднейшие направления «неогумбольдтианства» и «этнолингвистики». В русском языкознании это направление получило развитие в трудах А. А. Потебни. В книге «Мысль и язык», в «Записках по теории словесности», в статье «Язык и народность» автор развивал идеи взаимной обусловленности языка — мысли — искусства — культуры: «Без книг и без людей едва ли кто и теперь был бы способен к сколько-нибудь продолжительным и плодотворным усилиям ума; без размена слов человек, при всевозможных внешних возбуждениях, нравственно засыпает, „не горит, а тлеет", как пасмурно и печально тлеющая головня. Если, наоборот, в спорах и вообще в одушевленном разговоре речь течет свободнее и приобретает стилистические достоинства, незаметные при уединенной мысли, которая есть та же речь, но только сокровенная, то это зависит от внутренних достоинств мысли, вызываемых словом...» [1]. В работах А. А. Потебни широко пропагандировалась мысль о тесной связи духовных особенностей народа с его языком. Казалось, что после Потебни в русской науке заглох интерес к этнографическому изучению языка, к исследованию того, как и какими путями народные обычаи, представления, поэтические образы и вообще явления национальной культуры и искусства оставляют следы в словарном составе языка, в стилистических связях слов, сочетаний и фразеологизмов.

В рецензируемой книге авторы обращаются к этой же теме на новом, современном теоретическом уровне. В главах «Несколько сведений из теории культуры» (стр. 36—50), «Культурный компонент русского слова» (стр. 68—88) авторы на новой основе освещают поднятые вопросы. В отличие от всех известных теоретических работ освещение проблемы языка и культуры в книге ведется под углом зрения страноведения — новой отрасли в теоретической методике. В первом издании книги понятие страноведения определялось следующим образом: «Страноведение — это культура страны изучаемого языка, ставшая предметом методики преподавания этого языка, или, точнее, предметом соизучения при изучении этого языка» (стр. 45). Во втором издании авторы, осознавая новизну предмета и возможность иных толкований, подчеркивали относительность предлагаемых определений: «Страновéдение — сравнительно мало исследованная часть методики преподавания иностранных языков: в частности, методисты расходятся между собой даже по поводу определения самого понятия. Страноведение как исследовательский предмет затруднительно определить обычным в науке указанием на родовидовые отношения хотя бы потому, что методическая теория страноведения находится на стадии становления и отнюдь не завершена.... страноведение принадлежит к числу тех понятий, которые в логике называются развивающимися» (стр. 18).

Теоретическое обоснование лингвострановедения дается в первой части книги. Рассматривая вопрос о том, как именно соотносятся язык и культура, авторы приводят разные точки зрения на эту проблему и формулируют свои исходные позиции. Одна из точек зрения связана с именами В. Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа [2].

[1] См.: А. А. Потебня, Мысль и язык, Одесса, 1922, стр. 111.

[2] Критика гипотезы Сепира — Уорфа дается в ст.: Г. А. Брутян, Лингвистическое моделирование действительности и его роль в познании, «Вопросы философии», 1972, 10.

Отношение к взглядам этих авторов выражено в другой работе Е. М. Верещагина и В.Г.Костомарова — «Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам» (М., 1971). Э. Сепир в происходящем взаимодействии языка и культуры формирующее влияние приписывает языку: «Язык приобретает все большую цену в качестве руководящего начала в изучении культуры» [3]. «Как исторически создается сплетение между языком, культурой и нормами поведения? Что было первичным? Нормы языка или нормы культуры? В основном они развивались вместе, постоянно влияя друг на друга. Но в этом взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и гибкость этого взаимовлияния и направляет это развитие строго определенными путями» [4]. Е. М. Верещагин и В. К. Костомаров придерживаются другой точки зрения и, как нам кажется, наиболее аргументированной и убедительной. По мнению авторов, «любой язык всегда способен выразить культуру народа, говорящего на нем. Если изменяется культура, появляются или исчезают некоторые культурные элементы, то немедленно, одновременно с изменением культуры, модифицируется и язык. Скажем, упразднили земства, и тотчас вышла из употребления вся некогда многочисленная „земская" терминология. С другой стороны, как только на поверхности Луны оказался движущийся автомат-исследователь, появилось слово *луноход*. Скорость изменения культуры и скорость изменения выразительных и содержательных возможностей языка всегда одинаковы. Отсюда следует важный для излагаемой нами третьей точки зрения вывод: в языке А, обслуживающем культуру А, всегда отыщутся выразительные средства для культурных элементов, общих с культурой Б. А из этого сясвою очередь вытекает: в языке Б имеютте средства, совпадающие своей содержажльной стороной со средствами выразения языка А» [5].

В рассматриваемой книге к каждому разделу теоретической части дается большой список литературы, в котором учтены все основные современные публикации на эту тему. Библиографическая справка представляет особую ценность.

В главе «Страноведение как развивающееся понятие» авторы привели девять разных интерпретаций термина «страноведение». Очевидно, возможности истолкования еще не исчерпаны, новые проблемы дают толчок к обсуждению и развитию теории в разных направлениях. Новизна и актуальность темы захватывает читателя, в то же время всеобщность проблемы оставляет еще неисчерпанными возможности для углубления и расширения составных элементов теории. Наиболее удачной и новой кажется постановка вопроса о семантизации культурного компонента слова. Выделение лексики со страноведческим культурным компонентом в русской лексикографической практике проводится впервые. Новаторской является уже сама попытка освещения этой проблемы (см. стр. 68—133).

Одно из важных достоинств второго издания книги — это усиление ее практической части. Как показано во второй части книги, научная методика преподавания русского языка как иностранного должна опираться на сопоставительный метод: необходимо сопоставлять системы двух языков — родного и иностранного. Для достижения оптимальных результатов в процессе выработки объективных критериев методики преподавания приходится выйти за пределы языка и обратиться к элементам сопоставления двух культур — своей и чужой. Такая постановка вопроса обусловила необходимость привлечения сведений из внеязыковой действительности. В связи с этим в книге уделяется особое внимание национальному складу языка, в частности пластам безэквивалентной лексики. Во втором издании следовало бы расширить главы, посвященные безэквивалентной лексике и основным ее группам в русском языке. К пластам этой лексики относятся «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам» [6]. Во втором издании приведены совершенно новые пробные материалы лингвострановедческого словаря, работа над которым сейчас ведется в Институте русского языка им. А. С. Пушкина. Авторы предложили вниманию читателей 11 словарных статей на темы: «Письмо», «Артек», «Дворец» (Дом пионеров и школьников), «Пионерский галстук», «Пионерский значок» и др. (см. стр. 123—132). Трудности работы над этим новым для русской лексикографии жанром словаря очевидны.

Судя по материалам, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров пошли по пути создания комплексного энциклопедического и толкового словаря. В каждой словарной статье, помимо необходимых лингвистических и грамматических сведений о слове, знакомых нам по обычным толковым словарям, сообщаются те

[3] E. Sapir, Language, «Encyclopaedia of the social sciences», 9, New York, 1933, стр. 233.

[4] B. L. Whorf, Language, thought and reality, New York, 1956, стр. 278.

[5] Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного, М., 1973, стр. 48.

[6] Там же, стр. 53.

сведения о самом понятии, которые нужны всем иностранцам, знакомящимся с русским языком, а через него — с бытом и укладом нашей жизни. При составлении таких словарных статей нелегко найти рациональные пропорции: степень полноты рассказа о реалиях одним читателям может показаться избыточной, другим — недостаточной. Например, в статье «О пионерском галстуке» сообщается, что галстук «делается обычно из шелковой материи» (стр. 130), но встречаются и сатиновые (как кажется, качество материи здесь признак несущественный).

Из книги непонятно, как в словаре вводятся материалы по фразеологии, крылатым словам и литературным афоризмам, примеры которых приведены в приложении (на стр. 187—192). Очевидно, выражение *окно в Европу* будет прокомментировано в самостоятельной словарной статье, а не войдет фрагментом в текст статьи «Окно»? Или материалы по фразеологии составят особый том словаря? В целом авторами найдено главное: определен самый жанр словаря, его отличительные признаки, «нащупан» тип словарных статей. Учитывая же особое назначение словаря, надо отметить, что этот элемент работы был самым трудным. Общественное значение такого словаря в его законченном виде трудно переоценить. Словарь будет настольной книгой для всех иностранцев, изучающих русский язык. В данной рецензии содержание лингвострановедческого словаря затронуто очень бегло; тема словаря заслуживает особого и специального обсуждения.

Во втором издании книги более четко расчленены все стороны проблематики: с одной стороны, история и теория лингвострановедения, с другой — практика преподавания. Заметим, что само по себе преподавание языка составляет тему специальной науки. Поэтому вторая, казалось бы, сугубо практическая часть книги представляет собой по сути дела изложение теоретических аспектов практического лингвострановедения. Важнейшие из затронутых тем, помимо анализа культурного компонента в семантике слова (о чем говорилось выше), — это план речевых ситуаций, лингвострановедческий план афористики, содержание учебного текста, фоновые знания, лингвострановедческий подход к художественным текстам. Авторы справедливо замечают, что практика работы преподавателей русского языка как иностранного всегда включала и включает в той или иной степени разные элементы лингвострановедческого комментирования. Лингвострановедение как особая область филологии возникла как раз на этом фундаменте разностороннего, издавна накопленного опыта преподавания языка.

Для универсального издания в отдельных местах книги несколько тяжеловат стиль изложения: например, заголовок «Лингвострановедческая зрительная семантизация безэквивалентной и фоновой лексики» (стр. 114). Впечатление научной витиеватости изложения, как кажется, достигается иногда нагнетением отвлеченной терминологии в сочетании с прилагательными и «нанизанными» формами род. падежа: ср. «... совокупность преподавательских приемов, связанных с успешной и оптимальной по времени презентацией данного однородного учебного материала» (стр. 61); «аспектизация отражает реальную структуру языка» (стр. 61); «Для адекватной рецепции существенно, чтобы мини-фон имелся до чтения» (стр. 235).

Мелкие замечания нисколько не снижают ценности книги. Она сыграет немалую роль в развитии теории вопроса. Книга написана не только для теоретиков-специалистов, она рассчитана на самые широкие круги читателей. Работа адресована в первую очередь преподавателям русского языка как иностранного, но ее с интересом прочтет и журналист, и аспирант, и редактор, и писатель. Тираж книги сравнительно небольшой — всего 10 тысяч. И первое, и второе издания книги уже в год своего выхода в свет стали библиографической редкостью. И это не случайно. Рецензируемый труд актуален и в научном, и в педагогическом, и в общественном отношениях.

Граудина Л. К.

«Methodiana. Beiträge zur Zeit und Persönlichkeit sowie zum Schicksal und Werk des hl. Method».—Wien—Köln—Graz, 1976. 142 стр. («Annales Instituti Slavici», hrsg. von. F. Zagiba, Bd. 9).

Настоящий тематический сборник статей, представляющий собой очередной том трудов Славянского института в Вене, содержит публикации известных зарубежных славистов различных специальностей, исследующих деятельность первоучителей славян Кирилла и Мефодия и последующую судьбу кирилло-мефодиевского наследства.

Проблематика сборника имеет комплексную природу: деятельность и наследство Кирилла и Мефодия являются предметом изучения историков, текстологов, палеографов, музыковедов, литургистов,

литературоведов, лингвистов и др. Так, например, в сборник вошел целый ряд работ исторического характера: Й. Штабер (Регенсбург) публикует исследование о политико-историческом и социальном подъеме Регенсбурга в IX в.; Й. Масс (Мюнхен) исследует личность и деятельность Анно, епископа Фрейзингенского, который, как известно, участвовал в суде над Мефодием в Регенсбурге; Л. Гавлик (Брно) изучает возникновение Паннонской архиепископии в свете взаимных отношений между папством и Восточной и Западной Римскими империями; наконец, Я. Кадлец (Прага) разбирает достоверность известия о том, что у Мефодия имелось семь викариев. В сборнике содержится также музыковедческая статья Ф. Загибы (Вена) «История развития славянского богослужебного пения у славян и неславян (финно-угров и румын) с IX по XV вв. по западному и восточному обряду», в которой затрагиваются также литературоведческие и текстологические вопросы, существенные, кстати, и для лингвистического аспекта кирилло-мефодиевской проблематики.

В данной рецензии мы разберем лишь филологические публикации, а о работах специалистов в других областях предоставим судить их коллегам.

Проф. Д. Чижевский (Гейдельберг) своей статьей «Мефодий — организатор, миссионер, политик и сочинитель» в силу ее обзорного характера по праву открывает сборник. Статья дает хороший обзор деятельности славянских первоучителей. Написана она с большим знанием предмета.

Д. Чижевский приписывает Мефодию два произведения древнеславянской словесности, причем авторство Мефодия в обоих случаях довольно сомнительно. Во-первых, он поддерживает мнение о том, что Мефодий является автором «Пространного жития Кирилла» [1]: «Вероятно, сам Мефодий автор этого Жития» (ср. стр. 8). На стр. 17 заявление категоричнее: «Мефодий, безусловно, занимался не только переводами и составлением церковно-юридических трудов. Сегодня мы уже едва ли можем сомневаться в том, что Житие Константина было составлено около 882 г. и что Мефодий в его составлении принимал значительное участие». Об авторстве Пространных житий как Кирилла, так и самого Мефодия высказывалось немало догадок. Как известно, сейчас наиболее распространена точка зрения, согласно которой автором Жития Кирилла является Климент Охридский. Б. Ст. Ангелов и Х. Кодов, которые отстаивают эту позицию, выдвинули девять аргументов в ее поддержку (оба Пространных жития взаимно дополняют друг друга, так что они, скорее всего, написаны одним автором; оба Жития имеют много общего в композиции; Жития обнаруживают стилистическое сходство с другими произведениями Климента Охридского; Климент Охридский является автором похвальных слов Кириллу и Мефодию, причем между ними и Житиями имеются совпадения по тексту и т. д.) [2]. Если Д. Чижевский имеет серьезные основания считать именно Мефодия автором Пространного жития Кирилла, то он должен не только перечислить эти основания, но и критически разобрать аргументы сторонников авторства Климента.

Во-вторых, Д. Чижевский считает Мефодия автором одной из глав (именно 7-й) его собственного Пространного жития [3]. На стр. 14 говорится о смерти Кирилла, после которой Мефодию пришлось взять на себя руководство моравской миссией и тем самым отказаться от мысли о скором возвращении в родной монастырь. Д. Чижевский пишет: «Предположительно Мефодий сам изложил свое решение в форме поэтического завещания своего брата: это краткое стихотворение (эпиграмма) и сейчас читается в незначительно измененной форме в Житии Мефодия». Возвращаясь к этой же теме на стр. 18, Д. Чижевский еще раз указывает: «В этом Житии (Житии Мефодия.— *В. Е.*) мы имеем образец стихотворчества Мефодия: а именно всю седьмую главу Жития...». Аргументация сведена к риторическому вопросу: «Кто другой, кроме Мефодия, мог представить этот разговор в форме стиха?» (стр. 18). Логическое построение оказывается слишком сложным: Мефодий должен был сообщить свое стихотворение будущему составителю своего жития (Клименту?), а тот его запомнить и затем точно воспроизвести (причем не только слова Кирилла, но и авторское известие о его кончине). Еще можно было бы согласиться с Д. Чижевским, если бы стихотворное замечание находилось в Житии Кирилла (особенно, если приписать его Мефодию). В данном же случае традиционная оценка завещания как агиографического трафарета более убе-

[1] Сам Чижевский предпочитает называть младшего из двух братьев *Константином*. Получается разнобой: один брат именуется мирским именем, а другой — монашеским (есть основания полагать, что мирское имя *Мефодия — Михаил*). В согласии с отечественной культурной традицией мы в собственном изложении используем имя *Кирилл*.

[2] Климент Охридски, Събрани съчинения, Том трети — Пространни жития на Кирилл и Методий, подготовили за печат Боню Ст. Ангелов и Христо Кодов, София, 1973.

[3] Далее цитируем его по изданию: «Успенский сборник XII—XIII вв.», изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон, под ред. С. И. Коткова, М., 1971.

дительна: святой на смертном одре дает прощальные наставления. В литературе вопроса указываются даже возможные текстуальные источники увещательных слов Кирилла: например, в Надгробной речи Григория Назианзина Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской [4], встречается образ двух волов в одной упряжке (μόσχων συντρόφων καὶ ὁμοζύγων διάζευξις). Короче говоря, и эта вторая атрибуция Д. Чижевского нуждается в полном и всестороннем обосновании.

Тем не менее ученому действительно удалось показать ритмический характер седьмой главы Жития Мефодия, и его наблюдения в силу их принципиальной важности (а также потому, что его публикация содержит несколько исправленных нами досадных опечаток) мы помещаем ниже. Глава 7-я Жития Мефодия состоит из равновеликих синтаксических единств из 8 или 9 слогов каждое. Ср.:

по д(ь)ньхъ [5] *же мнозѣхъ*	8 слогов
кириллъ [6] *на соудъ грядый*	9 слогов
рече къ меѳодию братоу [7]	9 слогов
брате [8] *вѣ соупруга бяховѣ*	9 слогов
кдиноу браздоу тѧжаща	8 слогов
и азъ на лѣсѣ падаю	9 слогов
свои д(ь)нь съконьчавъ	9 слогов
ты [9] *любиши гороу вельми*	9 слогов
то не мози горы ради	8 слогов
ѡставити оучениѭ	8 слогов
своего. паче бо можеши	9 слогов
кымъ с(ъпа)сенъ быти	8 слогов

Таким образом, к уже выявленным стихотворным произведениям древнеславянской литературы кирилло-мефодиевского времени [10] прибавилось еще одно.

Атрибуции Д. Чижевского сомнительны не только по отношению к творческим, оригинальным произведениям, но и по отношению к переводам,— он стремится приписать Мефодию как можно большее число переведенных книг (в ущерб переводческому наследию Кирилла или обоих братьев).

Таким образом, статья Д. Чижевского, будучи хорошим общим обзором просветительской деятельности Мефодия, в своих частных разделах не всегда аргументирована в достаточной степени. Движущая причина выбора атрибуций автором вполне ясна: автор стремится представить Мефодия в наиболее привлекательном свете. Этот мотив автора субъективно вызывает симпатию, но наука в своих суждениях руководствуется материалом и одним только материалом.

Недавно скончавшийся проф. Й. Курц (Прага) поместил в сборнике небольшую, но весьма информативную статью «К характеристике кирилло-мефодиевской эпохи (на материале анализа Житий Константина и Мефодия)». Статья содержит ряд ценных наблюдений. Показано, что в моравской миссии император был заинтересован больше патриарха (патриарх Иоанн — Анис — упоминается в Житии Кирилла вне связи с моравской миссией). Следовательно, миссии придавалось прежде всего политическое значение. Й. Курц убедительно выявил, далее, что в обоих Житиях по отношению к римскому папе используются два семантически разных наименования: *апостоликъ* (или *апостольникъ*) употребляется, когда речь идет о ныне здравствующем папе, а когда о покойном — преимущественно *папежь* (или *папа*).

Общая оценка кирилло-мефодиевской эпохи Й. Курцом представляется слишком смелой. Он пишет, что в Житиях Кирилла и Мефодия «нет антиримских устремлений» и что «оба произведения представляют собой памятник того времени, когда еще не было прервано единство и сотрудничество между Востоком и Западом» (стр. 73). Эта мысль подтверждается ссылкой на известия источников о том, что папы, когда Кириллу и Мефодию приходилось защищаться в Риме, выступали, казалось бы, на стороне славянских первоучителей (исторический аргумент). Однако основное содержание обоих Житий, конечно, совершенно другое. Достаточно обратиться к 15-й главе Жития Кирилла, из которой видно, кто воздвиг хулу на славянскую службу. Виновные названы по имени: *латин'сцѣи съпричестници*, *архїереи*, *креи* и *оученици*. Именно их Кирилл назвал *триезычникы*, *пилатьны*, а составитель Жития отождествил их с сатаною (*трьклети діаволь*). Достаточно также еще раз посмотреть Житие Мефодия с 9 главы по 12-ю (где говорится о борьбе Мефодия с латинянами после кончины Кирилла), чтобы убедиться в том, что авторы обоих Житий выступали против римского противодействия переводам Священного писания и богослужения на местные языки. Сейчас, может быть, и не время возвращаться к старым спорам на эту тему, и если бы Й. Курц ограничился лишь историческим аргументом в своей концепции, мы бы и не стали на ней останавливаться.

Однако Й. Курц стремится обосновать свою позицию еще лингвистически и тек-

---

[4] Отрывки из Надгробной речи в русском переводе см.: «Памятники византийской литературы IV—IX вв.», М., 1968, стр. 77—81. Греческий текст — в 36-м томе Греческой патрологии Миня.

[5] Для удобства подсчета слогов Д. Чижевский распускает титла. Эту его операцию мы заключаем в скобки.

[6] Здесь в Усп. сб. вместо *кириллъ* стоит *философъ*.

[7] В Усп. сб. добавлено *своему*.

[8] В Усп. сб. *се брате*.

[9] В Усп. сб. *а ты*.

[10] Кроме известных работ Н. Трубецкого и Р. Якобсона, см.: J. Hamm, Zur Verskunst Konstantin-Kyrills, «Cyrillo-Methodiana», Köln — Graz, 1964.

стологически. Он полагает, что первоучители в своих переводах использовали, наряду с греческими, также и латинские источники. В частности, конструкции предложений цели в псалтырном тексте, как считает ученый, обнаруживают латинское влияние (таков лингвистический аргумент). Так как Кирилл и Мефодий едва ли могли почувствовать нужду в сверке славянской Псалтыри по латинским текстам в Византии,— и Й. Курц ясно понимает это,— исследователь относит славянский перевод Псалтыри к моравской эпохе деятельности первоучителей. «Перевод Псалтыри,— пишет он (стр. 75),— возник, как известно, лишь в Великой Моравии» (таков текстологический аргумент).

Начнем с текстологической проблематики, тем более что и Д. Чижевский в своем списке переводов, которые он считает выполненными во время подготовки к поездке в Моравию, пропустил Псалтырь (по его мнению, первоначально были переведены Евангелие-апракос, Апостол, паремийник и не называемые точнее «богослужебные книги»; стр. 14). Между тем надо полагать, что Псалтырь безусловно была в группе первоначальных переводов. Имеется прямое свидетельство Жития Мефодия: *пьсалтырь бо бѣ тъкъмо и евангліѥ съ апслымъ и избьраными слоужьбами црквьными. съ философъмь прѣложилъ пьрьвѣѥ* (Усп. сб., лист. 108 в); здесь в группе с самого начала переведенных книг на первом месте поставлена как раз Псалтырь. Если изучить псалтырные цитаты в славянских евангелиях и апостолах, то тексты практически совпадают; следовательно, Псалтырь была переведена до Евангелия и из нее делались выписки [11]. Во всяком случае, Ягич убедительно показал общность славянских Псалтыри и Евангелия по языку и отнес их к единой и первоначальной группе источников [12]. Кроме того,— и это соображение является решающим,— Псалтырь настолько нужна для богослужения (по 85-му апостольскому правилу), что обойтись без ее перевода в самом начале миссионерской деятельности было совершенно невозможно [13].

Что касается лингвистического аргумента Й. Курца, то и его сила невелика. Известно, что дискуссия по поводу латинского элемента в кирилло-мефодиевских переводах отнюдь не привела к безусловному обнаружению этого элемента, но, напротив, имеет тенденцию все больше и больше сокращать сферу, в которой возможно латинское влияние. По мнению П. Й. Шафарика и особенно В. А. Погорелова [14], первоучители постоянно пользовались не только греческими, но и латинскими текстами. И. Вайс продемонстрировал, что В. А. Погорелов в своих разысканиях не учел всех греческих вариантов и посчитал латинизмами и те переводы, для которых отыскивается греческий источник; сам Й. Вайс, правда, признавал зависимость славянских Евангелия и Псалтыри от Вульгаты, но, по его мнению, вопреки В. А. Погорелову переводчики не имели перед глазами двух текстов, а просто сверили перевод с греческого с латинским источником [15]. С. Слоньский, представив количественные выкладки, пришел к практическому отрицанию латинского влияния: по его словам, единичные примеры совпадения с латинским текстом теряются в подавляющей массе отличий от Вульгаты и совпадений с греческим оригиналом [16]. А Мейе окончательно разрушил концепцию П. Й. Шафарика и В. А. Погорелова [17].

Как менялись оценки, хорошо прослеживается на примере фразы, считавшейся безусловным, «классическим» латинизмом. В евангелиях от Матфея (6, 13) и от Луки (11, 4) в составе «Отче наш» имеется фраза *не вьведи насъ въ напасть* при греческом соответствии μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. В греческом источнике стоит глагол φέρω, и переведен он не регулярным славянским соответствием, т. е. глаголом *нести*, а глаголом *вести* (который семантически соответствует греческому ἄγω). Поэтому, как считали сторонники латинского влияния на переводы, лат. *ne nos inducas in tentationem* точно совпадает со славянским текстом. М. М. Копыленко, Д. Хантли, а также и

---

[11] J. Vlášek, Po stopách archetypu staroslověnského překladu žalmů, «Studia palaeoslovenica», Praha, 1971; L. Moszyński, Fragmenty psalterzowe apostola Enińskiego wobec tzw. Psalterza Synajskiego, «Константин-Кирил Философ», София, 1971.

[12] И. В. Ягич, Четыре критико-палеографические статьи, СПб., 1884, стр. 41 и сл.

[13] См. подробнее: Е. М. Верещагин, Прием параллелизма в Псалтыри и выявление смысловых связей между словами первого литературного языка славян, «Советское славяноведение», 1975, 2.

[14] В. А. Погорелов, Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы. I. Латинское влияние в переводе Евангелия, «Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě», 1925, 3.

[15] J. Vajs, Jaký vliv měla latinská Vulgáta na stsl. překlad evangelní, «Slavia», 1926/27, 5, 1.

[16] S. Słoński, O rzekomym wpływie lacińskiej Vulgaty na stsl. przekład Ewangelji, «Slavia», 1927/28, 6, 2—3.

[17] A. Meillet, L'hypothèse d'une influence de la Vulgate sur la traduction slave de l'Évangile, RÉSl, 6.

автор этих строк [18] показали, что в данном случае перед нами не произвол переводчиков и не воздействие иноязычного образца, а следствие функционирования нормы словосочетаемости в славянском языке (перевод по принципу дополнения славянских словосочетаний [19]). Теперь сфера поисков латинского влияния в переводах, как мы видим, сократилась до предложений цели в Псалтыри. Примеры, которые приводит Й. Курц, показывают скорее не влияние латыни, а своеобразие грамматической системы первого литературного языка славян. Если даже и согласиться с Курцем в данном конкретном случае, все равно его материал не дает оснований для вывода о правке Псалтыри по Вульгате, т. е. о стремлении славянских первоучителей таким способом выразить свои мнимые «латинские симпатии».

Следующая филологическая статья в сборнике принадлежит Й. Погачнику (Нови Сад) и посвящена исследованию роли Б. Копитара в становлении карантанско-паннонской теории происхождения языка Кирилла и Мефодия. Автору удалось убедительно показать, что даже те концепции, которые в конце концов оказываются ошибочными, все же вносят позитивный вклад в накопление научных сведений. Й. Погачник изучил также место паннонской теории Копитара в политической борьбе славян Австро-Венгрии.

Филологический цикл статей сборника замыкается пространным исследованием Р. Вечерки «К периодизации древнецерковнославянского». Термином «древнецерковнославянский (язык)» автор называет «язык совокупности рукописей, которая, будучи определена Ягичем [20], не претерпела существенных изменений» (стр. 92). Компетентное и глубокое исследование Р. Вечерки заслуживает отдельного обстоятельного разбора, которого мы сейчас из-за нехватки места не можем произвести. В своих частностях построения ученого вызывают на спор, но его общий результат, который суммирован в перепечатываемой нами схеме, действительно отражает современное состояние исследования вопроса и, пожалуй, справедлив.

В настоящей рецензии обсуждались преимущественно спорные положения статей сборника. Тем не менее если судить о статьях в целом, они оставляют самое благоприятное впечатление — эрудицией авторов, глубоким проникновением в изучаемые вопросы. Несомненным достоинством сборника является и то, что он приглашает к дискуссии, будит мысль.

На фоне рассматриваемой книги невольно обращаешься к состоянию кирилло-мефодиевских исследований в нашей стране.

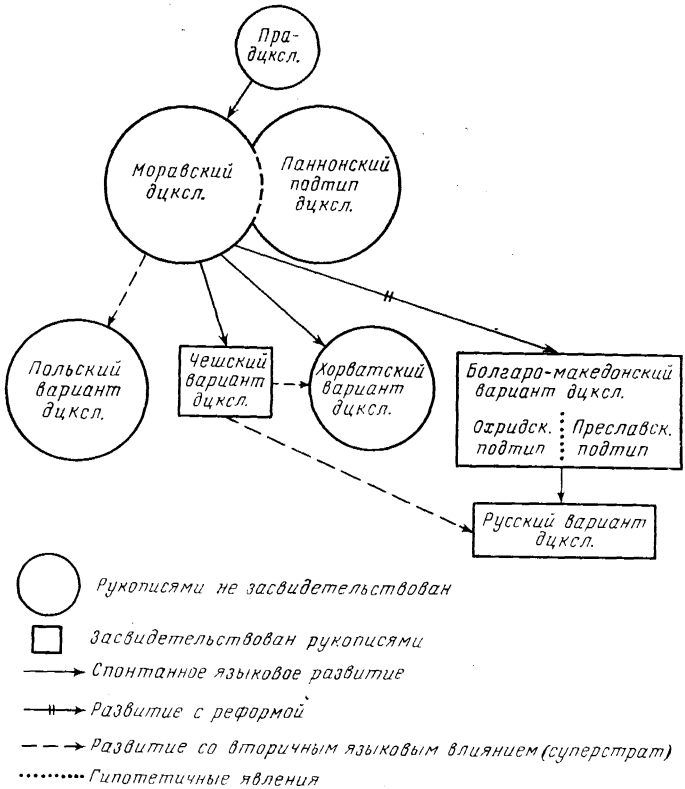
Изучение кирилло-мефодиевского вопроса образует одну из традиционных исследовательских тем отечественной филологической науки. И. В. Ягич в свое время указывал: «Успехи славистики и вопрос о деятельности Кирилла и Мефодия находятся в неразрывной связи. Этот вопрос образует краеугольный камень славянской филологии как исторической науки. Чем более она крепнет, тем сильнее привлекает к себе пытливость исследователя великий момент в исторической жизни славян, связанный с деятельностью Кирилла и Мефодия» [21]. Весь XIX и начало XX в. в отечественной славистике прошли под знаком пристального внимания к кирилло-мефодиевскому наследству: в 1825 г. вышла в свет первая на русском языке книга о славянских просветителях, и за сто лет литература по кирилло-мефодиевской проблематике выросла до необъятных размеров. Можно с уверенностью сказать, что в с е российские ученые-слависты (лингвисты, литературоведы, историки) в той или иной мере внесли свой вклад в эту литературу. Среди них особого упоминания заслуживают: А. Х. Востоков, П. И. Прейс, В. И. Григорович, О. М. Бодянский, И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, Ф. Ф. Фортунатов, И. В. Ягич, А. А. Шахматов, В. К. Поржезинский, В. И. Ламанский, Е. Ф. Карский, С. М. Кульбакин, Е. Е. Голубинский, М. П. Погодин, С. К. Булич, А. И. Добрянский, А. С. Будилович, Ф. И. Буслаев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Н. Глубоковский, К. Я. Грот, М. С. Дринов, Н. М. Каринский, Н. И. Ильминский, Н. В. Ястребов, А. В. Горский, К. И. Невоструев, Н. К. Грунский, В. Н. Бенешевич, А. Л. Дювернуа, И. Е. Евсеев, Я. С. Елпидинский, Г. А. Ильинский, В. О. Ключевский, Х. М. Лопарев, П. А. Лавров, А. В. Михайлов, И. И. Малышевский, В. Н. Щепкин, М. Г. Попруженко, П. Н. Сакулин, Н. С. Тихонравов, В. А. Погорелов и многие другие. С течением

[18] М. М. К о п ы л е н к о, Исследование в области славянской фразеологии древнейшей поры. ДД, Алма-Ата, 1966, стр. 333, Д. G. H u n t l e y, Is OCS «Lead us not into temptation» a latinism?, «Slavia», 1966, 35, 3; Е. М. В е р е щ а г и н, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия, М., 1972, стр. 119—121.

[19] Об этом принципе см.: Е. М. В е р е щ а г и н, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия, М., 1971, стр. 108—126.

[20] V. J a g i ć, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913.

[21] И. В. Я г и ч, Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской филологии, «Записки АН», 51, 1, прилож. № 1, СПб., 1885, стр. 3.



Развитие древнецерковнославянского (дцксл.) до конца XI в.

времени в силу самых разнообразных причин изучение кирилло-мефодиевского вопроса в отечественной науке, к сожалению, пришло в упадок [22].

Между тем разработка этого вопроса крайне важна не только для славистической науки — для культуры в целом. Известно, что дни памяти славянских просветителей объявлены государственными праздниками в ряде славянских стран (в Болгарии, Чехословакии, в республиках Югославии). В области лингвистики без анализа кирилло-мефодиевского наследства невозможно понять ни генезиса первого литературного языка славян, ни возникновения национальных славянских литературных языков, в том числе и особенно русского, украинского и белорусского. Поскольку в истории русского литературного языка не было разрыва с древнеславянской письменностью, сокращение кирилло-мефодиевских разысканий в нашей стране кажется совершенно противоестественным.

Напомним, что во время празднования памятных дат славянской письменности и культуры в 1963 и 1969 гг. (по решению ЮНЕСКО 1100-летие славянской письменности отмечалось во всемирном масштабе) фундаментальные исследования и юбилейные сборники статей были опубликованы в целом ряде стран (в Австрии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, ФРГ, Греции и др.), а в СССР вышла в свет лишь одна книга (В. А. Истрина) и один небольшой сборник статей (изданный в Киеве) — вклад исследователей, явно не соответствующий месту и значению Советского Союза в мире.

Пришло время возродить добрую отечественную культурную и научную традицию пристального внимания к кирилло-мефодиевскому наследству. Возрождение этой традиции, полностью совпадая с усилиями нашего государства по охране и использованию памятников истории и культуры, будет иметь большое патриотическое значение [23].

Верещагин Е. М.

[22] Тенденцию к сокращению числа исследований по старославянскому языку проследила Л. П. Жуковская («Об исследованиях по старославянскому языку», ИАН ОЛЯ, 1974, 6).

[23] Настоящая рецензия уже находилась в редакции журнала, когда пришло скорбное известие о кончине редактора сборника — доктора наук, профессора Венского университета, основателя Славянского института и его генерального секретаря Франца Пауля Загибы. Заслуженный ученый умер 12 августа 1977 г. в Вене на 65 году жизни.

А. И. Чобану. **Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке** (Опыт семантико-дистрибутивного анализа). Часть I. — Кишинев, «Штиинца», 1976. 236 стр.

Сказуемое как центральное организующее звено предложения занимало умы многих исследователей различных в типологическом плане языков [1]. Вслед за Л. Теньером французские и бельгийские грамматисты считают организующим центром предложения не сказуемое, а глагол в личной форме без особой дифференциации и спецификации в его значении. По предложению Э. Бейссенса глагол в личной форме как синтаксическая функция получил название «основы» (base) предложения [2]. Многие же советские и зарубежные исследователи рассматривают структуру предложения, исходя не из заполняющих синтаксические позиции частей речи, а из функциональной организации предложения. Небезызвестны попытки советских лингвистов определить языковой статус [3] члена предложения и характер его отношения к части речи [4], найти логическое обоснование [5] системе членов предложения или же, наоборот, языковое обоснование компонента логического построения [6]. Функциональный структурный каркас предложения варьирует от автора к автору.

А. И. Чобану выбирает второй путь исследования. Абстрагируясь от проблематики функциональной организации предложения в зависимости от его денотативного, сигнификативного и структурного значений, он выбирает только составное именное сказуемое в качестве предмета своего исследования. Сказуемому как основной организующей функции предложения в работе определения не дается. Понятие сказуемого принимается автором как таковое.

Рецензируемая работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложения.

Во введении, в частности, постулируется, вслед за В. Н. Ярцевой, «необходимость изучения связи между синтаксической функцией слова и его семантикой» (стр. 4), иначе «самая непосредственная взаимозависимость между категорией значения и категорией отношения в синтаксисе» (там же). «Значения (лексические.— *Б. В., Ч. Г.*), которые выявляются в процессе их реализации в определенных дистрибутивных формулах», получают в работе наименование «репрезентаций» (стр. 5). Способность глагола выступать самостоятельно в функции простого, либо компонентом составного именного или же сложного глагольного сказуемого понимается А. И. Чобану как его «позиционная» характеристика (стр. 4—5). Иными словами, автор видит в этой способности один из релевантных признаков «позиции» (синтаксической), наряду с дистрибутивной потенцией и местом глагола в структуре существующих видов сказуемого (стр. 4). Тем не менее четкого определения понятия синтаксической позиции не дано. А при уточнении возможных «позиций» глагола в личной форме (Poz 1—3) его «синтаксическая позиция» отождествляется с его функцией (стр. 4).

Позиционно-репрезентационному анализу подвергаются более 5500 глаголов, из числа которых выделяются 64 полусвязочных. Последние распределяются на 15 тематических групп. Каждая из 15 тематических групп и каждый глагол группы характеризуются, по мнению автора, своим позиционным, репрезентационным и дистрибутивным статусами (стр. 6).

Фактический иллюстративный материал представлен примерами из молдавского литературного языка, а также из некоторых других индоевропейских языков.

Оставаясь фактически на позициях традиционной (классической) лингвистики, А. И. Чобану применяет в своем исследовании, помимо позиционно-репрезентационного и дистрибутивного анализов, некоторые приемы трансформационной грамматики, а также элементы «юнкционного» представления реляционной структуры предложения, разработанного А. В. Мухиным [7].

Полусвязочные глаголы определяются в «Заключении» как «своего рода глаголы-предикаторы, выполняющие преди-

---

[1] См., например: «Члены предложения в языках различных типов» («Мещаниновские чтения»), Л., 1972.

[2] E. Buyssens, Les fonctions du verbe, «Revue des langues vivantes», 1956, 22 an, стр. 291—294.

[3] Л. И. Илия, Являются ли члены предложения языковыми единицами, в кн.: «Докл. и сообщ. фак-та французского языка 1-го МГПИИЯ», 1, 1958, стр. 62—68.

[4] И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.— Л., 1945.

[5] См., например: М. Д. Потапова, К проблеме логико-синтаксической организации членов предложения, в кн.: «Проблемы синтаксической семантики. Материалы научной конференции», М., 1976, стр. 197—199.

[6] Н. Ф. Алиева, Выражение объектных отношений глагола как универсальное свойство языков, «Языковые универсалии и лингвистическая типология», М., 1969, стр. 129.

[7] См., например: А. В. Мухин, Структура предложений и их модели, Л., 1968.

кативно-связочную и предикативно-модальную функции» (стр. 185) и «генерирующие бином $V + N$» (стр. 5), и являются в то же время структурной частью именного сказуемого (стр. 3).

После сжатого рассмотрения степени изученности полусвязочных глаголов в молдавском языке (стр. 8—11) в первой главе уточняется круг вопросов, составляющих проблематику полусвязочных глаголов. По мнению автора, в работах, где затрагивалась проблема полусвязочных глаголов, нельзя найти исчерпывающего ответа на такие вопросы, как: сходство и различие между копулой *а фи* «быть» и семикопулативными глаголами типа *а девени* «становиться» в составе именного сказуемого; принципы выделения и классификации полусвязочных глаголов; количественная характеристика этих глаголов; взаимодействие полусвязки с предикативом на разных уровнях; семантические изменения в составе *PN*, связанные с морфологической природой предикатива; полусвязочные глаголы в построениях с двумя именительными и двумя винительными падежами; полусвязочные глаголы и проблема возвратного залога; взаимодействие между репрезентационными и залоговыми свойствами полусвязочных глаголов; тематическая классификация полусвязок; структурно-семантический анализ каждой тематической группы полусвязочных глаголов; полусвязочные глаголы и категория транзитивности/интранзитивности и др. (стр. 11).

После критического анализа терминологических споров по поводу наименования полусвязочных глаголов (стр. 11—15) А. И. Чобану приходит к выводу, что терминология связана с природой самого языкового явления (стр. 14). Вслед за В. Н. Ярцевой он высказывается в пользу определенной семантической (=лексической) «догрузки» полусвязочного глагола (стр. 15). Отстаивая необходимость адекватности и ясности в употреблении терминов, автор рецензируемой работы допускает в отдельных случаях некоторую неточность в употреблении таких терминов, как «предикативность» и «сказуемость» [8], отражающих разнонаправленность связи предложения и требующих соблюдения уровневого анализа языка. Так, на стр. 4 говорится о степени сказуемости как существенном признаке глагола, а на стр. 16 о предикативно-связочной и предикативно-модальной функциях полусвязочных глаголов. В то же время на стр. 12—13 мы читаем: «Подобно тому, как полувспомогательные глаголы могут быть и предикативными, и непредикативными, вспомогательными (редко) и самостоятельными, так и полусвязочные... глаголы способны проявлять то предикативную, то непредикативную функцию,...». Таким образом, «предикативность» и «сказуемость» отождествляются. Д ается, что здесь следовало бы говорить способности полусвязочных глаголов к усложнению, точнее к осложнению предикационной структуры простого предложения через лексическую «догрузку» первого компонента сказуемого [9].

Вторая глава (стр. 16—80) посвящена общим теоретическим вопросам полусвязочного глагола как организующего компонента составного именного сказуемого. В качестве такового полусвязочный глагол требует в синтагматической цепи «элементов с определенным синтаксическим значением» (стр. 22), позволяющих ему выполнять одновременно и предикативно-связочную и предикативно-модальную функции. Лексико-синтаксическое взаимодействие полусвязочного глагола и и предикатива отражается на ритмико-интонационной характеристике первого. На наш взгляд, это положение необходимо было бы подкрепить данными экспериментальной синтаксической фонетики. Можно согласиться, «что одним из релевантных признаков предикативного бинома V + N является и его интонационная нерасчлененность в стилистически неокрашенных предложениях» (стр. 24). Нисходящее же «движение тона, вызванное перемещением ударения с V на N», требует экспериментальной проверки, хотя бы потому (да и не только потому), что уже в силу лексической догрузки полусвязочный глагол способен носить логическое ударение.

Изменение «синтагматической способности» финитного глагола приводит к его превращению в полусвязочный, а «характер дистрибуции или дистрибутивная формула, в которую попадает глагол, отражается самым непосредственным образом на семантическом и синтаксическом облике глагола» (стр. 27). По мнению А. И. Чобану, внутреннее изменение позиционных свойств глагола могло произойти в основном в речи (стр. 27). Полу-

---

[8] См. довольно четкое противопоставление у И. И. Мещанинова в его статье «Предикативность, сказуемость, глагольность» («Вестник ЛГУ», 1946, 4—5). Эти понятия следует рассматривать как находящиеся в отношении частного к общему (см.: В. И. Банару, Очерк по теории предикативности, Кишинев, 1973; его же, Некоторые вопросы функциональной перспективы предложения, Кишинев, 1975).

[9] См. об этом: О. С. Богомолов, Проблема взаимоотношения зависимой и независимой предикации в простом предложении современного французского языка. АКД, М., 1975; В. А. Бирюков, Регулярные реализации усложнения глагольного сказуемого в современном немецком языке. АКД, М., 1975.

связочные глаголы становятся и являются глаголами широкой семантики. Можно согласиться с тем, что «трудно назвать какие-либо другие глаголы, которые бы так свободно и широко видоизменяли свой основной, первоначальный смысл и свою основную синтаксическую позицию в зависимости от окружающих элементов, с которыми они сочетаются» (стр. 25).

Значение полусвязочных глаголов выявляется, исходя из «комплексной концепции», т. е. учитывается синтагматическая взаимообусловленность сочетающихся в синтаксической конструкции элементов. Результаты такого анализа суммируются наглядно схемой (стр. 33), доказывающей, «что между составными частями именного сказуемого, а также между сказуемым и подлежащим устанавливаются семантико-синтаксические связи» (стр. 33).

После критического обзора некоторых существующих классификаций полусвязочных глаголов (стр. 33—38) А. И. Чобану предлагает свою классификацию этих глаголов «по принципу позиционно-репрезентационного анализа» (стр. 38—48). В основу распределения полусвязочных глаголов по тематическим группам кладется семантическая доминанта или же «смысловое содержание, близкое к значению стержневого глагола» (стр. 40): 1) verba deveniendi: *а девени* «стать, становиться» и др.; 2) verba constandi: *а рэмыне* «оставаться» и др.; 3) verba nominandi: *а се нуми* «называться, зваться» и др.; 4) verba declarandi: *а се декларa* «провозгласить себя» и др.; 5) verba considerandi: *а се консидера* «считаться» и др.; 6) verba sentiendi: *а се симци* «чувствовать себя» и др.; 7) verba hypotandi: *а се пэря* «казаться» и др.; 8) verba exaggĕrandi: *а се претинде* «считать себя» и др.; 9) verba simulandi: *а се префаче* «притворяться» и др.: 10) verba transformandi: *а се трансформа* «превращаться» и др.; 11) verba nascendi: *а се наште* «родиться» и др.; 12) verba existendi: *а се афла* «быть в состоянии» и др.; 13) verba simulandi: *а ынсемна* «означать»; 14) verba angajandi: *а се ангажа* «устроиться» и др.; 15) verba finali: *а серви* «служить» и др.

Четкой границы между установленными тематическими группами нет. Так, глагол *а се фаче* «стать, притворяться, превратиться» раскрывает в «схеме синтаксических позиций» (стр. 45) «пучок» репрезентаций тематических групп deveniendi, simulandi и transformandi.

Полувспомогательность не лишает глагола залоговой характеристики. Так, местоименные глаголы (их в работе 42, стр. 70) могут совмещать несколько частных залоговых значений (стр. 57), среди которых выделяются актив/пассив, возвратность, имперсональность и эвентивность. Взаимодействие или переплетение частных залоговых значений в местоименных формах полувспомогательных глаголов резюмируется таблицей (стр. 68—69). Здесь все же представляются спорными включение и рассмотрение имперсональности и эвентивности в одном ряду с активностью/пассивностью и возвратностью.

Местоименность полувспомогательного глагола не только ограничивает его способность к сочетаемости и к характеристике субъекта (стр. 75), но и затрагивает статус переходности/непереходности. Традиционно «общепринято считать связочными только непереходные глаголы» (стр. 75). Анализ фактического материала заставляет А. И. Чобану задуматься над общеизвестным тезисом об интранзитивности связочных глаголов в целом (стр. 77). Вследствие чего он приходит к мысли о необходимости произвести пересмотр традиционной интерпретации полусвязочных глаголов как интранзитивных (стр. 77).

Комплексной семантико-синтаксической характеристике предикатива посвящена третья глава (стр. 81—111). Основными моментами этой части работы являются: 1) установление тождества и различий в объеме содержания составного именного сказуемого и подлежащего при выражении признака субъекта конструкцией с именительным предикативным (см. схемы на стр. 89—91) и 2) установление пересечения или точнее частичного наложения объемов содержания составного именного сказуемого и подлежащего, составного именного сказуемого и дополнения при выражении признака объекта конструкцией с двойным винительным (см. схему на стр. 99). Винительный предикативный рассматривается как структурно-семантически необходимый компонент составного именного сказуемого (стр. 100—108), сочетающегося с полусвязочными глаголами определенной семантики. Таких глаголов 46 из общего числа 64; 16 полусвязочных глаголов исключают винительный предикативный, а два глагола соотносят предикатив в винительном падеже с объектом не в винительном, а в дативе (стр. 110).

Дифференциация в значении предикатива производится на основе падежной характеристики как самого предикатива, так и определяемого компонента предложения. Представляется, однако, что в восточнороманских языках падежные противопоставления реализуются не столько морфологическими показателями сочетающихся в предложении полнозначных элементов, сколько их позиционным отличием в смысле Ж. Фурке [10]. Морфологи-

[10] J. Fourquet, L'ordre des éléments de la phrase en germanique ancien. Etudes de syntaxe de position, Paris, 1938. См. обзор Н. И. Филичевой в ВЯ, 1967, 2, стр. 118—119.

чески имена существительные и прилагательные восточнороманских языков обладают показателями только двух падежей: именительно-винительного и дательно-родительного. Любопытен факт, что синтактико-аналитический показатель восточнороманского генетива согласуется в роде и числе с определяемым, а не с именем в родительном падеже. Причем немаркированной выступает форма женского рода, ср. (*картя есте*) *а бэятулуй*, (*крейонул есте*) *ал бэятулуй*, (*кэрциле сынт*) *але бэятулуй*, (*пештий сынт*) *ай бэятулуй* «(книга принадлежит) мальчику, (карандаш принадлежит) мальчику, (книги принадлежат) мальчику, (рыбы принадлежат) мальчику». Исходя из этого, представляется, что предикативы распределяются в молдавском языке на лексико-синтаксические группы не по падежному показателю, как в латыни и в русском языке, а по синтактико-позиционному критерию, который позволяет видеть сходство восточнороманских и западнороманских языков в построении составного именного сказуемого.

В четвертой главе проводится позиционно-репрезентационный и дистрибутивный анализ полусвязочных глаголов тематической группы deveniendi. Установлено, что один и тот же глагол этой группы может функционировать в качестве «настоящей» или же «мнимой» связки (стр. 114—123). Полусвязочный глагол является «мнимым», если в сочетании с предикативом он трансформируется в делокутивный глагол: *а девени бэтрын — а ымбэтрыни* «стать старым — постареть». В таком случае «мнимый» полусвязочный глагол создает, по мнению автора, не составное именное сказуемое, а глагольное простое (стр. 118—123), что представляется весьма дискуссионным, ибо «доза информации» (стр. 119) предложений, представляющих хотя бы минимальное синтаксическое различие, может быть одинакова только по отношению к денотату. Это доказывается самим же автором при установлении аспектуальной (стр. 123—126), модальной (стр. 126—131), залоговой (стр. 140) характеристик полусвязочных глаголов, «мнимых» в том числе.

Эта глава, как и все предыдущие, насыщена богатым фактическим материалом. Особый интерес она вызывает в плане функциональной корреляции «глагол — имя».

В последней, пятой главе проводится итоговый анализ семантико-дистрибутивных свойств выделенных 64 полусвязочных глаголов. Общая позиционная (стр. 151—154), репрезентационная (стр. 154—166) и дистрибутивная (стр. 167—184) характеристики выделенных 15 тематических групп полусвязочных глаголов представлены тремя отдельными итоговыми параграфами и широко проиллюстрированы цифровыми данными, диаграммами, таблицами и схемами.

В заключении книги говорится, что «исчерпывающее решение проблемы (полусвязочного глагола.— *Б. В.*, *Ч. Г.*), безусловно, потребует дальнейшего изучения фактического материала, подкрепляющего теоретические основы работы и уточняющего отдельные ее положения» (стр. 191). И все-таки следует отдать должное автору: аргументация выработанных им положений очень богата фактическим материалом и тонкими наблюдениями. Чтение книги А. И. Чобану наводит на размышление. Спорных вопросов затронуто много, а их решение в рецензируемой книге своеобразно. Этим она и ценна. Высказанные здесь некоторые замечания не касаются основных положений работы и не умаляют ее общей значимости. Известный в Молдавии по целому ряду работ [11] А. И. Чобану дал советскому читателю еще одно серьезное монографическое исследование.

Банару В. И., Чинчей Г. С.

---

[11] См., например, его книги: «Пэрциле принчипале але пронозицией», Кишинэу, 1969; «Проблеме дифичиле де граматикэ», Кишинэу, 1969; «Опыт семантико-дистрибутивного анализа полусвязочных глаголов в молдавском языке», Кишинев, 1973; «Практикум ла синтаксэ», Кишинэу, 1976 и другие работы.

В. Ф. Шишмарев. **Романские поселения на Юге России.**
Изд. подготовили М. А. Бородина, Б. А. Малькевич, Н. Л. Сухачев.
Отв. ред. акад. В. М. Жирмунский, Б. В. Левшин. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1975, 246 стр. («Труды Архива АН СССР», 26)

В архиве Ленинградского отделения АН СССР, ф. 896, хранится значительная часть рукописного наследия акад. В. Ф. Шишмарева. Знакомство с этим архивом показывает всесторонние и глубокие интересы ученого к самым различным и значительным вопросам романской филологии. Полное описание фонда по архивным правилам опубликовано в 1965 г. в «Трудах Архива», 21 [1]. Из этого описания мы узнаем о работах В. Ф. Шишмарева по литературоведению и текстологии (в частности, ему принадлежит единственное полное описание всех текстов литературного содержания старофранцузского языка, хранящихся в рукописном отделе ГПБ им. Салтыкова-Щедрина [2]); по романскому языкознанию (история языка, диалектология, в том числе общие работы и работы по латинскому, французскому, итальянскому, испанскому и балканороманским языкам); по русскому языку и литературе, их взаимосвязи с романскими языками и литературой; по всеобщей истории и истории философии; наконец, по истории музыки.

Вся эта характеристика наследия В. Ф. Шишмарева приводится для того, чтобы у читателя не возникло впечатления неожиданности появления в печати рецензируемого труда. Именно этот труд более всего связан с основным интересом ученого, не ослабевавшим никогда и особенно проявившимся в последние десятилетия его жизни,— интересом к изучению языковых структур в их временном и пространственном варьировании.

Среди его печатных работ это особенно хорошо выразилось в известном исследовании итальянских говоров в Крыму [3], которое возникло благодаря полевому исследованию, проведенному В. Ф. Шишмаревым на местах переселений носителей итальянских диалектов Трани и Бишелье; исследование диалектов сопровождалось изучением их истории и степени сохранности исконных черт наряду с чертами контаминации с окружающей языковой средой. В результате ученый подходит к описанию фонетической и грамматической системы транезского и бишельезского говоров итальянского языка.

Такой интерес ученого к изучению не только литературных языков, но и их антиподов — диалектов, ярко проявлялся в течение 30 лет его творческой жизни. Постановка проблемы «островных» диалектов, вопросов о многоязычии и контаминации оказалась не только интересной для своего времени, но и перспективной для дальнейших разработок. В трудах учеников и последователей акад. В. Ф. Шишмарева получили развитие намеченные им идеи этого плана. Побывав в с. Шабо Белгород-Днестровского р-на, куда переселилось значительное число швейцарских французов еще во времена Александра I, В. Ф. Шишмарев неоднократно подчеркивал необходимость продолжить начатую им полевую работу. Примечательно то, что проводя вслед за своим учителем изучение говора с. Шабо, М. А. Бородина сохранила весь объем проблем, занимавших В. Ф. Шишмарева,— от истории колонии, с географическими, экономическими и демографическими данными, до детального описания языковых форм и структур говора [4].

Получили развитие идеи В. Ф. Шишмарева относительно состояния других романских наречий на юге России. Так, часть хранящихся в ЛО Архива АН СССР листов записей В. Ф. Шишмарева лингвистического и фольклорного характера южноитальянских говоров в Крыму была обработана и издана А. А. Касаткиным и М. П. Акимовой (Корси) в уже упоминавшемся труде «Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева». Рецензируемое издание включает сопоставление материалов В. Ф. Шишмарева тридцатых годов с наблюдениями нашего времени (статья М. П. Корси «Современное состояние бишельезского говора в Крыму»). М. П. Корси использует также данные лингвис-

[1] «Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева в архиве Академии наук СССР. Описание и публикации», сост. М. А. Бородина, Б. А. Малькевич, «Труды Архива АН СССР», 21, М.— Л., 1965, стр. 34—71.

[2] Этот большой и ценный труд опубликован в «Трудах Архива АН СССР», 21, стр. 75—134.

[3] В. Ф. Шишмарев, Один из южноитальянских говоров в Крыму, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 1940, 5/58, стр. 315—366. См. также в работе «Рукописное наследие...» (стр. 145—153) материалы по южноитальянским говорам в Крыму (пословицы, басни, фрагменты песен).

[4] См.: М. А. Бородина, Колония Шабо, в кн.: «Французский ежегодник. 1963», М., 1964; ее же, Термины виноградарства и виноделия в говоре Шабо, «Лимба ши литература молдовеняскэ», 1962, 2; ее же, Le parler de Chabag, RLR, XXVII, 1963, № 107—108; ее же, О французской колонии в Шабо, в кн.: В. Ф. Шишмарев, Романские поселения на юге России.

тического атласа Италии и Южной Швейцарии К. Яберга и Я. Юда.

Островные говоры молдавских поселений подверглись тщательному исследованию в вышедшем лингвистическом атласе Молдавии [5]. Рецензируемый труд включает статью Р. Я. Удлера «Современное состояние островных говоров молдавских поселений в СССР», показывающую состояние разысканий в области проблематики, связанной с описанием молдавских говорных групп в Украинской ССР и на Кавказе. На большом фактическом материале автор статьи показывает, что «гипотетические выводы акад. В. Ф. Шишмарева, основанные на данных исторического характера, о родине молдаван, которые оседали в гражданских и военных поселениях, образованных в XVIII в., могут быть подтверждены или уточнены путем сравнительного анализа материала, собранного для АЛМ» (стр. 176).

Книга «Романские поселения на юге России» открывается небольшим вступлением, где ее составители М. А. Бородина и Н. Л. Сухачев говорят об особенностях подготовки этого архивного материала к публикации, отмечая большую помощь, оказанную в этой работе сотрудниками АН Молдавской ССР Е. М. Руссевым и Р. Я. Удлером. Затем помещены рукопись В. Ф. Шишмарева (с небольшими сокращениями) и «Приложение», содержащее статьи Р. Я. Удлера, М. А. Бородиной, М. П. Корси. После авторского предисловия и введения следуют части: I. Волохи [6], II. Французы, III. Итальянцы.

В предисловии В. Ф. Шишмарев отмечает, что работа эта возникла «из вступительных лекций в курс, посвященный обзору романских наречий, бытующих в пределах СССР» (стр. 6), и выполнена с использованием архивных материалов для уточнения данных о переселениях «негородских элементов» романских народов на юг России. Во введении уточняются исторические условия появления романских поселений начиная с далеких времен (XII в.).

Содержанием первой части является описание военной службы волохов в допетровскую эпоху, в эпоху Петра I и его преемников. Автор показывает, как проходило заселение Слободской Украины, возникновение военных поселений (укрепление южной границы до царствования Елизаветы; Новая Сербия до 1762 г.; Славяносербия; эпоха Екатерины II; гражданские поселения). В главе о территориальных приобретениях дается история Очаковской области и Бессарабии. Отдельная глава посвящена молдавским группам на Украине и Кавказе.

Во второй части В. Ф. Шишмарев столь же подробно рисует исторический фон изучаемого события. Говорится о французской иммиграции в XVIII в. (от Петра I до Екатерины II; проекты Лафона, Ла Ривьера, Вейсбаха; «вызывательство» в эпоху Екатерины II; волжские колонии; дальнейшая судьба волжских колоний). Внимательно рассмотрена судьба отдельных французских хозяйств в Новороссии и Крыму. Отдельная глава посвящена французской иммиграции в XIX в. (новые принципы и проекты; швейцарское поселение в Шабо).

Переходя к разделу об итальянцах, автор делит материал на две части: в первой рассказывает об итальянской иммиграции в XVIII в. (остатки старых итальянских поселений; переселенческая волна 1782—1783 гг.; «Корсиканский бунт»; устройство переселенцев в 1784 — 1785 гг.; отдельные итальянские поселенцы), во второй — об итальянской иммиграции в XIX в. (устройство черноморских колоний; керченская группа; итальянские поселения на Кавказе).

Публикуемые материалы привлекают внимание прежде всего объединением различных ракурсов, в которых освещаются исследуемые явления. Глубокий анализ социально-исторических условий формирования и перераспределения романоязычных групп населения в пределах России является у В. Ф. Шишмарева не просто фоном, но необходимым основанием для проникновения в формы существования языка. Обращение к социальным аспектам функционирования языка, характерное для отечественного языкознания конца 20 — начала 30-х годов, связано, как пишут об этом составители рецензируемого труда (стр. 3), с интересом к полевой диалектологии, к которой в те же годы обратились Б. А. Ларин и Ф. П. Филин в славистике, В. М. Жирмунский в германистике, М. В. Сергиевский в романистике.

Общетеоретическая значимость подобного подхода к языковым фактам не вызывает сомнений — достаточно указать на разработанные В. М. Жирмунским в статье «Проблемы переселенческой диалектологии» (1929) [7] приемы разграничения первичных и вторичных диалектных признаков при анализе механизма смешения говоров и формирования наддиалектного «общего языка». К тому же ряду методологически важных для понимания процессов языкового развития работ можно отнести и статью В. Ф. Шишмарева «Романские языки юго-восточной Европы и национальный язык Молдавс-

[5] «Атласул лингвистик молдовенеск», 1, Кишинэу, 1968.

[6] В. Ф. Шишмарев использует термин «волохи» для обозначения восточноромансских народностей. Это оговорено составителями (см. стр. 4 рец. раб.).

[7] Переизд. в кн.: В. М. Жирмунский, Общее и германское языкознание, Л., 1976, стр. 491—516.

кой ССР»[8], посвященную проблемам языкового строительства республики и непосредственно примыкавшую к кругу вопросов, которые прослеживаются в монографии «Романские поселения на юге России». При этом содержание работы сам В. Ф. Шишмарев характеризует лишь в качестве исторического «введения» в изучение романских говоров в СССР, преимущественно молдавских, поскольку к настоящему времени островные французские и итальянские говоры полностью размыты.

Редколлегия и составители сборника вполне обоснованно отобрали для публикации и тщательно подготовили к печати третью редакцию рукописи. Восстановлена по другим имеющимся спискам внутренняя рубрикация глав; исключены из публикации имеющие лишь косвенное отношение к истории романских поселений главы по истории Украины XVI—XVIII вв. и романизации Дакии, которые В. Ф. Шишмарев не успел переработать и содержание которых уже не соответствовало новым, накопленным по этим вопросам материалам (см. об этом стр. 4), от чего в целом композиция работы выиграла. Одновременно уточнены библиографические ссылки и отдельные неточности архивного списка.

Ценным представляется включение составителями указателей (именного и географического) с попыткой идентификации упоминаемых В. Ф. Шишмаревым исторических лиц и географической номенклатуры. Оба указателя аннотированы, что упрощает ориентацию читателя. Вместе с тем, нельзя не отметить ряда допущенных неточностей.

Так, в связи с путаницей, существовавшей в документах рассматриваемой В. Ф. Шишмаревым эпохи относительно определения национальной принадлежности, этноним «волохи» и определение «волошский» употребляются как общее обозначение восточнороманских народностей и их языков. Наряду с этим у В. Ф. Шишмарева встречаются употребления «волохи» в значении «молдаване» и, реже, «валахи» (румыны) и «румыны». Общее употребление понятия «волошский» сохранено и в именном указателе (без дополнительной оговорки). Возможно, следовало бы именно в указателе, в тех случаях, когда это очевидно из текста, ввести определение «молдавский», например, для многих бояр из свиты господаря Молдавии Дмитрия Кантемира. При соотнесении с текстом принятое в указателе определение «волошский» оставляет впечатление некоторого несоответствия содержанию, несмотря на частичное тождество понятий «волох» и «молдованин», тем более, что в указателе с необходимостью сохранены определения типа «молдавского полка» или «господарь Молдавии». Отметим, кстати, и ошибочно проскользнувшее указание на годы правления господаря Григория Гика в качестве господаря Валахии в 1774—1777 гг. В эти годы он являлся господарем Молдавии — ситуация, обычная в Дунайских княжествах, правителей которых Порта смещала и перемещала по своему усмотрению. Но в целом именной указатель правильно ориентирует читателя, отвечая своей задаче.

Более досадные ошибки проникли в географический указатель, достаточно трудоемкий в работе при встречающихся разночтениях и вариациях географической номенклатуры. Перед составителями стояла и еще более сложная задача — уточнить территориальную принадлежность выявленных географических объектов в соответствии с периодом, указанным в тексте, и их современным состоянием (стр. 222). Во-первых, последнее из этих условий не всегда выдержано — во многих случаях привязка географических пунктов осуществлена только на упоминаемый в тексте период. Во-вторых, непоследовательно разграничены сугубо обиходные представления, типа: Заднестровье, Заднепровье или Бессарабия, как нечто, имеющее отношение к Молдавским территориям (такие представления объяснимы), и конкретно географические регионы, типа: Бессарабия, а также административно-территориальные единицы, типа: Бессарабская губерния. Это привело, например, к тому, что целый ряд сел, расположенных по левому берегу Днестра, восточной границе Бессарабской губернии, ошибочно оказался привязанным к последней. В-третьих, по-видимому, только издательской спешкой можно объяснить тот факт, что некоторые молдавские села, названные в тексте как местности, из которых выехали переселенцы (т. е. в пределах Бессарабской, Херсонской и других областей), оказались привязанными к месту локализации островных поселений, например, в Казахстане. Эти ошибки, список которых значителен, говорят о том, что географический указатель составлялся поспешно и без консультации со специалистами в области исторической географии. Они тем более досадны, что подготовка рукописи осуществлена на хорошем уровне.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что настоящее архивное издание работы В. Ф. Шишмарева является в наши дни весьма актуальным и полезным, несмотря на то, что книга написана давно. Она интересна в равной степени как для филологов (и особенно для лингвистов), так и для историков, фольклористов и других специалистов. Необходимо выделить значение этого труда для

[8] См: ВЯ, 1952, 1, стр. 80—106; расширенный вариант в кн.: «Вопросы молдавского литературного языка», М.— Л., 1953, стр. 73—120.

современной молдавистики, учитывая прежде всего то, что автор проделал тщательный анализ тех архивных материалов, которые ныне не существуют (сгорели во время войны). Большое значение имеет работа и для историков и диалектологов Украины, Кавказа и Крыма, а также Италии, Франции и Швейцарии. Мотивированным и уместным явилось приложение к публикуемой монографии статей М. А. Бородиной, Р. Я. Удлера и М. П. Корси, в которых получила конкретное и серьезное воплощение мысль В. Ф. Шишмарева о дальнейшем изучении романских говоров на местах в наши дни и современными методами.

Скрелина Л. М.

Л. Б. Никольский. **Синхронная социолингвистика** (Теория и проблемы). — М., 1976. 168 стр.

Для более объективной оценки любого научного труда очень важен учет состояния данной науки. В этой связи необходимо хоть кратко остановиться на социолингвистике наших дней и месте обсуждаемого исследования Л. Б. Никольского среди других работ по социологии языка.

С первых же лет после революции, как известно, языковеды нашей страны успешно трудились над решением многочисленных социолингвистических проблем (хотя сам этот термин возник значительно позже). Это было связано с потребностями активного языкового строительства, в процессе которого десятки народов впервые получили письменность на родных языках, развилась национальная школа, у многих народов впервые появилась художественная литература и т. д.

С некоторым спадом волны языкового строительства в тридцатых годах наблюдается также известное ослабление интереса лингвистов к социологическим проблемам языкового развития в нашей стране. Установившийся социолингвистический «штиль» длится почти три десятка лет. В самом конце 60-х годов у нашей социолингвистики появляется «второе дыхание», чему она во многом обязана активной деятельности ученых в рамках Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», основателем и первым председателем которого был академик В. В. Виноградов (ныне председателем Совета является проф. Ю. Д. Дешериев). За сравнительно короткое время Совет организовал ряд совещаний и конференций, послуживших мощным толчком к пробуждению «дремлющей» области языкознания — социолингвистики. В результате координации усилий десятков ученых в центральных и местных НИИ появились коллективные труды и многочисленные статьи. В них поднимаются актуальные вопросы развития языков народов СССР, даются некоторые рекомендации по дальнейшему развитию литературных языков, по регламентации процессов билингвизма и др.

Наиболее значительный вклад в этом отношении вносят работы И. К. Белодеда, Ю. Д. Дешериева, В. А. Аврорина, А. В. Десницкой, Ф. П. Филина, В. Н. Ярцевой, Н. Г. Корлэтяну, Н. А. Баскакова, П. Я. Скорика, О. П. Суника, А. Д. Швейцера и др. В этом ряду стоит и имя Л. Б. Никольского, плодотворно работающего в последние годы над решением ряда вопросов социальной лингвистики.

В своей, я бы сказал, обобщающей работе Л. Б. Никольский ставит перед собой задачу предложить «теоретическую модель социолингвистики как синхронной дисциплины» (стр. 34). В качестве «второй и в некоторой степени второстепенной задачи работы» делается попытка «разграничения двух направлений исследования, которые сейчас носят название социолингвистических». В этой связи выделяется область, которую автор обозначает термином «лингвосоциология». Делается также попытка «предварительно определить круг проблем, входящих в нее» (стр. 34).

Рецензируемая книга состоит из введения, трех глав и библиографии. Во введении (стр. 5—36) Л. Б. Никольский излагает свою оценку современного состояния социолингвистики, ее основные направления и основные концепции. Автор справедливо критикует точку зрения тех ученых, которые считают, что современная социолингвистика развивается главным образом в США, откуда она якобы и распространяется. Л. Б. Никольский правильно, на мой взгляд, ищет истоки развития социолингвистики в потребностях самого общества. Именно возникающие практические проблемы делают необычайно актуальным сознательное регулирующее воздействие на языковые процессы. Что касается истоков современной социолингвистики, то, как справедливо отмечается в книге, их следует искать в недрах советского языкознания, а также Пражской лингвистической школы. Теоретическое осмысление практики языкового строительства в нашей стране в 20—30-х годах по существу

и породило социальную лингвистику. Многие вопросы социолингвистики были поставлены и решены еще в работах Е. Д. Поливанова, Б. А. Ларина, Н. М. Каринского, Л. В. Успенского, М. В. Сергиевского и др. Большим вкладом в этом отношении явилась работа В. М. Жирмунского «Национальный язык и социальные диалекты».

Современный этап развития социолингвистики автор справедливо исчисляет с начала 60-х годов, когда делается разграничение (в исследовательских целях) между двумя аспектами изучения языка — внутриструктурным и функциональным. Наряду с теоретическими работами советских ученых, дается оценка вклада Пражской лингвистической школы, которая интерпретировала язык как систему лингвистических знаков, имеющих социальный и функциональный характер. Пражские лингвисты, как известно, вопреки Ф. де Соссюру, представляли язык как динамическую, функционирующую систему.

В отличие от советской и пражской социолингвистических школ современная американская социолингвистика занимается в основном не языковыми проблемами американского общества, а вопросами языка в развивающихся странах. При этом, как отмечает Л. Б. Никольский, выдвигаемые различными авторами теории и положения подчас строятся на идеологически для нас неприемлемых концепциях. Вместе с тем Л. Б. Никольский объективно указывает на достижения американской социолингвистики. Так, согласно автору, несомненной заслугой представителей американской социолингвистики можно считать разработку реалистической теории языкового планирования.

Во введении и первом разделе «Предпосылки социолингвистического подхода к языку» (стр. 36—51) автор не ограничивается обычным обзором литературы, но формулирует также те теоретические положения, из которых он исходит при построении «собственной концепции социолингвистики как синхронной языковедческой дисциплины». В этом плане важным для автора явилось установление «набора областей-сфер»: общегосударственной, региональной, местной, производственной, семейно-бытовой, ритуальной (стр. 37). Эти сферы общения обладают информативной спецификой, так как они, по существу, отражают содержание коммуникации в соответствующих областях социального взаимодействия.

Во втором разделе «Социальная лингвистика» (стр. 52—132) Л. Б. Никольский делает интересную (хотя и не бесспорную) попытку по-новому определить предмет социолингвистики. При этом он указывает на чрезмерно широкое понимание этого термина, даваемое в работах ряда ученых. Говоря об «устройстве» языка с точки зрения социолингвистики и принципах вычленения языковых подсистем, Л. Б. Никольский уточняет понятия «социальная значимость» и «подсистема». Исходя из определения значимости у Соссюра, автор полностью принимает поправку, выдвинутую к этому определению В. М. Солнцевым («...значение слова мотивировано внеязыковой реальностью и зависит от внеязыковой реальности» [1]) и определяет понятие «социальная значимость» как корреляцию «между лингвистической единицей и той группой людей, для которой использование данной единицы специфично». В то же время подсистемой называется «упорядоченная совокупность разноуровневых единиц, объединенных по тождественной значимости, которая используется социальной группой в определенных коммуникативных целях» (стр. 70).

Далее автором определяются такие понятия, как «языковая ситуация», «билингвизм», «диглоссия». Читатель найдет по всем затрагиваемым вопросам немало интересных и компетентных суждений. Особенно глубоки рассуждения автора по вопросу языковых ситуаций, которые подробно классифицируются.

Не лишены интереса также теоретические положения автора, касающиеся понятия «языковая политика», хотя, на мой взгляд, они не полностью раскрывают данный исключительно важный социолингвистический термин. Одной из наиболее плодотворных идей монографии, как мне кажется, является идея разграничения социолингвистики и лингвосоциологии, в которой язык ставится в один ряд с другими социальными явлениями. Этим проблемам посвящается третий раздел книги «Лингвистическая социология»,— исследовательская часть монографии (стр. 131—153).

Различие между лингвосоциологией и социологией языка состоит, по Никольскому, в том, что «...первая, рассматривая языковый аспект социальных явлений и процессов, дополняет картину, нарисованную социологией, вторая же стремится выявить причины и мотивы, определяющие характер и направление языковых процессов» (стр. 133).

Положения автора широко иллюстрируются конкретным материалом из языковой жизни развивающихся стран, в основном Азии.

Библиография, приложенная к работе, содержит свыше 250 названий трудов советских и зарубежных авторов.

Таким образом, перед нами солидный труд по теоретическим проблемам социолингвистики, который расширяет гори-

---

[1] В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование; М., 1971, стр. 120.

зонты исследования данной проблематики и обогащает наши сведения по многим затрагиваемым вопросам. Его значение определяется современным состоянием социолингвистики, когда обобщение и теоретическое осмысление уже опубликованных материалов по языковому развитию становится делом чрезвычайно актуальным.

Вполне естественно, что в работе имеются некоторые спорные моменты, а то и явные недочеты. К сделанным выше замечаниям мне бы хотелось добавить следующее. Приводимый список литературы не оставляет вполне благоприятного впечатления, так как не охватывает большого количества специальных работ, мимо которых автор, казалось бы, не должен был пройти (например, монографии И. К. Белодеда, В. П. Григорьева, В. Г. Костомарова, Э. Пэлля, К. Х. Ханазарова).

К сожалению, это не только чисто библиографический вопрос, так как отсутствие в списке многочисленных относящихся к обсуждаемым проблемам работ (в основном по проблемам языкового развития в СССР) не могло не сказаться отрицательно на полноте и глубине выдвигаемых теоретических положений. В этой связи хочется заметить, что библиографические требования в научных исследованиях в период «информационного взрыва» едва ли могут быть ослаблены. Скорее наоборот, так как привлечение того или иного труда, кроме всего, является неоспоримым показателем научной информированности и объективности любого автора.

Исаев М. И.

«Частотный словарь русского языка». Словарь сост. В. А. Аграев, В. В. Бородин, Л. Н. Засорина, В. М. Муратова, З. В. Тисенко. Спец. научн. ред. М. И. Привалова. — М., «Русский язык», 1977. 935 стр.

В последнее время наблюдается все более возрастающий интерес к лингвистической и статистической интерпретации распределения слов в языке (и в тексте). Возникла новая отрасль науки — статистическая лингвистика, породившая особую ветвь — лексикостатистику, базирующуюся на частотных словарях. За истекших три десятилетия было составлено и издано несколько частотных словарей русского языка [1], включая рецензируемую нами новую работу. Так как эти словари создавались на стыке лексикографии, статистики и автоматизации, они различаются в зависимости от преобладания в них одной из этих сторон. Кроме того, в них поставлены различные задачи, которые, естественно, по-разному решаются. Различаются они также и подбором источников и методами обработки материала. По научному уровню первое место среди них занимает рецензируемый словарь, являющийся наиболее полным по объему охваченных лексем, по количеству словоупотреблений, по изучению проблем частотности и по подбору текстов и жанров [2].

Словарь представляет собой свод статистических данных о лексическом составе современного русского языка. Он составлен коллективом сотрудников филологического факультета Ленинградского гос. университета им. А. А. Жданова и Лаборатории семиотики Научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики при Горьковском гос. университете им. Н. И. Лобачевского на основании обработки средствами вычислительной техники свыше одного миллиона словоупотреблений, что дало почти сорок тысяч единиц словаря.

Уже при беглом просмотре можно заметить, что авторами и редакторами были тщательно продуманы как основные принципы составления современного словаря, так и его структура: они стремились сделать словарь удобным в обращении. В словаре три раздела: «Введение», «Частотный словарь» и «Приложения».

Во «Введении» излагаются цели составления словаря, его задачи и методы обработки материала. Здесь же подчеркивается, что «частотный словарь русского языка составлялся в первую очередь для определения границ активного сло-

[1] Имеются в виду общие частотные словари русского языка; к ним не относим частотные словари языка писателя, так же как и словари-минимумы. В настоящее время нам известны следующие частотные словари русского языка: F. Malíř, Rusko-český slovnik nejdůležitějších slov pro četbu sovětského tisku, Praha, 1951; H. H. Josselson, The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian, Detroit, 1953; Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963; N. P. Vakar, A word count of spoken Russian. The Soviet usage. Ohio State University press, 1966.

[2] Разумеется, это не умаляет значения других частотных словарей.

варного состава. Одной из важных целей словаря является представление живого словоупотребления образованного человека наших дней» (стр. 6). К числу его положительных черт необходимо отнести представление им важнейших стилей современного русского языка. «Основное назначение словаря — дать достаточно полные сведения о современной лексике с учетом жанровой ее дифференциации. Исходя из наличия основных функциональных сфер речи, для данного словаря были определены четыре группы текстов-источников: художественная проза, драматургия, научные и публицистические тексты, газетные и журнальные тексты. Полученные данные составят базу для последующих извлечений и интерпретаций как собственно-лингвистических, так и лексико-статистических» (стр. 6). Далее дается краткий анализ источников словаря. Приведены две таблицы для сопоставления частотных словарей Йоссельсона и Штейнфельдт. По данным этих таблиц можно определить, что деловая и публицистическая речь, бытующая в сфере массовой коммуникации, впервые представлена в рецензируемом словаре. Под отдельным заглавием описано формирование словаря (единицы текста и элементы словаря, аналитическая грамматика словаря, правила анализа частей речи). После этого следует описание техники обработки материала. В конце «Введения» приведен список текстов-источников, включающий публицистические и научные тексты (из трудов В. И. Ленина, С. И. Вавилова, Н. М. Грибачева, М. И. Калинина, Н. Н. Качалова, Л. М. Леонова, Е. В. Тарле, К. А. Тимирязева, А. Н. Толстого, А. Е. Ферсмана, М. А. Шолохова, а также из материалов XXII съезда КПСС), художественную прозу (отдельные произведения С. А. Антонова, А. П. Гайдара, А. М. Горького, Л. М. Леонова, В. В. Овечкина, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Л. С. Соболева, А. Н. Толстого, К. А. Федина, М. А. Шолохова), драматургию (произведения С. И. Алешина, А. Н. Арбузова, А. Н. Афиногенова, М. А. Булгакова, А. М. Горького, Л. Г. Зорина, Вс. В. Иванова, Б. А. Лавренева, Л. М. Леонова, Н. Ф. Погодина, В. С. Розова, А. В. Софронова, К. М. Симонова, А. П. Штейна), журнальные и газетные тексты («Вокруг света», «Наука и жизнь», «Новое время», «Новый мир», «Юность», «Водный транспорт», «Известия», «Комсомольская правда», «Ленинградская правда», «Литературная Россия», «Правда», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Советский спорт», «Труд» — за разные годы).

Разнообразный характер текстов-источников исключает всякого рода сомнения в правильности подбора; указанный список свидетельствует о том, что при подборе текстов были учтены как лингвистические, так и экстралингвистические факторы. Здесь трудно что-либо добавить.

Второй раздел рецензируемой работы — «Частотный словарь» — состоит из трех основных частей: «Алфавитно-частотного словника», «Частотного словника» и «Статистической структуры». Кроме того, перед первой частью помещена вступительная статья о построении «Частотного словаря».

«Алфавитно-частотный словник» является наиболее объемистой и важной частью словаря. В нее включено 39 268 лексем, которые встречаются в текстах; они получены с выборки в 1 056 382 словоупотребления. Все лексические единицы имеют следующие количественные характеристики: 1) частоту: а) общую частоту по всей выборке; б) частоты по подвыборкам, т. е. число появлений слова в каждом из четырех жанровых групп текстов (I — газетно-журнальные тексты, II — драматургия, III — научные и публицистические тексты, IV — художественная проза); 2) количество текстов по жанрам, в которых встретилось данное слово. По общей частоте слова можно определить его место в «Частотном словнике» и порядковый номер в «Статистической структуре». Сведения о функциональной отнесенности слова даны в этой же части.

«Частотный словник» содержит слова с частотой 10 и выше, всего около 10 тысяч единиц, расположенных в порядке убывания частот. Судя по данным этого словника, наибольшей частотой располагает предлог *в(во)* — почти 43 тысячи употреблений, затем следуют единицы: *и* — 36 266, *но* — 19 228, *на* — 19 262, *я* — 13 839; *быть, что, он, с(со), а; как* — 7425; *это, вы, ты, к(ко), мы, этот, она, они, но, по, весь, за, то...; каждый* — 992; *сила, народ, место...; вместе* — 500, *производство, куда, сегодня...; возраст* — 100, *громко, дым, желание, забота, использование, красота, мощный, постепенно...; агент* — 50, *бассейн, вариант, вне, вывод, гул...; абсцисса* — 10, *авансцена, агат, азот, аналогия, аристократ...; балтийский, бак, башлык, безгранично, бездонный, безмерно* и т. д.

Данные «Частотного словника» показывают, что существует довольно большое количество слов с аналогичной частотой. Так, например, лексемы *ведь* и *земля* имеют общую частоту — 1074, а *место* и *тут* — 979, *их* и *перед* — 823, *дом* и *такое* — 799, *казаться* и *почему* — 768, *взять* и *потом* — 763, *много* и *последний* — 664, *давать* и *стекло* — 625, *стол* и *сторона* — 616, *правда* и *твой* — 579, *начинаться, область* и *огромный* — 404, *история, многие* и *пройти* — 382, *назад, около* и *пауза* — 367, *действие,*

капитан, *мера* и *наконец* — 352, *жена*, *положение*, *сюда* и *узнать* — 343, *катер*, *помнить*, *право* и *социалистический* — 333, *верно*, *культура*, *любой*, *молодежь* и *служить* — 269, *группа*, *коммунист*, *победа*, *река* и *республика* — 244, лексем с частотой 230 — шесть, 225 — семь, 190 — восемь, 187 — девять, 161 — десять и т. д.; число лексем, имеющих частоту 88—21, 63—31, 59—36, 57—51. По мере убывания количества частоты возрастает число лексем, имеющих общую частоту. В самом большом количестве представлены лексемы с частотой 10: их насчитывается 594.

Несмотря на то, что в данном словнике не представлены лексемы с частотой ниже 10, по данным «Алфавитно-частотного словника» можно выявить единицы, имеющие наименьшую частоту. Их очень много: так, например, перечисленные ниже единицы имеют частоту 1: *абордаж*, *авиалиния*, *акробат*, *апатия*, *астма*, *баклажан*, *блат*, *бомбомет*, *бородавка*, *будоражить*, *вводный*, *видоизменяться*, *гарем*, *граничить*, *дармоед*, *деятельно*, *единогласие*, *езда*, *жадничать*, *жгуче*, *забег*, *замешанный*, *играющий*, *измазаться*, *керамика*, *купленный*, *локомотив*, *любивший*, *мешающий*, *мусоропровод*, *наговаривать*, *новобрачный*, *опаздывающий*, *отломать*, *парторг*, *повторяющийся*, *расстроенно*, *рухлядь*, *свитер*, *сосиска*, *таксист*, *трудоспособность*, *уволиться*, *усиливающийся*, *фальшиво*, *функционирующий*, *хватиться*, *хрустеть*, *царапнуть*, *цифровой*, *частник*, *читавший*, *шагавший*, *шумиха*, *щекотить*, *щипцы*, *эластичный*, *эсперанто*, *юго-западный*, *юрта*, *ябедничать*, *язвительный* и мн. др.

При внимательном рассмотрении вышеуказанных (а также и многих других) слов, имеющих частоту 1, у некоторых читателей может возникнуть сомнение относительно их малоупотребительности, так как трудно представить, что в современном русском языке малоупотребительны такие слова, как, например, *баклажан*, *блат*, *граничить*, *играющий*, *измазаться*, *купленный*, *любивший*, *мешающий*, *опаздывающий*, *отломать*, *парторг*, *расстроенно*, *свитер*, *сосиска*, *таксист*, *царапнуть*, *читавший*, *шагавший*, *щекотить*, *щипцы*, так же как и *астма*, *дым*, *желание*, *красота*, *мощный* и мн. др. Разумеется, в отношении малоупотребительности таких слов, как *абордаж*, *авиалиния*, *акробат*, *бомбомет*, *гарем*, *локомотив*, *частник*, *юрта* и мн. др., нет никакого сомнения. Также не может быть сомнения относительно правдивости представленных в словнике данных и в правильности использованных методов обработки. Естественно, вопрос может возникнуть и о том, использовано ли для определения точных границ активного словарного состава достаточное количество текстов-источников? Какие же могут быть возможности для расширения границ, установленных в рецензируемом словаре?

Ответ на вопрос, касающийся употребительности, мы находим в следующей цитате: «Для оценки употребительности важно учитывать не только частоту слова, но и количество текстов, в которых они регистрируются. Узкотематические слова могут часто повторяться в специальном тексте. Если известно, что слово с достаточно большой частотой встречается лишь в одном тексте, или в двух-трех, его нельзя отнести к употребительным» (стр. 27) [3].

«Статистическая структура» словаря представляет собой таблицу распределения частот, включающую в себя семь делений (граф): номера ранга, абсолютная частота, число слов с данной частотой, накопленная абсолютная частота, накопленное число слов (абсолютное и относительное), относительная частота, накопленная относительная частота. Первые два деления дают статистическую информацию о связи «ранга», т. е. порядкового номера группы слов с данной частотой, и общей частоты. Третье деление содержит сведения о количестве слов с данной частотой. В четвертой графе даются сведения о сумме частот группы слов, в которую входят все слова от самого частого — первого по «рангу» — до данного слова. Пятое, шестое и седьмое деления также взаимосвязаны: накопленная относительная частота, приведенная в седьмой графе, служит для определения покрытия текста группой слов с данными частотами, а сведения относительно слов, входящих в эту группу, дает пятая графа; в шестом же делении приведены данные об относительных частотах.

Практическое значение двух словников заключается в том, что по их данным легко можно отбирать списки частых слов для методических целей, в то время как сведения, приведенные в таблице «Статистическая структура», весьма удобны для выполнения как теоретических, так и сугубо прикладных задач, в том числе для выявления количества слов с данными частотами, выраженного в процентах, и т. д.

Третий раздел рецензируемого словаря — «Приложения» — включает в себя пять приложений, дающих перечень омографов и омонимов, включенных в словарь, паспортизацию слов, не зарегистрированных в словаре, статистиче-

[3] Здесь же приводятся следующие примеры: *телефонить* (частота 9, но только в одном тексте драматургического жанра), *хлопчик* (частота 22 — 12 употреблений в одном тексте драматургического жанра и 10 в одном тексте жанра художественной прозы), *щелочь* (частота 26 в трех текстах, но одного, научно-публицистического жанра).

ские параметры словаря и ссылки на материалы, не включенные в него. Приложения способствуют правильному пониманию словоупотреблений: так как в словаре четыре жанровых подвыборки приблизительно совпадают по объему, можно сопоставлять частоты в соответствующих графах; по ним и можно делать выводы о большей или меньшей употребительности слов в тех или иных жанрах. Например, в Приложении 4 дается интересное сопоставление данных разных частотных словарей по коэффициенту лексического разнообразия рецензируемого словаря (С), который определяется отношением числа разных слов (V) к числу всех словоупотреблений (N):

$$C = \frac{V}{N} = \frac{39\,268}{1\,056\,382} = 0,0371,$$

в то время как в «Частотном словаре русского языка», составленном Э. А. Штейнфельдт, то же отношение выражается как:

$$C = \frac{24\,224}{400\,000} = 0,0605,$$

а в «Частотном словаре языка А. С. Пушкина» (по материалам «Проспекта», М., 1963) как:

$$C = \frac{21\,197}{544\,777} = 0,039.$$

В Приложении 4 приведены две диаграммы, изображающие соотношение словника и текста, а также распределение словника по начальным буквам. Кроме того, здесь даны три графика, указывающих на: 1) зависимость между словником и текстом для разных функциональных связей, 2) распределение длин слов в словаре в буквах для каждого функционального стиля и для всех вместе, 3) распределение слов в тексте в буквах для каждого функционального стиля и для всех вместе.

В Приложении 4 дано еще пять таблиц (№ 3—7; № 1 и 2 приведены во «Введении», о них шла речь выше): № 3 показывает сопоставление самых частых слов различных частей речи по функциональным стилям; № 4 представляет частотное распределение частей речи в словаре, причем указана относительная доля (в процентах) каждой категории в общем числе словоупотреблений по всему словнику в целом и по каждому функциональному стилю в отдельности; № 5 представляет распределение редких слов (т. е. лексемы с частотой 1) по грамматическим категориям (таких слов в словаре 13 379); № 6 отражает распределение слов, общих для всех функциональных стилей, по грамматическим категориям (их число 6440, что составляет 868 577 словоупотреблений); № 7 показывает распределение частей речи в частотном словнике.

Приложение 5 содержит интересные и весьма полезные сведения о материалах, не включенных в словарь, но представляющих большую ценность для специалистов: в словаре публикуется лишь основной материал «Частотного словаря», и у составителей имеются дополнительные материалы словаря по той же выборке: 1) алфавитно-частотные словники по двум жанрам: научно-публицистическому и газетно-журнальному; 2) алфавитно-частотные словники по отдельным текстам драматургии и прозы; 3) алфавитно-частотный словник общеупотребительных лексем, встретившихся во всех четырех подвыборках; 4) обратный словарь по всей выборке, представляющий перечень всех слов, упорядоченных от конца букворяда. Так как анализ проводился по алфавитно-частотному словнику, у составителей имеются также данные о распределении слов по частям речи.

Разнообразные статистические характеристики единиц, представленных в словаре, могут служить для осуществления таких важных лингвистических и лексико-статистических задач, как: 1) определение границ основной лексики, 2) составление словарей-минимумов, 3) составление школьных частотных словарей, 4) построение школьных грамматик и учебников, 5) создание основы для изучения статистической структуры словарного состава, а также и других задач общей и учебной лексикографии.

Нет сомнения, что рецензируемый «Частотный словарь», выполненный на высоком научном уровне, удовлетворит всем требованиям, предъявляемым подобным трудам, и окажет надежную помощь специалистам-филологам.

Татар Б.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1978

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международный симпозиум по синтаксису славянских языков проходил с 6-го по 8-ое сентября 1976 г. на философском факультете Университета им. Я. Е. Пуркине в Брно. Организатором его являлись обе славистические кафедры факультета — кафедра чешского языка, славянского, индоевропейского и общего языкознания и кафедра русского языка. Председателем оргкомитета был М. Грепль. Как и три предыдущих симпозиума (1961, 1966, 1971 гг.), он проходил в сотрудничестве с Международной комиссией по изучению грамматического строя славянских языков в рамках Международного комитета славистов. Общая тема IV-го симпозиума — «Актуализационные прагматические компоненты высказывания в славянских языках». Во встрече синтаксистов-славистов принимали участие чехословацкие ученые, а также делегации из СССР, Болгарии, Польши и ГДР и представители Югославии, Венгрии, ФРГ, Великобритании, Швеции и Норвегии. Было прочитано свыше 70 докладов и сообщений, почти половина всего рабочего времени была отведена прениям.

Тематика симпозиума обсуждалась в четырех секциях. На первой секции «Общая проблематика коммуникативно-прагматического и семантического компонентов высказывания» со вступительным докладом «Коммуникативно-прагматические аспекты высказывания» выступил М. Грепль (ЧССР). Я. Коржепский (ЧССР) в докладе «Иерархизация морфологических категорий с точки зрения семантики и прагматики» пытался включить прагматическое измерение в понятийную систему лингвистических теорий и поставил вопрос о том, сможет ли введение понятия прагматического измерения повысить адекватность теорий естественного языка. Доклад А. Богуславского (Польша) назывался «К вопросу о валентности истинностных характеристик». В. З. Панфилов (СССР) прочел доклад «Типы модальных значений и их роль в конституировании структуры предложения». Исходя из положений марксистско-ленинской гносеологии, он рассмотрел проблему соотношения структуры суждения и структуры предложения. В. З. Панфилов отрицал слишком широкое понимание категории модальности и рассмотрел в связи с этим различные виды модальности: объективную (онтологическую), отражающую характер объективных связей — возможных, действительных и необходимых, и субъективную (персуазивную), указывающую на степень достоверности: проблематическую, простую и категорическую. Убедительные выводы докладчика были построены на рассмотрении типологических характеристик языков разных систем. К. Пала, А. Свобода, П. Матерна (ЧССР) представили доклад «Внешняя и внутренняя прагматика», который по ряду пунктов перекликался с выводами Я. Корженского. Авторы создали цельную концепцию языка, в которой основное внимание уделили взаимосвязям семантического и прагматического компонентов. Опираясь на интензиональную логику, они расчленяют прагматический компонент на внешний (экстерный) и внутренний (интерный) и определяют их основные характеристики. В докладе Н. Ю. Шведовой (СССР) «Объективная форма в субъективной позиции» была предпринята попытка показать, что при определенных условиях порядок слов в предложении (наряду со значением формы слова и лексической семантикой) оказывается фактором, непосредственно участвующим в формировании категории субъекта, при этом автор делал особый упор на семантику и синтаксическую синонимию. В. Барнет (ЧССР) прочел доклад «Коммуникативная ситуация и высказывание». В нем, в частности, ставился вопрос об иерархизации понятий «коммуникативное пространство», «коммуникативная сфера», «коммуникативная ситуация» и «коммуникативный акт». Л. Дэжё (Венгрия) прочел доклад на тему «Типологические вопросы актуализации».

На второй секции обсуждался вопрос «Внешняя прагматика высказывания—

ориентация пропозиции на факторы речевой ситуации». На этой секции был прочитан доклад А. В. Бондарко (СССР) «Актуализационные семантические признаки».

В полном соответствии с современной трактовкой польскими синтактологами сущности предложения находился доклад С. Каролака (Польша) «Временная парадигма и экспликация компонентов предикатно-аргументной структуры». Были прочитаны также следующие доклады: З. Главса (ЧССР) «К проблеме актуальности как модификационной характеристики», Я. Хлоупек (ЧССР) «Отнесенность времен к моменту речевого акта», В. Барнетова, З. Скоумалова (ЧССР) «Аспектуальность и темпоральная характеристика высказывания», Б. Панцер (ФРГ) «Итеративность, узуальность и неактуальность в славянских языках». Х. Вальтер (ГДР) «Условия и закономерности актуализации темпоральных и модальных признаков глагола в современном болгарском языке», Х. Врубель (Польша), «Префиксация глаголов и актуализация предикатно-аргументных структур».

Г. Я. Солганик (СССР) в докладе «К проблеме типологии высказывания» *предложил* свою классификацию типов высказываний в русском языке, положив в ее основу категорию лица как *производителя речевого акта*. Тематически весьма конкретным было сообщение Я. Скоумала (ЧССР) «Соотношение между актуализацией лица и модальности в русских инфинитивных вопросах». Я. Паневова (ЧССР) в докладе «Обобщенный деятель и его отношение к говорящему» поставила вопрос о том, в каких случаях, с точки зрения смыслового строения предложения, можно говорить об обобщенности производителя признака. П. Сгалл (ЧССР) в докладе «Звательный падеж как семантический компонент высказывания» показал, что звательный падеж в чешском языке может выступать либо в качестве актанта результативного характера, либо актанта «обращения». С докладом «Различительные черты модальности» выступил Ц. Перникарски (Польша). Историческому материалу был посвящен доклад Р. Вечерки (ЧССР) «Притяжательные местоимения в старославянском языке с точки зрения участников речи», осветивший условия употребления возвратного местоимения 3-го лица с род. падежом личного местоимения. Были также прослушаны сообщения Д. Фивегера (ГДР) «Структура и функция прагматического компонента грамматики. Вопросы эксплицитности актантов предложения» и Я. Балгара (ЧССР) «Отражение учета адресата на строении монологической речи». Доклад С. Жажа (ЧССР) посвящен «Отношению пропозиции к месту речевой реализации».

Проблеме референции были посвящены доклады З. Тополиньской (Польша), С. Иванчева (Болгария), Р. Гжегорчиковой (Польша), П. Адамца (ЧССР), В. Косеской-Тошевой (Польша).

На третьей секции обсуждался вопрос «Внутренняя прагматика высказывания». С докладами выступили В. С. Храковский (СССР) «Соотношение временных и модальных компонентов высказывания», Р. Ружичка (ГДР) «Модальность и конденсация», Я. Оравец (ЧССР) «Модальность в сложносочиненном предложении», Р. Конрад (ГДР) «О стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений», П. Карлик (ЧССР) «К проблематике оптативности», М. Гроховски (Польша) «Семантическая структура глагола *решить* — опыт интерпретации».

М. Ивич (Югославия) прочла доклад «Об истинности содержания предложения, главным предикатом которого выступает глагол со значением „знать“». М. Чейка (ЧССР) выступил с докладом «Место модальности истинности в структуре высказывания». Перспективным было сообщение И. Циммерман (ГДР) «Точка зрения говорящего относительно истинности сообщаемого». Были прослушаны также доклады: П. Ондрус (ЧССР) «Модально-экспрессивные оттенки значений предложений в словацком языке», Т. Шамрай (Болгария) «Семантическая интерпретация предложений с эксплицитно выраженным модальным значением гипотетичности», Л. Лашкова (Болгария) подготовила сообщение «Синтаксическое отрицание как средство выражения коммуникативного замысла».

Проблема эмоциональности высказывания привлекла широкий интерес участников симпозиума. Ф. Данеш (ЧССР) прочел доклад «Типы эмоциональности и их классификация», в котором содержалась общая стратификация средств всех языковых ярусов. Кроме того, были прочитаны доклады: Р. Зимек (ЧССР) «Отражение эмоциональности в семантико-грамматическом строении высказывания», В. Стракова (ЧССР) «Аргументативный диалог и эмоциональность», М. Затовканюк (ЧССР) «Синтаксическое использование рода существительных для выражения эмоциональности в восточнославянских языках», Е. Буранёва - Бенешова (ЧССР) «Соотношение модальности и эмоциональности», Р. Ныцолова (Болгария) «Роль местоимений в эмоциональной актуализации высказывания», И. Васева - Кадынкова (Болгария) «Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказывания в болгарском и русском языках», Д. Станишева — Е. Дограмаджиева (Болгария) «Выражение эмоциональной

актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском», Р. Мразек (ЧССР) «Эмоциональность предложения в славянских языках и перспективы ее исследования», А. Бранднер (ЧССР) «Доля фразеологизмов при актуализации пропозиции».

На четвертой секции «Актуализирующие факторы речевого акта и устной речи» был представлен ряд докладов, посвященных актуальному (контекстуальному) членению предложения. Комплекс относящихся сюда вопросов, вызывающих все возрастающий интерес среди славистов-синтаксистов, естественно, не мог остаться не затронутым на симпозиуме, хотя он стоит несколько особняком. На этой секции были прочитаны следующие доклады: Е. Георгиева (Болгария) «Интонация как актуализирующий фактор», М. Лилов (Болгария) «Тактовое членение как актуализирующий фактор», Я. Фирбас (ЧССР) «К понятию основного распределения динамичности высказывания», Л. Углиржова (ЧССР) «К актуализации темы высказывания», Е. Гайичова (ЧССР) «Ситуативная модификация вопроса и ее отражение в модификациях ответа», Я. Бачваров (Болгария) «Средства интенсификации пропозиции с точки зрения актуального членения предложения», Я. Качала (ЧССР) «Конструкции с обособленным членом предложения», Г. Вальтер (ГДР) «Место членения на тему — рему в грамматике», Б. Кёниц (ГДР) «К некоторым семантическим и прагматическим аспектам так называемого актуального членения. Новая попытка их истолкования в формальном описании». Был представлен также доклад О. А. Лаптевой (СССР) «О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании», который не был прочитан.

Специфические актуализационные явления нашли отражение в докладах В. Гладрова (ГДР) «Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения в русском языке», И. Буюклиева (Болгария) «Актуализирующие компоненты текста», Й. Новотного (ЧССР) «Актуализирующие средства и их соотношение», К. Жуперки (СССР) «Об актуализации в синтаксической синонимии», Л. Зимковой (ЧССР) «Выражение пропозиции в газетных заголовках», Ф. Кочиша (ЧССР) «О некоторых актуализирующих компонентах в сложносочиненном предложении», М. Хумса (ГДР) «Учет стилистических, коммуникативных и других параметров при лингвистическом моделировании».

По проблематике стилистических аспектов устной речи, были прочитаны доклады: М. Елинек (ЧССР) «Стилистический аспект отбора синтаксических средств», К. Кожевникова (ЧССР) «Типы текстовой связи в письменной и устной речи», О. Кафкова (ЧССР) «Отнесенность семантического компонента высказывания к коммуникативной ситуации в обиходной устной речи». Три сообщения затрагивали проблематику диалога с сопоставительной ориентацией на русский и чешский языки: Д. Брчакова (ЧССР) «Связь, объединенность и преемственность в речевом акте», Л. Рейманкова (ЧССР) «К выражению установок говорящих в диалоге» и Е. Флидрова (ЧССР) «Реакция побуждения в диалоге».

Итоги симпозиума на заключительном заседании подвели председатель оргкомитета М. Грепль и руководители отдельных зарубежных делегаций: В. З. Панфилов (СССР), С. Иванчев (Болгария), С. Урбаньчик (Польша), М. Ивич (Югославия) и Р. Ружичка (ГДР). Ими подчеркивалась плодотворность работы сессии для ориентации будущих научно-исследовательских изысканий в славистических центрах разных стран, для обмена практическим и теоретическим опытом, для укрепления дружественных отношений между славистами всего мира.

Материалы IV симпозиума будут, подобно материалам предыдущих симпозиумов, опубликованы («Вопросы славянского синтаксиса, т. IV»).

Р. Мразек, К. Пала (Брно)

*

2—5 февраля 1977 г. в Вене проходило рабочее совещание суженного состава Международной Комиссии по славянским литературным языкам. В нем приняли участие проф. д-р А. Едличка (председатель комиссии; Прага), проф. д-р Г. Хюттль-Фолтер (Вена), проф. д-р Ст. Урбанчик (Краков), проф. д-р Р. Оти (Оксфорд), проф. д-р Г. Фаска (Будышин), проф. д-р Д. Брозович (Задар), проф. д-р Й. Топоришич (Любляна), проф. д-р Вл. Барнет (секретарь комиссии; Прага). В совещании не смогли принять участие проф. д-р Ф. П. Филин и проф. д-р А. И. Горшков.

На повестке дня заседания рабочей группы стояли разработка и обсуждение дополнений к проекту научно-исследовательской проблемы «Лингвистическая характеристика славянских литературных языков в современную эпоху» с учетом результатов работы заседаний Комиссии в Братиславе (1971), в Скопле (1972), Праге (1973), Москве (1974), Кракове (1975), в Варне (1976) и новейшей литературы по вопросам основной научной задачи Комиссии.

Во вводном слове А. Едличка подробно остановился на работах, имеющих непосредственное отношение к научно-исследовательским задачам Ко-

миссии. С приветствием к собравшимся обратилась организатор рабочего совещания Г. Хюттль-Фолтер. Вл. Барнет осветил предшествующую деятельность Комиссии (на пленарных заседаниях), касающуюся составления проекта, и подробно остановился на отдельных пунктах его основы. Свои соображения, высказанные ранее на заседании в Варне, изложили также Ст. Урбанчик (о разграничении компетенции описательной лингвистики и теории литературного языка при формулировании научных задач Комиссии) и Д. Брозович (о задачах сопоставительного изучения славянских литературных языков). В последовавшей за этим дискуссии всеми участниками рабочего совещания были подробно и обстоятельно проанализированы отдельные пункты проекта.

Было решено пополнить содержательную часть проекта о проблематике литературного языка с учетом разных аспектов, влияющих на формирование типа литературного языка, а именно: 1) отношение к другим языковым образованиям (тип изолирующий или инклюзивный), 2) роль формирования литературного языка в одном или нескольких культурных центрах (тип моноцентрический или полицентрический), 3) степень поливалентности и роль факторов, ограничивающих или, напротив, способствующих развитию, которые облегчают или приостанавливают использование литературного языка в разных коммуникативных сферах, 4) социальный характер литературного языка (тип универсальный, интегральный, интентный и резистентный), 5) условия контактов в существовании литературного языка с учетом явлений диглоссии и билингвизма.

Обсуждалась также необходимость выделения проблематики стилевой дифференциации литературного языка. Выступавшие сочли целесообразным в целях лингвистической характеристики литературного языка исходить из выделения пяти основных функциональных стилей (разговорный, научный, административно-деловой, публицистический и художественный) на основании дистрибуции языковых средств (отношение общих литературных средств к так называемым стилеобразующим средствам) и способов их употребления (интеллектуализация, автоматизация, актуализация) в отдельных стилях. Подчеркивалось значение разработки проблематики отношения языковых и стилевых норм. Было предложено составить для внутреннего пользования на первом этапе осуществления разработки коллективной научной задачи краткий словарь понятий-терминов.

Участники совещания выступили также с докладами на актуальные темы, связанные с проектом. А. Едличка в докладе «Основные направления в исследованиях о литературном языке» остановился на возможностях, которыми располагает общая теория литературного языка, — на принципах синхронного и диахронического описания отдельных славянских языков как особых образований и на основах их сопоставительной характеристики.

В докладе «О взаимоотношении коммуникативной сферы и разновидности языка» Вл. Барнет, пользуясь понятиями нормы и языковой ситуации, выяснил средства, с помощью которых преимущественно достигается повседневное взаимопонимание в современных славянских языковых сообществах и установил несколько возможных способов реализации взаимоотношения этой сферы и разновидности языка.

Ст. Урбанчик в докладе «Проблема носителя нормы в литературном языке» показал историческую изменчивость характера диалектной основы литературного языка в связи со стабилизацией его нормы, которая с расширением социальной базы литературного языка постепенно утрачивает диалектный характер и развивает в себе собственные языковые тенденции.

Г. Фаска в докладе «О соотношении нормы и узуса» дал теоретический разбор отношения нормы и узуса. В понятии нормы важна как ее внутриязыковая обусловленность, реализующая языковую систему, так и ее социальная обусловленность. Норма связана с правильностью, узус — с соразмерностью (адекватностью) языкового средства. Взаимообусловленность обоих понятий была проиллюстрирована на примере морфологических вариантов в современном литературном верхнелужицком языке.

Д. Брозович в докладе «Соотношение орфоэпической и орфографической нормы в стандартном новоштокавском, особенно хорватском», представил это соотношение как следствие сложных процессов выравнивания при стандартизации литературного языка в Хорватии, где язык новоштокавского типа имел кайкавскую орфографическую и графематическую основу. Стандартизация осуществлялась в Хорватии как процесс интегральный, в Сербии же, где была сильна церковнославянская традиция, как процесс конфликтный.

Р. Оти в докладе «Определяющие факторы в формировании новых или возрожденных славянских литературных языков в первой половине XIX в.», привлекая для сопоставления западноевропейскую языковую ситуацию, сравнил разные исторические условия выбора нормы и ее кодификации при образовании литературных языков нового времени у чехов, словаков, сербов, хорватов и словинцев и показал действовавшие тогда факторы (интегральные, эстети-

ческие и др.), которые участвовали в процессе стабилизации норм в соответствующих языках.

Х. Хюттль-Фолтер в докладе «К нормализации русского литературного языка нового времени» остановилась на все еще нерешенном вопросе о вариантности нормы в диахроническом плане в связи с исторической изменчивостью соотношения двух языковых стихий — русской и церковнославянской.

Все доклады были детально обсуждены в плане научных задач Комиссии.

Вл. Барнет, А. Едличка (Прага)

Перевела с чешского *О. А. Лаптева*

*

С 29 августа по 2 сентября 1977 г. в Вене проходил очередной XII Международный конгресс лингвистов, в работе которого приняла активное участие группа советских языковедов. Лингвистические центры Кишинева и Одессы, Тбилиси и Баку, Киева и Вильнюса, Москвы и Ленинграда были представлены специалистами, работающими в системе Академии наук и вузах СССР. Из учреждений системы Академии наук были представлены: Институт русского языка АН СССР (Е. А. Земская, И. С. Улуханов), Институт языкознания АН СССР (А. В. Бондарко, Н. З. Гаджиева, Г. А. Климов, Е. С. Кубрякова, В. П. Нерознак, О. Н. Селиверстова, Б. А. Серебренников, В. Н. Ярцева), Институт востоковедения АН СССР (В. М. Солнцев, И. Ф. Вардуль), Институт языкознания АН УССР (А. С. Мельничук), Институт языкознания ГрузАН (Т. С. Шарадзенидзе, М. Мачавариани), Институт востоковедения Груз. АН (Т. В. Гамкрелидзе), Институт языкознания Азерб. АН (И. А. Асланов), Институт языка и литературы АН Молдавии (Т. П. Ильяшенко), Академии наук Литов. ССР (В. И. Мажюлис). В составе группы имелись представители учебных заведений СССР — от Московского гос. ун-та (В. П. Вомперский), Ленинградского гос. ун-та (Ю. С. Маслов), Одесского гос. ун-та (В. А. Кухаренко), МГПИ им. Ленина (Б. А. Абрамов), МГПИИЯ им. М. Тореза (Л. С. Бархударов, Г. В. Колшанский), Ленинградской гос. консерватории (Н. П. Корыхалова), Тбилисского гос. ун-та (Г. В. Рамишвили). Все 27 членов советской группы выступали с докладами на пленарных (Е. А. Земская) и секционных заседаниях, руководили пленарными заседаниями (Т. В. Гамкрелидзе) и специальными рабочими группами (В. Н. Ярцева), а также активно выступали в прениях по пленарным докладам (Т. С. Шарадзенидзе, Е. С. Кубрякова, О. Н. Селиверстова) и по докладам на секциях и в рабочих группах.

При разнообразии тем и отдельных лингвистических положений всех советских участников объединяло единство теоретико-методологических позиций и высокий профессионализм в разработке крупных проблем лингвистической науки, традиционных для русского и советского языкознания. Не случайно, что все доклады советских ученых по сравнительно-исторической тематике (она была не очень удачно разбита на конгрессе по трем секциям: № 5 «Диахрония — реконструкция», № 6 «Диахрония — «теория волн», № 14 — «Диахроническая и синхроническая фонология»), посланные на конгресс, были приняты венским оргкомитетом. То же относится и к советским докладам, представленным на секции «Словообразование», и к докладам, посланным по секции «Основные проблемы семантики».

Впечатление, вынесенное из работы конгресса,— резкое повышение интереса языковедов к традиционной проблематике языкознания: язык и общество, вопросы синхронной и исторической фонологии, проблемы типологии и сравнительного языкознания (в частности, проблемы лингвистической реконструкции), вопросы словообразования, волновая теория и т. д.

В то же время вопросы генеративной грамматики обсуждались лишь на секции «Логически ориентированный синтаксис и генеративный синтаксис» и отчасти на секции «Взаимодействие диахронической и синхронной фонологии». Простое сравнение тематики секционных заседаний на предыдущем XI Международном конгрессе (Болонья, 1972) и на закончившемся XII конгрессе в Вене подтверждает указанное впечатление.

Заметно вырос интерес к истории лингвистической науки: если на XI конгрессе работала только секция № 1 по истории лингвистики, то на XII конгрессе эта тема была вынесена на пленарное шестое заседание и вызвала оживленные прения. Вместе с тем необходимо отметить, что доклады по истории лингвистики носили фактологический характер, в них не рассматривалось развитие лингвистической мысли в связи с историей философских идей, сам анализ лингвистических теорий был неполным. Представляется, что одной из задач советского языкознания является освещение истории лингвистики (и, в частности, истории отечественного языкознания) с позиций марксизма, с полным учетом истории человеческой культуры.

Показательной для ориентации на конкретность исследований была работа секции «Основные проблемы семантики». Работы, представленные на этой секции, могут быть подразделены на два основных типа: это работы, посвященные общетеоретическим проблемам, и работы, посвященные конкретным языковым единицам. Основной общетеоретической проблемой, которая под разными углами зрения и в разной форме затрагивалась во многих

докладах, была проблема соотношения языка и речи, языка и сознания. Подход к этой проблеме в значительной степени определялся резко возросшим интересом в последние годы к речи и речевой деятельности. Это выразилось прежде всего в стремлении некоторых лингвистов расширить представление о языке за счет аспектов, которые раньше связывались с речевой деятельностью или понятийными системами («дальними значениями», по терминологии Потебни), т. е. возникла тенденция, прямо противоположная той, которая была характерна для многих работ сороковых — пятидесятых годов, а именно тех работ, в которых понятие о языке ограничивалось его формой. На конгрессе отразилась тенденция к дифференциации типов и уровней семантики. На пленарном заседании в докладе Дж. Лайонза (США) говорилось о дескриптивном, социальном и экспрессивном типах значений, а также о разных аспектах дескриптивного значения. Было подчеркнуто, что лексическое значение структурировано иначе, чем значение предложения. В докладе Г. В. Колшанского «Контекстная семантика» были выделены следующие ее разновидности: а) лексическая, б) фразеологическая, в) грамматическая, г) пропозициональная (смысл высказывания в контексте текста), д) пресуппозициональная. В докладе А. В. Бондарко «Грамматические значения и речевой смысл» был поставлен вопрос о соотношении понятий «план содержания текста» (семантическое целое, элементами которого являются речевые реализации языковых значений), «смысл текста» (вытекающая из плана содержания текста информация, имеющая смысловую структуру) и «речевой смысл» (информация, основанная на взаимодействии смысла текста с контекстуальной, ситуативной и энциклопедической информацией). Общая тенденция к разграничению собственно языкового и мыслительного (понятийного) аспектов семантики проявилась также в докладе Дж. Хьюсона (Канада) «Поверхностное значение, глубинное значение и референция». Первое понятие трактуется как элемент языка и связывается с signifié Соссюра, второе понятие рассматривается как элемент речи, третье — как употребление языка в отношении к миру опыта. В докладе В. М. Солнцева «Знак и значение» собственно языковое значение рассматривалось в его отношении к знаку, трактуемому как унилатеральная величина; знак и значение образуют билатеральную единицу, например слово. Тематика докладов на секции контрастивной лингвистики отражала разные аспекты сопоставительного языкознания.

Р. Филипович (СФРЮ) в докладе «Значение контрастивного анализа для общего языкознания» подчеркнул, что, помимо чисто практических задач, связанных с обучением неродному языку, контрастивные исследования очень важны для теории. На ряде примеров он показал, что сопоставление разных языковых систем часто помогает выявить тонкие специфические черты каждой из этих систем и оказывается важным при решении некоторых проблем общего характера. Б. Шпильнер (ФРГ) выдвинул концепцию «контрастивной прагматики», в рамках которой сопоставление текстов разных языков должно широко учитывать различия, обусловленные культурной традицией и типом ситуации. Ю. С. Маслов (СССР) говорил о принципах и методах сопоставительной аспектологии. По мысли докладчика, объектом сопоставительного исследования в этой области должна быть не только категория глагольного вида, по-разному представленная в разных языках, но также различные неграмматические и «скрыто-грамматические» средства выражения аналогичных языковых значений, вместе образующие функционально-семантическое поле аспектуальности. Основные методы такого рода исследований — анализ наличных переводов и эксперименты с информантами.

В других докладах, прочитанных на этой секции, сопоставлялись закономерности согласования сказуемого в числе, действующие в венгерском и в немецком языках (Б. Кальман, ВНР); исследовались модальные глаголы в английском и французском (К. Коннорс, Канада), категория среднего залога в различных германских языках (В. Бубеник, Канада). Были также доклады, посвященные явлениям интерференции, наблюдаемым в условиях массовых контактов между носителями разных языков. Широко разрабатываемая в современной науке лингвистика текста была представлена на специальной секции рядом докладов. Большая часть докладов была посвящена проблемам диалога, в первую очередь — смысловым и формальным соотношениям между вопросом и ответом. М. А. К. Холидэй (Австралия) говорил о становлении диалога в речевом поведении ребенка; Б. Зандиг (ФРГ) о стилях диалога; А. Беттен (ФРГ) о «стратегии диалога», включающей как некоторые универсальные правила, связанные с необходимостью поддерживать взаимопонимание с собеседником, с тенденцией к экономии и т. д., так и специфические моменты, обусловленные данной культурной тенденцией. Более конкретно о грамматической, семантической и прагматической «согласованности» между вопросом и ответом (положительным или отрицательным) говорил Ю. Шмидт-Радефельдт (ФРГ) и, несколько в ином плане, с главным упором на членении «тема — рема», Э. Гайичова (ЧССР). Многомерную типологию ответных реплик, учитывающую как их формальную

структуру, так и особенности содержания, предложил в своем докладе У. Фриз (Австралия). В упомянутых докладах в разной связи затрагивался вопрос о возможности/невозможности опущения определенных элементов высказывания, в частности — в ответных репликах. Специально проблеме опущения и его функционально обусловленной обязательности был посвящен доклад Дж. Гундел (США), рассмотревшей опущение разных типов темы и элементов, входящих в состав темы, в английском и отчасти некоторых других языках (русском, японском, китайском и др.). На голландском материале вопросы опущения были рассмотрены, со статистическими подсчетами, в докладе Ф. Янсена (Нидерланды). Р. Лонгакр (США) попытался дать самую общую, годную для любого языка, классификацию речевых жанров, охватывающую все виды текстов и высказываний, возможные в языковом коллективе. Иной характер носил доклад К. Г. Кернера (ФРГ) о глаголах говорения. На конкретном материале главным образом французского языка докладчик убедительно показал, что глаголы, вводящие прямую речь, составляют особый класс, в ряде отношений существенно отличающийся от глаголов, способных вводить косвенную речь. Оба класса находятся в отношении лишь частичного взаимного пересечения.

Следует отметить, что чрезмерное «стремление к конкретности» иногда приводило к постановке частных, непринципиальных вопросов. Это чувствовалось в работе секции «Язык и общество», по количеству докладов и заседаний стоявшей на втором месте (семь параллельных групп) после секции «Основные проблемы семантики». Несомненно, что разработка лингвосоциологических вопросов в советской науке стоит на большой высоте (особенно по таким проблемам, как теория литературного языка, историческое развитие языка в связи с развитием общества и т. п.) и советским лингвистам необходимо пропагандировать свои достижения в области социолингвистики.

Общие вопросы диахронии рассматривались в нескольких секциях. На секции «Диахроническая и синхроническая фонология» внимание привлек доклад Б. А. Серебренникова по проблеме реконструкции и взаимоотношениям гласных и согласных. В центре внимания секции «Реконструкция» стояли принципиальные вопросы методики диахронических исследований. Значительное место было уделено вопросам взаимодействия сравнительно-исторического языкознания и типологии в изучении истории языка. Именно этой проблематике были посвящены доклады Т. В. Гамкрелидзе и Г. А. Климова, вызвавшие широкое обсуждение. На секции «Волновая теория» доклад О. Хёфлера (Австрия) был посвящен вопросу о применимости теории волн и установлению языковых инноваций в германской языковой области. На той же секции в докладе В. П. Нерознака были рассмотрены возможности использования «волновой теории» для изучения древних индоевропейских языков, засвидетельствованных лишь во фрагментах, а также для восстановления промежуточного звена в цепи индоевропейского континуума между изолированными индоевропейскими языками (армянским, греческим и албанским). На основании ряда устанавливаемых закономерностей восстанавливается зона переходных индоевропейских диалектов. Большой интерес вызвал доклад А. С. Мельничука «О возникновении индоевропейского вокализма», в котором было выдвинуто новое объяснение происхождения индоевропейской системы гласных. Решение этого вопроса, по мнению докладчика, неразрывно связано с явлением индоевропейского инфигирования. Докладчик выдвинул тезис, согласно которому в индоевропейском был один качественно неопределенный гласный *ə*, который выступал в сочетании с инфиксами *i̯* и *u̯*. Доклады А. С. Мельничука и В. П. Нерознака вызвали большой интерес. Выступавшие [профессора Й. Кноблох (ФРГ), Э. Поломе (США), Б. Мальмберг (Швеция), Дж. Бонфанте (Италия), Чоп (Румыния) и др.] отмечали важность поставленных в этих докладах проблем, оригинальность их разрешения и весомость аргументации. Примечательным явлением на конгрессе следует считать пристальное внимание к конкретному анализу языковых структур. В этом отношении показательным может быть работа секции «Словообразование». Работа этой секции носила весьма интенсивный характер. Было прослушано более 20 докладов, два были прочитаны советскими учеными (Е. С. Кубрякова и И. С. Улуханов). В работе секции приняли участие видные лингвисты, например, В. Георгиев (НРБ), В. Флайшер (ГДР), Г. Брекле, Л. Липка, Д. Кастовски (ФРГ), В. Дресслер, О. Панагль (Австрия) и др. В отличие от докладов советских ученых и лингвистов социалистических стран, носивших более общий теоретический характер, работы западноевропейских ученых были посвящены главным образом специальным проблемам словообразования — моделированию имен действующего лица и названий инструментов, аббревиатурам, воссозданию внутренней формы слова в народных этимологиях и т. д. Ряд докладов был связан с освещением проблем, возникающих на грани словообразования и фонетики, словообразования и детской речи, словообразования и морфологии и т. п. Словообразованию были посвящены также два пленарных доклада — Е. А. Земской (СССР) и Г. Брекле (ФРГ).

В целом все доклады характеризовались высоким научным уровнем и рядом новых идей. Обстановка работы на конгрессе была деловой. Доклады советских лингвистов неизменно вызывали оживленное обсуждение.

Большое внимание привлекла работа созданной по инициативе советского оргкомитета и включенной в программу конгресса группы № 7 «Типология языка», которой руководила чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева. Заявки на участие в работе этой группы и предложения докладов поступили из 12 стран (Англия, Венгрия, Канада, Нидерланды, Румыния, СССР, США, Филиппины, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария), что свидетельствует об интересе к проблемам типологии языка. Несмотря на то, что по условиям времени количество докладов пришлось резко ограничить, рабочая группа по типологии языка заседала два дня (31 VIII и 1 IX) в очень напряженном рабочем ритме, и дискуссия по всем докладам была оживленной. Из советских лингвистов по данной группе с докладами выступили семь человек (И. Ф. Вардуль, Т. В. Гамкрелидзе, Н. З. Гаджиева, Т. П. Ильяшенко, В. М. Солнцев, Т. С. Шарадзенидзе, В. Н. Ярцева). Вместе с тем выступления некоторых зарубежных участников дискуссии показали, что отдельные лингвисты на Западе продолжают подводить под типологию любое описание структуры языка.

Демонстрации понимания в советской лингвистике проблем языка и общества, семантики, типологии языка способствовал выпуск специально приуроченного к конгрессу сборника на четырех языках (английском, немецком, испанском и французском), осуществленного в издании «Общественные науки и современность» и распространенного среди участников XII конгресса. По представленным там статьям И. К. Белодеда, Ф. П. Филина, В. Н. Ярцевой, Р. А. Будагова, В. З. Панфилова, Г. А. Климова, М. М. Гухман, Н. Ю. Шведовой, А. А. Уфимцевой, О. И. Москальской, Н. Н. Семенюк, С. Д. Кацнельсона участники конгресса могли ознакомиться с идеями ведущих советских языковедов.

Советским оргкомитетом на XII конгресс была отправлена для выставки партия книг (свыше 60 названий), изданных в период между XI и XII конгрессами по вопросам общего и сравнительного языкознания. Были представлены работы на русском, грузинском, казахском, туркменском, молдавском, украинском, армянском и других языках, включая не только работы теоретического характера, но и словари (например, фразеологический словарь туркменского языка, 1976, словарь литовского языка, т. 10, 1976), атласы (например, лингвистический атлас молдавского языка, т. II, 1973), а также крупные работы сводного характера (например, «Языки Азии и Африки», т. I, 1976; «Основы финно-угорского языкознания», 1974—1976).

Работа советской группы на XII конгрессе проходила в тесном взаимодействии и содружестве с делегациями социалистических стран. В работе XII конгресса участвовали большие группы лингвистов из Венгрии, ГДР, несколько меньшие из Румынии, ЧССР, Польши, Болгарии. Единство взглядов и позиций по принципиальным вопросам языкознания среди лингвистов социалистических стран должно в дальнейшем укрепляться путем проведения ежегодных методологических конференций (в СССР таковую предполагается провести в 1979 г.).

Во время работы конгресса были проведены выборы в Постоянный Международный комитет лингвистов. Президентом избран представитель Англии (проф. Р. Г. Робинс), первым вице-президентом представитель ГДР (проф. В. Банер), вторым вице-президентом (согласно положению) президент XII конгресса в Вене (проф. В. Дресслер). В состав бюро Постоянного комитета вошел представитель СССР (чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева).

Ярцева В. Н. (Москва)

CONTENTS

Articles: Domašnev A. I. (Leningrad). On delimitation of literary and national language; **Discussions:** Filin F. P. (Moscow). On special theories in linguistics; Solncev V. M. (Moscow). Typology and the linguistic type; Desnickaja A. V. (Leningrad). On the oldest lexical links of the Balkan and East Slavonic languages; Murjanov M. F. (Moscow). The time (notion and word); Nebijeridze G. S. (Tbilisi). Transformational generative phonology and its relation to classical phonological theories; Amanžolov A. S. (Alma-Ata). Genesis of the Turkic runes; **Materials and notes:** Zadojenko T. P. (Moscow). Different acoustic intensity of vowels and accent relations of intensity in syllabls; Vejlert A. A. (Vladimir). On some factors determining word-frequency in text; Vertel' V. A., Vertel' E. V., Rogožnikova R. P. (Leningrad). The use of machines in lexicographic work; Kuznecova O. D. (Leningrad). The notion of lexicalisation. Lexicalisation of phonetic phenomena in dialects; Glonti A. A., Oniani A. L. Sardžveladze Z. A. (Tbilisi). On the study of Georgian toponymy; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Domašnev A. J. (Léningrad). Sur la démarcation entre la langue littéraire et la langue nationale; **Discussions:** Filin F. P. (Moscou). À propos des théories spéciales en linguistique; Solncev V. M. (Moscou). Typologie et type linguistique; Desnickaja A. V. (Léningrad). Liens lexicaux anciens entre les langues balkaniques et slaves orientales; Mour ' janov M. F. (Moscou). Le temps (notion et mot); Nebieridze G. S. (Tbilissi). Phonologie transformationnelle générative et ses rapports avec les théories phonologiques classiques; Amanžolov A. S. (Alma-Ata). Genèse des runes turques; **Matériuax et notices:** Zadoenko F. P. (Moscou). Intensité différénte des voyelles et rapportes accentuels d'intensité entre les syllabes; Veilert A. A. (Vladimir). Facteurs déterminant la fréquance des mots dans un texte; Vertel ' V. A., Vertel ' E. V., Rogožnikova R. P. (Léningrad). La mécanisation en lexicographie; Kouznecova O. D. (Léningrad). La notion de lexicalisation. Lexicalisations des phénomènes phonétiques dans les parlers; Glonti A. A., Oniani A. L., Sardžveladze Z. A. (Tbilissi). Problèmes de l'étude de la toponymie géorgienne; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29/XII-1977 г. Т-04042 Подписано к печати 27/II—1978 г. Тираж 7165 экз.
Зак. 3220 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. 14,0 л. Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 15,5

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — «Български език»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
РФВ — «Русский филологический вестник»
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР».
СбНУ — «Сборник за народни умотворения»
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW — «Abhandl. der Deutshen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh — «Archiv für slavische Philologie»
AKGW — «Abhandl. der Köngl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL — «Acta linguistica»
AO — «Archiv orientalní»
APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.— hist. Klasse
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystva językoznawczego»
BSLP — «Bullétin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»
BCLC — «Bullétin du Cercle linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
CFS — «Cahiers F. de Saussure»
IF — «Indogermanische Forschungen»
IIJ — «Indo-Iranian journal»
IJAL — «International journal of American linguistics»
JA — «Journ. asiatique»
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»
J — «Јужнословенски филолог»
JP — «Język polski»
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
ISFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen»

MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
MSFOu — «Mémoires de la Société finno-ougrienne»
MSOS — «Mitteillungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
PMLA — «Publications of the modern language association of America»
RÉG — «Revue des études grecques»
RÉSL — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»
RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego»
RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
RLR — «Revue de linguistique romane»
RO — «Rocznik orientalistyczny»
SaS — «Slovo a slovesnost»
SMS — «Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu historiu».
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil. -hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or.— «Studia orientalia»
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
UAjb — «Ural-Altaische Jahrbücher»
UJB — «Ungarische Jahrbücher»
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slawistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»